
The

ЕВГЕНИЙ
ЗАМЯТИН

Евгений Замятин

III

JEVGENIJ SAMJATIN

WERKE

Dritter Band

Herausgegeben von Eugenia Zhiglevich und Boris Filipoff
unter Teilnahme von Alexander Tiurin

Eingeleitet von Boris Filipoff und Eugenia Zhiglevich
Nachwort von Wladimir Bondarenko

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB UND VERLAG
1986

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

СОЧИНЕНИЯ

Том третий

Повести и рассказы

М Ы

Биографические очерки

Под редакцией Евгении Жиглевич и Бориса Филиппова
при участии Александра Тюрина

Вступительные заметки Бориса Филиппова и Евгении Жиглевич
Послесловие к роману "Мы" Владимира Бондаренко

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB UND VERLAG
1986

Переплет и суперобложка по рисунку Сергея Голлербаха
Портрет на суперобложке Юрия Анненкова
Портрет в тексте Бориса Кустодиева

Технический редактор Антон Беляев

Printed in West-Germany
by A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag

ЗАМЯТИН В СВОИХ ПРОЗАИЧЕСКИХ МИНИАТЮРАХ

В одной из своих автобиографий Замятин писал: "В гимназии я получал пятерки с плюсом за сочинения и не всегда ладил с математикой. Должно быть именно поэтому (из упрямства) я выбрал что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского Политехникума".

Думается, это упрямство и настойчивость в *преодолении* и стали едва ли не главными стимулами замятинского литературного творчества. И лежит душа его, и тянет его к густой и пряной психологии (первая повесть "Один", 1907, и перекликающийся с нею "Рассказ о самом главном", 1923), – но то и дело бежит он от нее в яркую и сочную миниатюру, где все концентрируется на одном характерном жесте, на одной громко вопящей детали, какие вдруг освещают все. Иногда деталь, иногда один карандашный штрих, одно красочное пятно повторяются, как припев в старой песне, как некий лейтмотив, наконец. И эти повторы – всегда к месту, всегда математически строго рассчитанные – даже и говорят больше, чем прямой "внутренний диалог" или модный в те годы "поток сознания". Вот непробудная уездная сонь, непролазная скука маленького городка. Безнадежное стремление любить и быть любимой у девушки – и, как неоднократно повторяющийся припев, – вечно спящая ревнивая мать, шаркающие по полутемным комнатам или по заросшему бурьяном двору старухины семенящие шажки – старая Кузьминишна бурчит что-то под нос; кудахчут куры... Даже иногда некий нажим на рифмовки припевов или созвучия. В той же ранней "Девушке" (1910): "и – опять мать", "вон – и улыбается он", "Вера верит". В исключительно музыкально построенных "Кунах" (1922): "девушки – дивуются", а лейтмотив: "Звонит веселый колокол. Звонит солнце". Примеров можно было бы привести немало.

Сочность повествования – иной раз при нарочитой сухой сдержанности рассказчика. Многообразное цветение жизни – от превосходного ее знания автором. В той же автобиографии Е.И. Замятин усмехается: "Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я целиком обязан Петербургскому Охранному Отделению: в 1911 году оно выслало меня из Петербурга, и я года два очень безлюдно жил в Лахте. Там от белой зимней тишины и зеленой летней – я написал "Уездное".

И правда: такие "сказы", как, скажем, "Слово предоставляется товарищу Чурыгину" (1926), не могли бы родиться у проживающего всю жизнь на берегах Невы – и даже Москва-реки. Вся Расея, вздыбленная войной и революцией, хлынувшая из столиц в глухомань и из Богом забытых медвежьих углов в столицы, дана Замятиным так сжато-энергично, что иные его вещи – подлинная историческая живопись.

И особенно в миниатюрах инженер явно преодолевает словесника. Корабельная архитектура научила писателя строжайшей экономии материала и строго выверенной архитектонике. Вот его известный рассказ "Дракон" (1918). Всего 55 строчек. А этот красноармеец – "дракон с винтовкой" на затолканной голодными петербуржанами трамвайной площадке – виден сразу и весь сполна. Только что прикончил на улице конвоируемого им арестованного – чего его доводить до ЧеКа?! – "Веду его: морда интеллигентная – просто глядеть противно. И еще разговаривает стервь, а? Разговаривает!" Ну чего его дальше тащить – "довел до пересадки – в Царствие Небесное. Штычком". А сам "дракон" за вшивой, но теплой пазухой везет где-то подобранного насмерть замерзшего воробьеныша – отогревает, авось, оживет.

От этакой жизни сознание у людей раздваивается. Во "Всех" (1921) "инженер Хортик разделился надвое": и почувствовал себя самим собой и со своим "модально-петербургским лицом", и вот этим расстрелянным прямо на улице красноармейцами человеком, распластанным на снегу, "с выеденным седым пятачком на темени". Кинули проезжавшие красноармейцы труп на дровни, и стукнулась голова расстрелянного о грядку саней, а веселый уличный мальчишка рассмеялся: "Ха! Голова-то! Голова раскупорилась! Чисто из бутылки!" – это "кровяная пробка выскочила, и на снег лилось из головы красное вино".

Разве нужно что-нибудь прибавлять к жесту одного из красноармейцев, брезгливо отряхивающего с шинели кровь из "раскупоренной бутылки"-головы? Или что-то добавлять к детской радости "дракона", когда отогретый им воробьеныш ожил и упорхнул? Хорошо расчисленная и продуманная архитектоника словесного корабля. Ничего лишнего.

Замятин упрямо преодолевает и густоту быта. Если в "Уездном" он еще по-гоголевски-лесковски эпичен, то в сказовых рассказах-крохотках и в "Большим детям сказках", многие из которых короче воробьиного носа, он весь динамично-структурен. Словесный корабль должен быть и устойчив, и быть быстроходным. А сказ помогает Замятину – "смиренному Замутию, епископу обезьянскому" (так наименовал его в почетной грамоте от имени обезьянского царя Асыки Алексей Ремизов) – помогает говорить и предельно откровенно, и предельно едко о советском – земли Алатырской – житье-бытье. Не о жизни: какая там жизнь! "Прочее время живота", как говаривал некогда Лесков. В "Тулумбасе" (1920), может статься, лишь из-за непонимания советскими цензорами-держимордами церковнославянизмов пропущенном на страницы "Записок мечтателей", – Замутий как "самовидец" свидетельствует, что, мол, "все слухи о нечестии и безбожии в земле Алатырской – суть истинная ложь", "ибо нет под солнцем земли столь ревнующей о спасении душ и о погублении здешней, тленной жизни": "нет уже велелепия и кимвалов, и тщеты мирской, но во всем скудота изящная и убожество, какое инокам надлежит". Ходят граждане алатырские "во вретищах, рубищах, власяницах" и, "презирая плоть, бегают даже водного омовения, ибо чистота душевная – вяще телесной и нежность плоти от бани – пагуба есть". И "блюдут здесь непрестанный и строгий пост: не только мяса не приемлют, но и рыбы, елей же – единожды в год".

А в четырех "сказках по Фиту" (написаны в 1917 году, после Октябрьского переворота) чернильная душа Фита, став диктатором, все житейское решительно подменяет приказами и распоряжениями, протоколами и постановлениями: "Сего числа...голод...мною строжайше отменяется. Сим строжайше предписывается всем жителям быть сытыми. Фита". Немедленно воздвиг себе Фита и монумент на базарной площади. "Было у Фиты правило: все для народа": и потому предписал: "Имеющийся градской собор неизвестного происхождения

сим предписываю истребить немедля... Во избежание предрассудков..." И будошников – полицию – отменил. Заместо них, полицейских будошников, – "вольные", "в чуйках" (т.е. в кожаных куртках, какие так пленяли в " Голом годе" Пильняка: мол, "енегрично фукцируют"...). И народ возрадовался чекистам да "вольной" милиции: "Слава Тебе, Господи! Довелось: не кто-нибудь – свои бьют – вольные". И все, как объявил Фита волю, очутились в остроге... Только вот тосковал Фита, что "жители во внеслужебное время скушные ходят". Но нашли выход. Поправили: раздали всем под расписку тексты песнопений и установили – под присмотром сарацинов с пушками – шествия в национальных костюмах. Спешно завели и гимн:

Славься, славься наш добрый царь,
Богом нам данный Фита-государь.

Вот и Хряпало (в одноименной сказке) пришло в те дни на землю Алатырскую. Скушало-заглотнуло и деда-хлебороба, и когда одни лапти еще торчали из пасти, из нутра пискнул мужик: а как хлеб-то? Но Хряпало рукой отмахнулся, и пятки с лаптями заглотнул. Заглотнул и красотку-певунью, только заикнувшуюся при проглоте: а как же песня? Но Хряпалу что за нужда в песне! И кончился и хлеб, и песня кончилась...

А ведь писались-то эти сказки задолго до усатого генералиссимуса! И пожалуй, они не менее ядовиты, чем знаменитый роман "Мы"... Даром, что все сказки эти по страничке, по две.

И язык-то какой: озорной, с изворотом, неожиданным – анекдотически непредвиденным концом. Увидела бабушка во сне серафимов, пожалела их: все летают и крылышками трепыхают: утомились, небось. Предложила одному из них присесть, отдохнуть. "А серафим ей сверху жа-алостно: – И рад бы, бабушка, посидеть, да нечем. – И верно: голова да крылышки все существо ихнее. Ничего не поделаешь".

Ничего не поделаешь. Вот ведь и правда, и справедливость – они-то классово-партийно-ленинские. В сказке "Арапы" сказывается, что по сю сторону речки, "на этом берегу – наши, а на том ихние живут, арапы". Поймали наши, значит, краснокожие, арапа в речке – с него " супу наварили, отбивных нажарили... Напитались: послал Господь". А когда ихние, арапы эти, "нашего уволокли" и шашлык с него сделали, наши завопили о гнуснейшем людоедстве. Арапы в ответ: "А вы

из нашего отбивных не наделали?" А наши-то даже удивляются такой беспонятности: "Ну, что за безмозглые. Да-к ведь мы вашего *арапа* ели, а вы нашего, *краснокожего*. Нешто это возможно?" (курсив ред. – Б. Ф.)

Только нет прямой ссылки на Ильича: на то, что войны бывают справедливые и несправедливые.

Частенько замятинский рассказ-миниатюра прямо на пересечении с анекдотом. Вспомним хотя бы изящный рассказ "Лев" (1935) о пожарнике в оперном театре, что заменил статиста, изображающего в балете льва. Статист запил, а пожарнику следовало охмурить свою милую – девушку-милиционерку, что желала крутить любовь, скажем, с артистом. Вот и взялся сыграть льва. Но когда балетная амазонка выстрелила в льва-новичка из лука – и ему, подстреленному, следовало свалиться с бутафорской скалы, лев заглянул вниз – и ужаснулся. И, прежде чем сверзиться вниз, машинально поднял лапу и осенил себя широким крестным знамением... Анекдот? Ну конечно. Но как он рассказан!

В миниатюрах Замятина и добрая улыбка, и горький смех, и едкая и злая сатира, и трагика – и все это поражает легкостью и прочностью конструкции. Тяжкий, надрывный, весь пропотелый с непомерной натуги, кроваво-грязный – и героически-страдальческий – быт преодолен художником-инженером, дотошно изучившим и сопротивление материалов, и законы статической и динамической нагрузки сооружений. И – никак не замечаешь ни пота поисков, ни надуманности в соотношении частей здания. Конструкция легка, но не легковесна, прочна, но не тяжко-изнурительна. Есть и о чем глубоко задуматься, есть и чему порадоваться, а чаще – есть чему крепко возмутиться. До глубины души. Но автор никогда не морализирует. Он только пожимает плечами:

– Неужто это возможно? Да, бывает...

Борис Филиппов

"МЫ" И МЫ

– Мир жив только еретиками –
Е. Замятин. "Завтра"

Мы изголодались по существенному: без лишних слов – о самом главном.

Повествования не о нас самих, а о кружевах нашей тетки, отправлявшейся на свидание на исходе прошлого столетия, нам наскучили.

Мы ждем слова – прямого, меткого – прямо в цель. О живом, о настоящем, о животрепещущем. Пусть это ранит, – о подлинном всегда ранит – и ранить будет сильно, потому что беда наша – большая. Нас уже не интересует, роман это Ивана или Петра, нас интересует, как сохранить в Иване и Петре возможность, желание иметь роман – возможность сохранить человеческие чувства, выйти человеком из нечеловеческой среды. Речь идет не об индивидуальном более, – о человеке вообще. Об общечеловеческом. Чтоб его сохранить, – последнее. Это наболело. Об этом, пока не поздно, надо говорить. Не о воланах минувших дней, а о нашей ране. И говорить не манерой тех дней – речисто и с фиоритурой, – а оголенно-правдиво. Не можем мы больше говорить лишних слов – не в тарантасе катим, – в ракете. И некогда их говорить: кому мало жить осталось, болтать не может. И поболтать не вред – там, за чаем, на закате, в девятнадцатом веке. Но у нас не закат – космическая ночь, и разговор другой.

Замятин – зоркий, прищуренный взгляд; Замятин – не знающий сгиба хребет; Замятин – недрогнувший голос о важном, существенном. А в "Мы" – о самом важном, самом существенном.

В большей ли – меньшей – степени мы уже живем в стеклянных домах, выходим толпой на работу в назначенный

час, в назначенный час возвращаемся (стрелка часов – расписание – висит над нами двойным мечом), все раньше отрываем детей от себя для подготовки их к "обществу" (скоро и отрывать не придется – будут производить и выращивать без нашего ведома). И общедоступное высшее образование у нас имеется, но в нем мы потеряли наш образ, потому что в университетах мы стали (нас так много!) просто номерами. Неровен час (хотя жизнь наша и теперь уже запружена фактами и верою в них) – и фантазию вырежут, – тогда будем улыбаться бессмысленной улыбкой всем и каждому (и – никому) от довольства собою и окружающим.

Вырезать фантазию = вырезать стремления, неудовлетворенность и мечту. Было время, когда неудовлетворенность восстала в нас против подавления масс и против пренебрежения сознанием. Но она же восстает теперь против подавления личности во имя масс и против власти сознания. Ответов нет. Есть только вопросы. Ответ – в непрерывности вопросов. Жизнь (и чистота) есть движение, вдох и выдох (выдох был тоже когда-то свежезачерпнутой новой струей). Задержать дыхание надолго – значит перестать жить. Отработанное, застой, омертвевший устой подлежит выдоху, уступающему место живительной свежести. Все меняется. Единственно в этом жизнь. Восторжествуй тысячекратно прекрасное, но если это завершение, – конец жизни. Счастье – в свободе устремления, – не в достижении счастья.

Стремление сохранить человека в человеке, борьба против механизации, рационализации, квантитативности, конформизма и регламента явственнее всего отразилась сейчас в исканиях современной кинематографии, искусстве, Замятину чрезвычайно близком. Возможно потому, что жест, движение, образ рождаются прежде слова (которое еще не отразило метаний нашего времени), или, может быть, потому, что мы отходим от слова как наиболее сознательного из всех проявлений человеческого творчества. Уход к забытым мирам, пульсирующим тайным своим биением под гладкой оболочкой сознания, все больше заметен у тех, кто отталкивается от перепевов. Фабула, – прежние вёрсты, – умирает. И мы, наверное, наблюдали, что в человеке, в "герое", нас занимает не типическое, не характерное, не индивидуальное, а жадно ловим мы в нем черты, *всем* нам присущие, черты *человека,* которые приходится постепенно терять. А героя-

ми нашими стали не те, что сознательно совершают те или иные "нечеловеческие" подвиги, а те, что прежде были бы заклеймлены как – бесхарактерные, люди, которым ничто человеческое не чуждо.

Мы – на краю. И крик наш – как сохранить человеческое, как оградить личность и уберечь и оживить это для всех, не для одного себя – для *всех.* Человека человечеству сохранить.

Мы устали от сознания. И после стеклянных стен нам любо окунуть свой "цивилизованный" взор в желтые глаза зверя... – Что сделать, чтобы не заросла дорога в Древний Дом, чтобы не закрылись навеки певучие его двери? – –

Перед нами "Мы" Евгения Замятина. Тут он весь, во всю стать. А с ним – и все мы, все человечество – сегодня, сейчас, в данное мгновение.

Евгения Жиглевич

АВТОБИОГРАФИЯ

Вы все-таки непременно хотите от меня автобиографию. Но ведь вам придется ограничиться только наружным осмотром и разве слегка взглянуть в полутемные окна: внутрь я редко кого зову. А снаружи вы увидите немного.

Вы увидите очень одинокого, без сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой – или под роялью, а на рояли играет мать Шопена. Два шага от Шопена – и уездное – окна с геранью, посреди улицы – поросенок привязан к колышку и трепыхаются куры в пыли. Если хотите географии – вот она: Лебедянь, самая разрусская – тамбовская, о какой писали Толстой и Тургенев; хронология: конец 80-х, 90-ые годы. А потом – Воронеж, гимназия, пансион, скука, на большой Дворянской бешеные собаки. И одна такая – тяпнула меня за ногу. Я тогда очень любил производить над собой опыты и решил посмотреть: взбешусь или нет. А главное, было очень любопытно: что я буду чувствовать, когда подойдет срок беситься (две недели после укуса). Чувствовал много, но через две недели не взбесился, а потому заявил инспектору, что я – бешеный, и меня – тотчас же в Москву, делать прививки.

В гимназии я получал пятерки с плюсом за сочинения и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно потому (из упрямства) я выбрал самое что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского Политехникума. В мае 13 лет назад (в этом мае на цветы выпал снег) я одновременно кончал свои дипломные проекты и кончил свой первый рассказ. Рассказ тогда же был напечатан в старом "Образовании". Ну – что ж: значит, я могу сочинять рассказы и их будут печатать, а поэтому три следующих года

Автобиография Е.И. Замятина была написана для петербургского журнала "Вестник литературы".

я писал только... о ледоколах, теплоходах, рефулерах, о "Теоретическом исследовании работы землечерпательниц". Никак иначе было нельзя: я был оставлен при кафедре корабельной архитектуры и занимался преподаванием на кораблестроительном факультете (занимаюсь и теперь).

Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я целиком обязан Петербургскому Охранному Отделению: в 1911 году оно выслало меня из Петербурга, и я года два очень безлюдно жил в Лахте. Там от белой зимней тишины и зеленой летней – я написал "Уездное". После чего покойный Измайлов решил печатно, что я – в высоких сапогах, уездный, лохматый, с толстой палкой – и был очень удивлен, когда я оказался совсем не таким.

Впрочем, совсем не таким я стал после Англии, где во время войны прожил около двух лет. Там – строил корабли, смотрел развалины замков, слушал, как бахают бомбы с немецких цеппелинов, писал повесть "Островитяне". Очень жалко, что не видел февральской революции и знаю только октябрьскую (как раз к октябрю, все время в спасательном поясе с потушенными огнями мимо немецких подводок – я вернулся в Петербург). Это все равно, что никогда не знать влюбленности и однажды утром проснуться женатым, уже лет этак десять.

Сейчас пишу немного – вероятно оттого, что становлюсь к себе все требовательнее. Три новых тома ("На куличках", "Островитяне" и "Сказки") – три года лежат в издательстве Гржебина и начинают печататься только теперь.

Четвертым будет этот роман "Мы" – самая моя шуточная и самая серьезная вещь.

А пожалуй самые серьезные и интересные романы не написаны мной, но случились в моей жизни.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ОДИН

I

Немые задыхающиеся дни. В тусклом молчаньи – точно клочья туч в лунном мертвом свете – скользят непонятные дни. Медленно или безумно быстро? Или совсем остановились?

Синим, холодным небом блеснули на миг: спешат, скорее – к счастливым. А потом на белых, сверкающих крышах – там за решеткой – ползут черные пятна, как на гниющем трупе все дальше. И опускаются сверху туманы – тяжелые, душные – точно лихорадочное забытье. К серым стенам прильнули, сосут...

– Ах, скорее бы ночь...

А она уже грозится вдали, развернула черное знамя. Вздрогнули в испуге последние лучи, залились кровью, в бездну свалились. Радостно прянул оттуда мрак, тени мчатся вправо и влево, а за ними бежит ужас.

Черный кошмар.

Вьюга вцепилась в решетку, бьется за окном, рыдает в холодном мраке.

А внизу под ним, под его ногами, ходит кто-то. Мечется целые ночи – взад и вперед – без конца.

– Отчего он не спит никогда?

Вздрагивает тьма, шепчет страшную мысль.

– Быть может, уже безумный он – мечется там?

А он все ходит, неведомый, взад и вперед – целые ночи.

Без конца. Не взойдет никогда солнце. Вечно будет ходить он, страшный, внизу...

И вдруг – замолк глухою, темною ночью.

—Где он? Умер? Увезли его?

Молчат стены кругом.

* * *

Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Как слепые вихри во тьме – безумные мысли.

Все ходить, ходить...

– Как тот, что был внизу. А потом увезут так же – ночью?

Семь шагов, семь шагов. Толпятся, гонятся стены. Мелькают старые надписи. Чьи-то имена, забытые, полустертые, чьи-то стихи, скорбные, рыдают на холодном камне.

Кто их писал? И где теперь они и их муки?

За окном – колокола, звонят – плачут, далеко где-то, чуть слышно.

Там, далеко – странный огромный мир. Люди – идут, спешат, говорят впивают мысли друг друга. Люди!

Сердце бьется в холодные стены, задыхаясь, как воздуха ищет их... Люди!

Тихо. Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Чуть слышно колокола звонят – плачут: уже утро.

Длинными, бледными лучами ухватился рассвет за решетку, повис мелкой сеткой дождя над тюремным двором.

– Там ходят теперь. К ним, к ним!

* * *

Там внизу – их шестнадцать. Запертых в шестнадцати клетках.

Налегли сверху мокрые, тяжелые тени – от каменных стен. Ни звука, ни слова. Тихо – будто нет там живых людей.

Невнятным пятном мелькнет лицо, и на нем две черных точки – глаза. Мелькнет – исчезнет.

Взад и вперед мечутся. Взад и вперед. Кружат, как дикие звери, все быстрее бегут. Некуда – взад и вперед...

Уже нет больше сил ходить и биться мыслью о стены, о дверь, о решетку – они стоят, прислонившись к забору, и вверх смотрят.

Маленький, четырехугольный клочок неба бросили им: не смогли закрыть. Облака хмуро смотрят вниз и плывут мимо. Уходят за стены – туда, где и они, пойманные, жили когда-то.

И задремавшая в забытьи жажда жизни просыпается, и рвет оковы и связи, и бьется, обливаясь кровью.

Чу! Бледные пятна в окнах – вон, вон! Там – товарищи.

Слышите? Рвутся к ним и протягивают руки – зовут их... И не могут отозваться они и выкрикнуть все, отчего задыхаются, и хочется кричать и биться головой о стены.

Остановились. Жадным взором цепляются за решетки, и ищут за ними человека, и бьются в темные стекла...

Недвижное, безмолвное смотрит вниз небо.

* * *

Вдруг оборвались все мысли. И все кругом умерло: одна пустота – и в ней падают звуки, острые, сверкающие.

– Тук-тук! Тук-тук-тук!

Снизу... Там – живой, внизу!

У трубы уже. Забилось сердце, как безумное, и рвется навстречу. Нет дыхания. Нет дыхания. Тихо. Пар шумит в трубе.

И опять: тук-тук! Молнией разрезало тишину.

В радостном вихре путаются и пляшут мысли. Не вспомнить букв.

– Я слушаю.

– Стук! – упало снизу, дрогнула труба всем телом.

Закричать хочется от радости. Понял тот, внизу, понял!

– Кто вы, товарищ?

Молчит. Что же молчит он?

– Т-с-с! Отвечает...

Звуки дрожащие, обломанные. Путаются, не сосчитать их. А если не поймешь?

Падает вниз и холодеет сердце.

Нет, нет! Надо записывать...

Все растут ряды непонятных цифр. А в них закутаны, спят человеческие слова – точно листья в почках. Все растут... Сейчас развернутся, а с ними – весна и золото-солнце.

– Дзынь, дзынь!

Радостно вздрагивает труба. Слова бегут по ней искрами вверх, всю тишину – сверху донизу – пронизали жгучими змейками: свернулась, испуганная, серою пеленою, уходит...

Как много... Двенадцать слов!

Дрожит бумажка в руках. Надо положить на стол, чтобы прочитать.

– ”Я рабочий Александр Тифлеев арестован двадцатого декабря сижу пятая галерея привет товарищу”.

Все громче звонят колокола, все светлее.

Милые, смешные ошибки и пропуски. И самые слова от этого – не сухие, книжные, а живые.

Еще, еще читать – жадно пить..

Привет товарищу! О, милый!

Отвечать – скорее. – Сказать о новом, огромном, что нахлынуло, и о темном и душном, что было раньше, и о надеждах родившихся.

– Я – бывший студент Белов. Сижу один три месяца. Я вам рад. – Кончил и мучился: не то, не то! Тысячи слов дни и ночи лежали скованные и должны были родиться теперь и не могли – бились и мучили. Точно во сне: нужно крикнуть, а язык мертвый, чужой, неподвижный.

И еще без конца много нужно говорить. Кружатся мысли, падают где попало, как подхваченный бурей листок. Остановились.

– За что сидите?

– Убил...

Ровно ответила труба, спокойно.

Опустились мысли. Тучкой разочарование набежало. Уголовный?

– ...шпика, – докончила труба.

Ага! Злой и яркой молнией сверкнуло, и радостная волна мести отхлынула от сердца...

* * *

Потушили лампы. Зашлепали-заплескались в гнилом болоте шаги в коридоре. Холодной струйкой вытянулся, стегнул свист. Заскрежетал зубами замок.

Затихло, кажется. Чуть слышно застучал Белов – железным шепотом.

– Не спишь?

– Не хочется. Все думаю.

– О чем?

– Как шпика мы тогда убили.

И замолчали оба.

Потихоньку застучал опять Белов.

– Расскажи. Все равно не спим.

Расскажет он, будет долго в темноте рассказывать.

Взял Белов с кровати пальто, бросил на пол возле трубы, лег.

Луна взошла. Бродили лучи по камере, слепые, и было от них не светло, а только жутко: кто-то неуловимый, невидимый вошел в камеру и бродит по ней, слушает.

— Ночью это было, — начал Тифлеев. — В селе. Возле монастыря.

Сразу вырезались перед Беловым стены — белые, молчаливые. И колокольня — строгая, тоскливо-высокая.

Радостно всмотрелся: исчезла прежняя недвижность души — точно вымыли потускневшее зеркало. Как удар колокола — каждое маленькое слово: бегут во все стороны, перегоняются, падают — образы яркие, звучные...

— Дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь. Медленно, тяжело стучит Тифлеев:

— Ветер был сильный.

...Динь-динь-динь. Это маленькими колокольчиками перебирает ветер — тоненькие, маленькие, в тоске и страхе мечутся, как испуганные птички в снег зарываются...

— Назначено было ночью собрание. Ждали товарища из города.

...Точно черного налили в воздух. А там наверху огонек одинокий, чуткий: собрались в комнате и ждут. Говорят и опять молчат. И смотрят нетерпеливо в темную ночь, прислушиваются: динь — ди-и-динь — звонит ветер...

— Привязался к нему шпик. Он на поезд — тот за ним.

...Сзади — молчаливый — точно тень. Черным мраком закрыл лицо — будто что-то гнусное, губительное скрывает. Все быстрей... И кажется, мчатся они уже в пустыне, и только двое их. С грохотом несется мрак и свистит мимо ушей. Искры вверх и вниз мечутся во тьме — как безумные мысли...

— Приехали. Он к нам идет, а тот опять сзади.

...Пустая улица. Крадутся по мертвым домам лунные лучи, с закрытыми глазами улыбаются на мокром, черном окне. И вдруг прыгнули назад. От колокольни длинная тень упала. Прячутся в нее оба — друг от друга. А навстречу ветер звонит: дзинь — ди-и-нь...

Уже не слушает Белов. Мешают лунные лучи, делают что-то сзади, нужно смотреть туда. Привстал, обернулся: бледное пятно на стене — плещется беззвучно, двигается.

— Откуда оно, отчего?

Смотрит тревожно назад. А Тифлеев стучит громко и неровно – точно дрожат у него руки.

– Что это с ним? Вслушался.

– Заткнули рот. Повели в лес около монастыря.

...Повели. Молча по темному двору несут. Собака завыла: увидела незнакомое, нечеловеческое, с белой головой, бьющееся... В лесу – озираются, ступают неровно, ветки хрустят. Лунные лучи, слепые, натыкаются на деревья – длинные тени ползут, качаются – от ветра...

– Положили на землю. Только один сказал – отпустить его.

...Самое темное место. Черные, мокрые дубы костлявые руки расставили, ниже наклонились. Ветер примчался, в ветвях засел и притих. И они замолчали все. Одна мысль у всех была – робко самый молодой высказал ее. И опять молчали. А потом вдруг заговорили все, задвигались.

– Веревки не было. И стал я его душить платком.

Тихо стучал, медленно. Почувствовал, как Тифлеев рассказал бы ему это: наклонился и шепотом говорит, и глаза все шире раскрываются.

– И я его утушил.

– Почему утушил? Почему он говорит "утушил"?

Вздрогнул. Слово было странное, мягкое, как человеческая шея, задыхающееся...

Замолчал Тифлеев. За окном ветер метнулся, притих. На полу лежал блик от луны и белел, мигал незрячими мертвыми глазами, точно лицо удушенного.

II

Опять рождался день и был такой же, как двадцать дней, как тридцать дней назад. И оттого все дни стали потом сливаться в одно огромное, тусклое – точно развернулось бесконечное осеннее небо.

Было страшно остаться в сером одинаковом море дней и не знать, где берег – и они стали отмечать их на стене.

Один день отметили крупным крестом: замерцала надежда в их слепом и глухом гробу. Ждали, что дадут свидание Тифлееву.

В субботу вечером позвали его вниз. Там скажут: будет ли это, или рушилось все.

А Белов лежал, весь измученный ожиданием.

Все не темнело. Долго перебегали тени по стенам.

Потом сразу мягкий сумрак разлился, расплылись жесткие линии камня и железа, все предметы стали мягкими и теплыми.

Все не шел Тифлеев.

Около головы кружилось ожидание и шептало что-то невнятное – Белов напрягался весь, вслушивался. В самой глубине где-то, вся завернутая черною тьмою, рождалась мысль, он отталкивал ее от себя, весь загораясь страхом.

– Ах, скорей бы, скорей бы...

Зажгли огонь. Тишина.

И вдруг просочились бледные, тусклые звуки: пели где-то вдали, медленно, торжественно.

Да ведь завтра праздник.

Слушал пение. Окутывало чем-то ласковым голову и баюкало. И потом сразу откликнулось далекое милое эхо.

Тихие подпраздничные вечера в большом доме: лампада щурится и сияет теплым светом, мебель и цветы кругом странно-новые, непохожие – точно замолкли важно, ждут чего-то.

– Где все это? Куда делось?

И казалось – ушло назад, как тихие, кудрявые берега, и смотрит сейчас издали.

А вдали опять запели. Опускались потихоньку звуки, целовали.

Белов закрыл глаза. Было хорошо, вспоминалось самое светлое, самое любимое.

...Длинные, зимние вечера – вдвоем, в мягком свете лампы с зеленым, надвинутым абажуром. Вместе с ней, с Лелькой, заглядывали в темную бездну загадок жизни и смело стучались в глухую стену и прислушивались к эху.

...Было что-то нежное и тонкое – как взгляд, как запах. И оборвалось – нелепо. Лопнули струны на половине аккорда – больно!

– А если оно вернется, красивое? Дадут свидание Тифлееву, можно будет передать ей письмо?

Буйно кровь застучала, забегал по камере.

И точно в ответ труба зазвенела...

Дали во вторник! Брызнуло светом и разнесло тьму, унизанную призраками. Забилось сердце – точно начинало жить.

Белов остановился. Нарочно сказал себе:

– Ну, что ж. Ничего особенного.

И опять смеялся тихим, как дыхание, смехом радости, закрывая рот рукою. Мыслей было никак не собрать: точно вырвались из клетки и носились над горячими волнами в светлом просторе. Не знал, что писать.

Потом взял бумагу – давно уже была приготовлена – и написал только:

"Я сижу в тюрьме. Камера 201. Хотел бы получить от вас письмо тем же путем, каким получится и мое.

Сергей Белов".

Подумал и прибавил: "Ваш Сергей Белов".

* * *

Передать письмо вниз, к Тифлееву, решено было в воскресенье вечером.

Весь день стояла в тюрьме праздничная тишина – жуткая, томительная. Точно слушают все, что делается за стенами.

Там, должно быть, все живые и бодрые, как сухой морозный воздух, как праздничные блестки инея. Там, должно быть, яркое, смеющееся солнце, сверкающий жизнью смех на чистом, скрипучем снегу. И в светлой, яркой комнате – радостная, кипучая работа рука об руку...

– А это все, что казалось вчера радостью – разве это жизнь?

Целый день лежал. Опять надвигалась издали пустота, и маленькой, тоненькой болью тоскливо ныло сердце – ушло куда-то глубоко, и чуть слышно оттуда его стон.

Молчал весь день и Тифлеев. И казалось, что все в тюрьме молчат и глотают тоскливые, мучительные слезы. Неужели там, снаружи, может быть весело?

– И Лельке тоже, может быть, хорошо – с кем-нибудь?

Хотелось застонать протяжно и долго: а-а-а! – как от боли.

К ночи небо стало тревожно-бледным и глубоким, точно убежало вдаль от пристального мертвого взгляда луны.

– Будет видно письмо при спуске.

Белов нахмурился. Черные, смутные страхи закружились

около, прятались по темным углам и выглядывали оттуда, холодными пальцами прикасаясь к нему.

...А если оборвется нитка и захватят, прочтут?

...А если уведут Тифлеева, и опять он – один?

Опять вернуться назад, к прежнему?

Точно заглянул в бездну. Дна не было, и смотрело на него оттуда пустое, жутко-бесконечное, как небо в осенний ветреный вечер.

Вздрогнул.

– Лучше смерть.

* * *

Когда все стихло и потушили огни, подошел к окну, открыл фортку. За окном кружился и рвал что-то и шумел ветер. Улетал и опять прижимался к окну, замолкал. Становилось совсем тихо и казалось, что если приглядеться, то увидишь приплюснутый к окну нос и любопытные глаза.

Было страшно начать. Чудился подкрадывающийся шорох, и сердце билось в тонком смутном тумане опасений.

– Ветер будет мешать. Не отложить ли?

Оборвал себя злобно:

– Что, трусишь?

Нарочно, назло себе, громко стуча ногами, подошел к кровати, нащупал под ней в темноте и взял все, что нужно. Длинная и тоненькая, с письмом на конце, гнулась палочка от тяжести и дрожала, и казалось, сейчас тихо, без треска переломится.

Осторожно взобрался на парашу. Сомкнулась тишина стеной и надвинулась сзади вплоть до самого окна.

Нащупал пальцем отверстие фортки в холодном медном листе: узенькое, даже палец не проходит. Продвинул туда конец с нацепленным письмом и опять вслушался назад, в тишину. Слышно было, как ветер шумел порывами, все сильнее – будто все выше взбирался и обрывался оттуда вниз.

Из фортки шла холодная, морозная струя и упиралась прямо в тело.

Пригляделся. Было ясно видно – письмо выдвинулось уже за край широкого железного подоконника и висит над пропастью.

Задрожало что-то в груди, голова закружилась – точно сам стоял на краю и смотрел вниз.

Распустил нитку. Двумя быстрыми, неслышными шагами подошел к трубе, бросил вниз тихим, замирающим стуком:

– Готово.

И опять у окна. Опять холод из фортки, дрожат грудь и руки. За окном – ветер шумит, шумит, кружится. Схватывает зубами письмо и бросается с ним в сторону, потом в другую. Качается письмо, как маятник, а он вдали, ветер, замолк, смотрит. Потом схватит письмо и прянет с ним – вверх, и нитка висит, как мертвая, как пустая.

– Цело ли письмо? И удастся ли Тифлееву схватить нитку?

Ожидание – точно томительный, неперестающий звук.

И вдруг подпрыгнули сзади шаги и ударили по рукам – задрожала в них нитка. Тап-тап-тап – около самой камеры. Остановились. Замер весь и закрыл глаза. Ноги длинные-длинные и далеко где-то. Голова громадная и пустая, и внутри падают секунды, как капли:

– Два, три четыре...

Тихо.

– Сорок пять, сорок шесть...

И опять в тишине отпечатываются звуки шагов: тап-тап-тап. Все дальше – и стихли.

Вздохнул всей грудью, точно вынырнул из воды, глухой и холодной, и глотает свежий воздух.

Дрожат еще пальцы и ищут нитки. Опять ветер шумит за окном без конца, рвет из рук.

Тонет бодрость в светлом, видящем сумраке за окном. И уже отчаяние холодными камнями складывается в душе.

И потом, когда все кончено, и лежит он в постели – все еще вглядывается в темноту, и тревожные шорохи стучатся в ушах. Бледнеет уже измученное небо и тают усталые звезды, а он лежит все с широко раскрытыми глазами и неровно бьющимся сердцем.

III

Будет теперь свидание у Тифлеева только через неделю. Будет свидание и ответ от Лельки.

И вся неделя, все дни бегут мимо, незаметные, прозрач-

ные – и сквозь них, как месяц через облака, светит вторник и то, что придет с этим днем.

– Что там? Праздник и светлое солнце? Или страдание извивается и немеет?

Белов ходил из угла в угол и ни о чем не мог думать. Брал книгу и смотрел в нее – и слова были пустые, прозрачные, точно из стекла: одни буквы, бескровные, неживые, и нет в них образов.

Хорошо, что хоть Тифлеев постучал.

Постучал – радостно рассказывал: в первой галерее, под его соседом справа сидит товарищ Фома, арестованный вместе с Беловым, шлет привет и говорит, что скоро повезут Белова на допрос – их уже всех возили.

Белов написал письмо Фоме – короткими и сильными словами, полными силы и бодрости. Перечитывал письмо – и было ему странно, что это писал он – тот же самый, что неделю назад жил серый и придавленный.

Наутро Тифлеев выстукивал письмо вниз медленно и старательно. И так же медленно стучал потом, что письмо получено и что будет ответ.

А потом стоял по целым часам у трубы и не ходил на прогулку, чтобы успеть к вечеру получить ответ от Фомы и передать Белову. И когда Белов нетерпеливо стучал и волновался, Тифлеев говорил ему нежные успокаивающие слова – точно мать.

Весь обвеянный теплым, мягко и ласково думал о нем Белов.

– Как странно. Он душил человека – такой нежный, ласковый...

Бежали мысли – и вдруг застывали на месте, и опять вырастал вторник стеной, молчаливой и загадочной. Что там – за стеной?

* * *

Весь вторник ждал. Притаившись, ползало за ним что-то невидимое и сторожило своею тенью каждую мысль. И вдруг пожирало все их, и наполняло собою все, и хватало за горло.

– А если ее уже нет, Лельки, если и она взята?

И долго, томительно звенело в воздухе.

До ночи ждал.

И только когда поздно ночью дрожащими руками вытя-

нул из отверстия фортки и развернул – поверил, что есть письмо.

Письмо от Лельки.

Точно во сне. Точно во сне это. Через сотни замков, из темной дождливой ночи пришло оно, маленькое, и прижалось к лицу ласково и тысячи слов обещалось сказать – неслыханно-радостных.

– Спасибо, – кричит он Тифлееву.

Свечка вспыхнула – и умерло ожидание и его тени. Наполнилась ликованием тишина ночи и засмеялась.

"Сергей, дорогой. Бесконечно рада узнать, что вы живы, по крайней мере. Всего можно было ждать. Чего только мы о вас не передумали. Мне больно очень, что никак нельзя помочь вам. Если что нужно – напишите: большим удовольствием будет сделать что-нибудь для вас.

Эх, Сергей! Если бы вы знали, какие сейчас у меня мысли в голове... Мир хорош, жизнь хороша...

Помните ли вы наши разговоры? И то, что мы с вами говорили о любви. Ну, так вот...

До свидания, милый мой учитель диалектики.

Л."

Засияли в полутьме и запели мысли. И каждое слово ее, как звезда, поднималось во мраке. Ласково мерцало вдали и манило, недоступное и загадочное. И родились от этих слов и голубыми лучами дрожали новые, светлые мысли. Дышали и жили в полумраке камеры и называли его любимым. Любимым!

Снова читал он эти слова, которые уже любил, – и они сливались в один аккорд, огромный, дивный, об одном все пели – как сливаются вместе и поют об одном потемневшее от страсти небо, и истомно замершая вода, и сияющий звуками соловей.

Снова читал – и вслушивался в полутени письма и неясный шепот.

...Мы с вами говорили о любви. Ну, так вот...

– "Ну, так вот". Что это? Что они хотят сказать – эти три маленьких слова?

Были они, как закрытые тонким, черным покрывалом: шевелилось под непрозрачным что-то живое и соблазнительное и шептало лукаво. Чудилось там – под покрывалом – горячее, ласкающее, захватывающее дыхание, и хотелось сорвать непрозрачное, черное – и нельзя было.

– А конец: милый мой учитель диалектики. Это она о длинных зимних вечерах, о горячих спорах... О, милая!

Тушил непослушные мысли – отворачивался нарочно от них, притворялся невидящим. И опять возвращался к ним медленно, понемногу, и опять ласкали его, все разгораясь...

А за окном плакала бесконечными слезами непогожая ночь, одинокая, покинутая.

Посмотрел туда в окно, на слепое небо, окунулся взглядом в холодную тьму – и неслышно, быстро ушло все куда-то.

Достала ночь своими длинными, холодными руками и щупает все, слепая, и радостно заливает огонь, загоревшийся в нем.

Хохочет злобно-холодный рассудок – холодный и злой, как ночь.

– Как мальчишка – влюбился. Целовал письмо. Глупо как, стыдно! Одичал в тюрьме. И главное, чему радовался? Ну, чему радовался? Откуда выдумал, что она любит?

Падает сомнение холодными каплями – хихикающее, торжествующее. Медленно, мучительно разгорается стыд.

– Теперь, когда честные умирают, думать об амурах с какой-то девчонкой... Мерзко, позорно!

– С какой-то девчонкой? Не смей так про Лельку, славную, хорошую. – Кричало и грозилось издали могучее, молодое, родившееся недавно чувство.

– Думать о какой-то девчонке!

Нарочно, назло повторил. Прошелся взал и вперед по камере, огляделся кругом: не было уже радостных, сияющих мыслей, растаяли призраки.

– Вот уже ничего и нет. Это хорошо. Рассудок сильнее в нем.

Подумал и опять оглянулся, и увидел истину – голую, костлявую – как смерть.

– И никакой любви нет...

Говорил и видел, как пусто, страшно и больно становилось кругом – кончилось все.

А потом изогнулся перед ним и смеялся на ним и над гордым рассудком мучительный и злобный, как дьявол, вопрос:

– Зачем сделал это? Зачем отогнал радостные, красивые призраки? Хотелось вернуться к старому? Увидеть старое – голую истину – смерть?

Вот она – смотри!

И что твой рассудок, гордый рассудок? Помог он тебе?

Этот вопрос смешал и перепутал все.

Прислушивался Белов к мыслям и всматривался в них – и не видел дороги: метелью неслись они, разметанные в мелкие снежинки, и не могли остановиться, огромными туманными образами вставали и падали, звенели нежными, обманчивыми колокольчиками и плакали потом...

IV

В дни свиданий по вечерам тюрьма оживала. Где-то внизу, в нижних галереях, труба стучала глухим нутряным стуком, частым и дробным эхом говорили стены справа и слева, и у каждой был особый голос. А если приложить ухо к стене – было слышно, как спешили и стучали в стену где-то далеко внизу, и звуки были совсем слабые, точно выходили из глубины земли, чуть заметны были – как утонувшая в небе птица. Везде говорили и спешили поделиться жалкими обрывками жизни. Маленькие крошечные события раздувались и вырастали в огромные и наполняли пустоту их жизни. Из-за пустяков по целым часам горячились и спорили.

Тифлеев приходил со своего свидания поздно вечером и скорей стучал ждущему, взволнованному Белову: есть письмо. И потом в печальном свете сумерек рассказывал все новости свои и полученные от соседей, и все свои горести и радости.

А ночью Белов читал письмо и долго не мог заснуть, и думал потом целыми днями о письмах и о Лельке.

Получил он от нее еще два письма. Одно было длинное и старательно рассказывало обо всех партийных новостях. А другое было теплое и ласковое, и опять туманно и неясно говорила она о том сильном, что переживает. Настораживался весь и прислушивался к ее словам, и они обдавали теплым и волнующим. Обрывок одной фразы, короткой и странно-красивой и гордой – белой с черным – врезался в память: "...любить, а если нужно – мы сумеем и умереть". Ясно представлял себе, как она сказала бы это: взявшись за спинку стула и откинувшись назад, раскрывши глаза – точно смотрела прямо навстречу смерти.

А его письма были все такие же – притворно-насмешли-

вые и притворно-ласковые, и в обманчивых тенях малодушно прятал он свое чувство.

И вся эта игра прыгающих и скользящих намеков, и ласковые и теплые лучи, которые прятались, казалось, за ее словами, и письма, в которых они говорили на языке, понятном только им двум, и вся эта любовь к ней издали – все блестело и зажигало мысли, дразнило, как сверкающие водою и жизнью миражи в пустыне. Хотелось схватить руками, видеть ближе, ощущать.

И когда однажды принесли передачу от Лельки – какие-то пакеты и коробки со съестным и целый сверток белья – мысли хлынули вдруг, горячие, непослушные, и затопили волю. Платки, полотенца, простыни – все было Лелькино, и ее тонкий, чуть слышный запах переливался в жилы и зажигал в них кровь.

Развернул простыню. Простыня была тонкая, красиво выглаженная. Увидел Лельку, такую же чистую и тонкую, и с таким же свежим, раздувающим ноздри запахом – раскинувшуюся на этой простыне, спящую. Сердце рванулось, и вмиг охватило всего и толкнуло желание – целовать это холодное полотно.

Одним порывом, в котором собралось все гордое, холодное, боящееся чувства, – Белов сдавил, задушил поднявшее голову желание. Лег спать измученный, с бьющимся сердцем и кипящей кровью.

* * *

Еще дрожало в нем что-то и сладко ныло в груди, когда он проснулся.

– Если бы правда!

Закрыл глаза и одним легким усилием построил опять всю странно-красивую и трепетную картину сна – точно он не растаял еще и был где-то тут, в воздухе – сдернуть только покрывало.

...Узенькие, длинные ступени – как у древних греческих храмов. Со всех сторон свет, ослепительный, бушующий – будто десятки солнц кругом.

Впереди идет она – Леля. Медленно, как богиня, идет она, ослепительно сверкая телом.

И что-то яркое, горячее и бушующее, как этот свет кругом – у него в груди. Весь во власти этого, и как слепой, как

раб – идет за ней, за богиней, и целует следы ее ног. И этого – мало, хочется чего-нибудь еще более рабского, еще более унижающего.

– Это – любовь, – говорит он себе.

И они идут дальше – по белым и теплым ступеням. Все выше идут, и все ярче свет, уже и круче ступени.

Голова кружится. Страшно ей, страшно ей, смотрит синими глазами, испуганными, как ребенок, тянется. Скорее к ней – взять ее на руки – маленькую, слабую...

Уже рядом он с ней. И у самой груди своей видит ее золотые волосы распущенные, и в золотых волнах – белое с розовым смеется – ее маленькая, нежная грудь, так странно-близко. Так хорошо...

А сзади крадется кто-то, темною тенью давит вниз непонятно, шепотом нечистым шамкает: стыдно.

Меркнет свет и радость. И с болью говорит Белов вслух чужим голосом: стыдно. И стоит неподвижно, глаза опущены. Стоит неподвижно.

Вдруг видит маленькие светлые капли – внизу на белых ступенях – шевелятся, блестят. Слезы ее – слезы!

С ненавистью к себе сжимает он зубы: ах, зачем это сделал, что-то жалкое и оскорбительное? И на коленях протягивает он руки, умоляя.

Сверху – она опускает руки и прижимает нежно его лицо к себе – прощая.

И он зажигается радостной силой и тысячью поцелуев приникает к ней.

И вот уже нет его: растворился в ее дыхании, в радостной ее близости. Десятки солнц пылают и кружатся бешено, и несут его куда-то. В пропасть, ослепительно-светлую.

И теперь Белов чувствовал, что желание, властное и могучее, как красота, чистое и свободное от стыда, как весенняя природа – охватило всего и мучило, требуя повиновения.

Хотелось мучительно, чтобы она взяла всего его, и сама – вся была его.

Хотелось видеть ее, Лельку, как во сне, с распущенными волосами. Хотелось любоваться каждым уголком ее прекрасного, нежного тела и медленно, благоговейно целовать его.

Хотелось, чтобы смеялась она – серебряным смехом, счастливая и гордая.

Хотелось, чтобы плакала она – чтобы целовать ее волосы,

и глаза, и ее слезы – и утешать ее, маленькую и слабую – как ребенка.

Вытянулся весь, закусил губы.

Рвался изнутри нетерпеливый, стонущий крик от охватившего, ищущего – и бессильного желанья.

– Лелька, Лелька! Любимая моя, жена моя!

– Да. Жена... – повторил это слово, и оно было теперь строгим, таинственным и важным.

– Ну да. Я люблю ее как жену. И счастье – это она. – Сказал он просто и ясно, точно говорил о чем-то старом, давно решенном.

Сразу заметил это, и заговорило в нем на минуту старое, недоверчивое, спрашивающее.

– Почему она – счастье? А счастье борьбы – и победы или гибели? А мой разум?

И новый Белов радостно и смело ответил:

– Это все – кусочки жизни – и борьба, и жизнь разума. И в них работает не все мое существо, и дают они не все счастье – только кусочки его. Радостно пожертвовать собою, отдать себя в борьбе? Да? А если я отдам себя, свои мысли – сначала ей, любимой, и возьму счастье, и отдам потом все – и любовь и себя – ведь жертва будет больше. И если в жертве счастье – и счастье больше?

– Ну да, да, – радостно отвечал себе, оживая.

– А жизнь разума, борьба, творчество – ведь все это даст в тысячи раз большее и живое счастье, если сначала отдать его любимой и опять получить от нее.

– И если желание счастья – то, что двигает всеми людьми и всею жизнью – а это так, то любовь должна родить тысячи красивых и смелых поступков и сделать их в тысячу раз сильнее, смелее и красивее.

– И те, которые говорят, что любовь может мешать...

– Да ведь это я говорил, ведь это я, – вспомнил Белов и улыбнулся снисходительно.

И почувствовал всем своим существом, и понял ясно и твердо, что без любви – нет счастья, без любви – страстной, сжигающей стыд – когда двое любят тело друг друга, как свое, и любят ум, волю другого, поступки, как свои.

И что для него нет счастья – без Лельки, без ее синих глаз, без ее маленьких рук, без ее нежного и горячего тела,

без ее серебряного смеха, без ее острого и радостно-пытливого ума. Вспомнил, что в книге лежит начатое письмо к Лельке, к жене.

Изорвал и стал писать новое, не останавливаясь и почти что не думая.

V

— Все ты говоришь о Леле. Любишь ее?

Ни на минуту, ни на миг не остановился Белов и простучал уверенно и твердо:

— Люблю.

И когда Тифлеев стукнул быстро и звонко, точно радуясь его счастью, он добавил:

— Очень.

— А отчего свидание не устроишь? Ведь хорошо. А с невестой они дадут.

Удивился, как эта светлая и простая, как солнце, мысль не явилась раньше. С невестой, с женой — должны дать. Если они люди... А бояться показать, что он знает ее — теперь уже нечего. Ведь все равно после — если она пойдет за ним...

Свидание! Счастье безумное.

Вдруг — видеть Лельку, и слышать ее голос, и целовать...

Как если бы солнце середь ночи — дождливой, холодной, мертвенной — выпрыгнуло из-за облака и засмеялось золотистым смехом.

Да ведь оно уже почти взошло — солнце. И если оно двигается — солнце-счастье, оно совсем придет и без следа развеет тьму...

Как только отошел от трубы, вынул письмо. Было оно сложено длинной белой полоской и запрятано в корешке книги.

Выбрал свободное место на тонкой, мелко исписанной бумаге и писал:

— "Опять, как вчера, я люблю тебя — больше нельзя любить — жду тебя, и твоих ласк, и твоих взглядов.

И если это так, если ты меня любишь, а для меня ты — солнце и счастье — подумай: можно добиться свидания. Придешь как моя жена. И я почувствую тебя, и увижу твои глаза...

Сердце бьется, как безумное, когда думаю об этом. Это будет".

И опять читал сначала, и опять становилось тепло и радостно: были эти слова рождены его любовью, как лучи солнцем.

Радостный и улыбающийся, он долго ходил по камере, а потом заглянул вниз – на прогулку.

Захотелось чего-то отчаянно-мальчишеского, смешного, дерзкого.

Раскрыл мысли и перебирал их, и среди них одна лукаво улыбнулась ему.

И он положил губы на холодную медь фортки, пригнулся, чтобы снаружи не было видно, и во всю силу голоса крикнул:

– Эй! То-ва-ри-щи-и!

Яркой, дрожащей пеленой повис крик над двором и заколыхался – и все смотрели вверх. Ухнуло в камере эхо и, дерзкое, хохочущее, помчалось по коридорам, раскидывая по сторонам тишину.

Вдруг засуетились и забегали за дверями, зазвенели ключами, останавливались и спрашивали. Точно загорелось – и проснулись все.

Потом стояли около его двери и говорили:

– Это – не он. Этот – тихий.

Он слушал и хохотал, и ему было весело.

А солнце смеялось в окно, и лучи его щурились от смеха и кривлялись, переламываясь на наклонном подоконнике.

Снаружи у окна сели два голубя – самец и самка. Самец был надутый и расфранченный – в золотом воротнике вокруг шеи, а самка – маленькая и кокетливая.

– У-у-у! У-у-у! – вдруг зарычал самец важно и громко. Распустил крылья и хвост, отошел в сторону от самки, закружился там. Смешно топтался ногами и приседал.

А самка притворялась, что ничего не видит и ничего не понимает, и старательно клевала железо подоконника.

Белов смотрел на них в упор в отверстие фортки и вдруг не выдержал и фыркнул.

– У-у-у! У-у-у! – опять затоптался и надулся самец.

...Ну точь-в-точь – люди, когда они кокетничают и притворяются – перед другими и перед собой, – что они ничего не понимают и не знают, что их влечет друг к другу и чего они ждут один от другого. И как этот расфрантившийся самец,

так же глупо и смешно рядятся друг для друга, а сами ждут видеть один другого без этих глупых воротничков, и корсетов, и перчаток.

И обманывают друг друга словами и поступками, и сами себя, и стараются скрыть свою любовь, как что-то стыдное...

Вспомнил о своем последнем письме, изворотливо и хитро говорившем между строк о его чувстве – о письме, которое изорвал.

– Дурак, как этот самец, – обругал себя с досадой.

А самец в это время подбежал уже к самке. Собрал хвост и опустил перья на шее и на груди. И все его тело, изящное и стройное, и сильная, выпуклая грудь, отливающая золотом, – обрисовалась теперь ясно и красиво. А самка перестала глупо клевать железо и, подняв голову, смотрела навстречу покорным и ждущим взглядом.

Крылья плескались и трепетали в воздухе, глаза подернулись красивой прозрачно-голубой пленкой. А солнце играло с золотистыми перьями и ласково смотрело на них.

Оба они были красивы теперь. Любовался ими.

– ...Глупы и смешны, когда влюблены, и хороши, когда любят. Как люди, – сравнивал опять Белов.

Была суббота. Ударили в колокол – и звуки долетели сюда слабые, слепые, дрожащие. Стукнулись – мягко и робко – в окно, в лицо Белову, в голубей. И они улетели – счастливые, любящие.

На минуту стало пусто и грустно в камере. Солнце заходило.

– Когда еще я буду не один, – подумал он с тоской.

А любовь – сильная и живая – встала перед ним розовыми, последними лучами солнца и улыбнулась укоризненно и весело: разве он не верит ей?

Заворожила верой – могучей и крепкой – и легко, одним толчком, отбросила далеко и тоску, и страх, и отчаяние.

* * *

Зашевелились и загремели в коридоре. Отворяли одну камеру, потом другую – верно, повели их в церковь.

Вдруг застучали, вошли двое.

– В город. Приехали за ним...

На допрос! Забилось сердце сначала тревожными и быстрыми толчками, а потом веселыми и легкими.

— Это — борьба. Это — весело. — Он почувствовал в себе силу, смеющуюся, вызывающую. Тряхнул головой — едем!

Улица. Небо — громадное, невиданное, новое! Взмахнуло над головой звездами — их тысячи смеются наверху.

А дома, дома! Разные все стоят, большие и маленькие. Дома — милые, светлые! И мальчишки бегут. Мальчишки!

В карете черные шторы. Рядом сел человек в серой шинели, в бороде, с револьвером. Борода — как у унтера — дядьки в гимназии.

Застучали, покатились. Странно как: ехать вперед, вперед, далеко... Голова кружится.

— А! свернули куда-то? Конки звонят, бегут. Над ухом лошадь фыркнула.

Посмотреть туда на живых. Ну, чуть совсем.

— Чтобы не видно было снаружи? Хорошо, хорошо.

...Людей сколько, Господи!

Студент с девушкой — за руку. Милые, хорошие. Ну, постойте, ну, секунду еще!

Фонарщик лезет. Успеет зажечь, пока доедем? Ну?

Шум, шум, веселый — и сразу точно лопнули струны: темная, пустая улица. Что там в этом домике — за светлым замерзшим окном?

Бегут, спешат мысли, подпрыгивают, скользят... Катится карета...

— Трак! — щелкнула дверца, дохнуло холодом.

Темный двор, шаги сзади. Узенькая, грязная лестница и коридор — длинный, угрюмый. Вниз куда-то...

Странная комната с сумрачными сводами. Лампа вверху — обрезает темноту, а внизу еще непонятней клубится и копошится она.

А! тут ждать...

Шевелятся фигуры в углу — темные, без лиц. Головы качаются — и свечка качается удивленно. Смеются хрипло и делают что-то. Что?

Вот, у стола, круглые и четырехугольные ящики и длинные, круглые валы. И темная, плотная стена печатной бумаги.

Опять пригибается свечка и тусклые, испуганные взгляды бросает кругом.

Снуют и шепчутся физиономии, с поднятыми кверху усами и стеклянно-блестящими глазами. Шушукаются и сталкиваются за спиной и опять бегут мимо... Противно, противно...

– Как долго!

Секунды бегут, минуты, тени, лица...

Опять лестницы и коридоры – и вдруг свет, холодный, яркий.

Двое их – ждут за столом, двое – кольнули взглядами.

Злое, насмешливое шевельнулось и потянулось к ним через прищуренные глаза и улыбку.

И началась игра, острая и страшная, как танец на канате, и приятная, как заглядывание в пропасть.

Со смехом бросал им нить и дергал ее. И они бежали за ней и хватались за нее, радостные, торжествующие. Сдается он уже, тише и короче говорит, а глаза смеются, и на губах шевелится и жалит змея.

И сразу выдергивает нитку – летят они навзничь и, смущенные, стараются незаметно подняться.

Молчат секунду, роются в белых листках – шуршат...

Вытаскивают и заносят над ним самое тяжелое, острое.

И рассекают пустой воздух:

– Ну-с, на сегодня, пожалуй, этого развлечения достаточно? Не будет он больше отвечать. Скучно.

Сверкают зубы, и глаза щурятся, смех дрожит в них...

– ...Если бы Лелька все это видела!

И опять карета, темные и светлые улицы, и мягкое покачивание на рессорах...

* * *

Теперь Белов знал, что его ждет. Длинные, темные годы пойдут медленными, тяжелыми шагами – в кандалах.

Но это уж не шептало черных мыслей – как раньше, и было на душе бодро и радостно: завтра придет от нее письмо, и в нем – ее любовь.

VI

Проснулся и лежал, закрывшись с головой, вытянувшись. Темнота лежала вместе с ним, теплая и мягкая, и только там, где были ноги, пальто не хватало – пробирались лукавые, смеющиеся лучи, толкали и будили тьму. А вытянутое и гладкое пальто смотрело сверху, как крышка.

– Так и в гробу буду лежать. И так же темно будет. А сверху будут лезть черви – слепые, жадные, скользкие...

И так нелепа и невероятна была эта мысль, что ей нельзя было верить. И не поверил. Страшно ничуть не было – он засмеялся даже.

– Не может быть. Не умру, – подумал Белов спокойно и уверенно.

Окно было запушено ночной вьюгой – точно чем-то теплым и мягким завешено снаружи. Лучи ударялись о снежинки и блестки и щекотали их, а те смеялись и сияли глазенками, и шутливо отбивались от них, отбрасывая ледяными искорками.

Было весело – точно звонили, переливались, подплясывали в воздухе колокола.

И сплошная, одинаково радостная, непрерывающаяся – как звон колокола – была кругом в воздухе мысль о том, что сегодня это должно случиться, сегодня должно прийти письмо.

Радостно было и ждать, что сейчас отворится тяжелая дверь, и камера с густым и вонючим после чистки параши воздухом останется позади, а он будет дышать холодом и свежестью.

Быстрыми и легкими шагами ходил Белов в своей клетке.

Было легко – точно весь тянулся кверху.

Там – небо, чистое, синее. Засмеялась весна – далеко еще где-то, за морем. Резвый и чистый, как звон серебряного колокольчика, долетел смех, перегнулся сюда – в темный колодец смотрит голубым, ясным взглядом и звенит в душе.

Воздух – как хрусталь, холодный и чистый, а сквозь его грани тысячью огоньков мигают и смеются тепло и жизнь – чуть видно их, далеко еще они.

Облачко навстречу плывет – золотисто-розовое, мягкое. Купает свое нежное тело в голубом море и плывет навстречу весне и далекому невидному солнцу.

Хорошо там вверху. Без конца плыть вперед...

Карабкалась мысль вверх на головокружительную высоту и останавливалась. Опять поднималась и останавливалась, снова ползла, и все-таки оставалось перед ней что-то непонятное.

И от этой синевы, в которой тонул и задыхался взгляд,

начинала кружиться голова. Уплывали мимо серые с черными окошечками стены, и сам плыл куда-то, покачиваясь, на дремлющих, неслышных волнах.

Закрыл глаза. Было легко, и казалось, под ногами нет земли. И мысли были легкие и светлые – точно из лучей и хрустального воздуха.

* * *

Когда шел назад – душная и темная тишина тюрьмы побежала навстречу ему. И когда был наверху – она собралась и прянула снизу – огромная и зловещая.

Заглянул в лицо ей дразнящим и смелым взглядом и засмеялся навстречу ей: не боится он – сегодня ждет его письмо. Оно уже написано, и близко где-нибудь, и любовь с ним.

Потом глухая камера проглотила его. И камень задышал в лицо, и решетка хотела сковать мысли – а ему было весело: она скажет ему сегодня, что любит. Скоро это будет, скоро.

Весело-золотистое облачко смотрит еще в окно, и весна, и жизнь издали смеются. Что ему решетка? Что ему стены?

Вот и Тифлеев ушел уже на свидание. Опять стало тихо, как замолчал его стук.

Смеркается. Часы зазвонили. Ну, скорее ночь, скорее радость...

Отчего вдруг такое темное, хищное стало небо и так страшно улыбается в окно?

Все равно! Не страшно – письмо уже получено! И это самое окно, и ночь помогут ему...

Как темнеет! Умерло уже розовое облако, и душа его, легкая, прозрачная, сотканная из солнечных лучей,– улетела, и глядит в окно тяжелая сине-серая туча. Она – мертвая. И в ужасе бегут от нее, мечутся последние лучи.

Мертвая, тяжелая, повисла над головой. Холодно...

– Ничего. Опять загорится радость и согреет – ночью прочтет он письмо...

* * *

Свечка горит. Кругом нее тени прыгают. И она кивает им, и говорит им на незнакомом языке – останавливаются, насторожились...

Вот оно, письмо, вот оно!

Розовым отливают тени, шепчут о любви, о прекрасных, обманчивых призраках...

"Сергей, мой милый товарищ! Вы, бедный, измучились, фантазируете, нервничаете, экзальтированный стали какой-то. Ну, разве можно так письма писать?

Боюсь не сделать бы вам больно, мой бедный. Я готова помочь вам всем – смело обращайтесь ко мне, но о свидании нельзя и думать: я уезжаю на днях со своим женихом. Его высылают отсюда.

Простите, что пишу это так прямо. Я знаю, вам не надо жалких слов. Ведь вы найдете в себе достаточно силы?"

– Что это?

Пламя вытянулось кверху – длинное, и все тени вытянулись – длинные – и слушают.

А он улыбается. Глаза неподвижные. Замерли на одной точке – нельзя сойти с нее, нельзя двинуться: кругом бездонной пропастью обступает ужас. Губы улыбаются и дрожат на мертвом лице.

– Ничего, ничего. Это – так. Не может быть, ведь...

Чудо? Нет чуда.

Простые, понятные и беспощадные, как смерть, слова охватывают мысли. Рвут и топчут душу, с дикими воплями разрушают в ней все.

Умерла на губах улыбка – последняя в жизни. Умерла жизнь. Осталось чужое, страшное.

– Нужно найти в себе достаточно силы...

И знакомая пропасть вниз, полная смерти и молчания, раскрылась перед глазами.

Метнулось последний раз пламя красным стонущим блеском и потухло.

...Утушил – вспомнилось вдруг странное и страшное слово.

Сел на кровать. И казалось, рассудок, помертвевший и придавленный, вдруг вырвется и помчится с диким, безумным хохотом, и дрожью, и воплями.

VII

С утра началось страшное, нелепое, невероятное – как если бы он сам стал выдавливать себе глаза и резать медленно пальцы. И когда он оглядывался на себя и на сухой, распален-

ный вихрь своих мыслей – он не верил им. Казались они ему чужими – и он не имел над ними власти.

Красным огненным потоком злоба залила его. И в урагане кружилась, и бросала вверх, и разбивала о землю. Свою любовь разбивал он, сам себя разбивал. Скрежетала зубами его гордость, и металась, и падала в одном вихре со злобой, и визжала, и засохшими губами шептала проклятия.

Одно и то же видел он: сидит она у него на коленях – у другого, обвила его шею голой рукой, и погружает в его глаза свои, синие, и ищет там свое отражение.

И он самыми грубыми словами оскорблял ее – святыню, любовь, душу, ее – чистую, любимую Лелю. Плевал в лицо своему богу и ударял его, и топтал ногами. И это было чудовищно и нестерпимо больно.

Он рвался к ней, к милой, к любимой, к счастью – чтобы кланяться ей, как богу, чтобы жить для нее.

А она отворачивалась и не видела его любви, его безумного поклонения раба. Никто не мог так любить ее, а она не смотрела.

И опять потухало солнце, падал мрак в его душу, и кровавые, дымные тени бесновались и грызли – с визгом, и убивали себя.

Бегал по камере, кусая губы. Прижал руки к лицу – до боли. И потом бил кулаком по стене изо всей силы – искал боли, и зарывался головой в подушку.

Из темноты, низкая, приподнялась из земли мысль и показала свое подлое, злобно смеющееся лицо и оскаленные, гнилые зубы.

Вздрогнул и отвернулся – так отвратительна и гнусна она была. И опять поднялась она, эта мысль, и встала во весь рост. Как дьявол была в дыму злобы, отвратительная и манящая. И Белов пошел за ней.

Взял все письма. Была там вся она, чистая и любимая, были ее нежное сострадание и теплая ласка, и слова утешения. Были это ее письма, которые были для него самым святым в тюрьме и которые целовал он.

Взял письма и разодрал их. И бросил в самое гнусное место, куда не бросал даже своих плевков – бросил их в парашу.

* * *

Ночь спустилась над тюрьмой тяжелой, мраморно-черной плитой. Придавила тысячи страданий, тысячи людей заснули и забылись, а он не спал.

Ползали и копошились в темноте мысли, как могильные черви. Точили его мозг. И все красивое – чем он жил, все разлагалось и показывало свои кости – пугающие и отвратительные.

И в этом смраде смерти родилось письмо – безумное, нелепое, злобное. А поверх злобных и диких слов прорывалась любовь, могучая и неистребимая, росла поверх – как белые душистые цветы на могиле.

Хотелось, чтобы скорей получила она это письмо – точно это могло вернуть ее. Молил Тифлеева об этом. Пусть бегут за ней, пусть бегут, пусть ищут, пусть пошлют туда, куда едет она...

Опускал его в холодную тьму, куда-то глубоко вниз, опускал дрожащими, холодными руками. А в глазах и где-то там – за глазами, в темном, горячем мозгу, все росла нестерпимая боль, все глубже рылась корнями и распирала череп.

Потом на один миг, казалось, рассеялась тьма и все задохнулось – когда выпустил нитку из рук. И опять захлопнулась холодная, мраморно-черная плита и проглотила все.

Письма упали. Их найдут. Было это теперь все равно. Самое страшное уже случилось.

Всю ночь он не спал.

* * *

Пришло серое, неживое утро, а он все лежал с раскрытыми, неподвижными глазами. Вдруг лампочка загорелась и смотрела, бледная и измученная. Медленно повернулся к ней.

Потом люди пришли – четверо, и наполнили камеру шумом и говором, незнакомым и новым. И казалось, они двигались неслышно, и неслышно раскрывали рты, и махали руками, а звуки жили отдельно и все были в одном месте – точно выходили из какой-то трещины в своде. Было все, точно во сне.

Искали везде. Наклонялись и поднимались – неслышно – и бросали белье, и потом сидели по углам, и тогда не было видно их лиц. Брали книги и высоко поднимали их, перелистывались неслышно страницы и пестрели, белые, в глазах – это было неприятно. Прятались под кровать.

И потом вдруг грубо перевернули его и поставили на ноги, и ползали по телу грязными руками. Холодные руки клали на одно место и долго держали так зачем-то. Потом двигались дальше и сжимали его со смехом.

Смеялся один из них и говорил наглые, грубые, бьющие в мозг слова о какой-то девушке – и потом все смеялись грязным, ползающим по телу смехом.

Острой, холодной льдинкой упала в раскаленном мозгу мысль: это – знакомое, это – он слышал.

И вдруг ужас перед сделанным захватил дыхание. Это были – его слова! Это – он писал! Нашли письмо – и повторяют его слова – о Лельке. Из письма, из письма...

А хохот еще дрожал, и издевался, и плевал – в его Лельку. Туманом застлало глаза.

Размахнулся и ударил одного – в лицо, в смех. Голова назад покачнулась – ах, хорошо.

Упало что-то горячее на грудь и на темя – сзади. И потом поплыло в красном, жарком тумане. Мысли утонули в черном...

* * *

Темно на дне...

И вдруг – точно повернули внутри кнопку электрической лампы. Очнулся – и все случившееся вздрогнуло и проснулось в сознании и стало понятным и болезненно-ясным – точно вырезанное из мрака молнией.

Одинокая и резкая, как шпиц колокольни в грозу, забелелась на темном и кольнула мысль.

– Значит, конец.

Дрожь пробежала, будто что-то тысяченогое, по телу. Потом зазвучал вдали неясно и чуть слышно какой-то вопрос – и Белов закрылся от него. А он летел с бешеной быстротой, точно одинокий локомотив, и бил уже в набат, мчался и потрясал воздух, и грозился свалить.

Поднялся Белов и пошел, легкий, качающийся, точно он не имел весу.

Стоял у трубы и уже знал в глубине он, что нет Тифлеева, и зарывал эту мысль старательно и хотел не смотреть на нее.

– Тук-тук-тук, – сверкнули звуки и тысячу видений осветили в душе.

Страшно было поверить сразу. Еще постучал.

И поднялось молчание снизу, выросло и расширилось. И стало огромное, как мир, как ужас.

Месяц смотрит бледными глазами и молчит. Темнота стала мертвой и холодной. Вздрогнули и замерли стены.

И внутри все замолкло, и стало темно и холодно.

— Динь-дон! — прозвонили тюремные часы и застыли.

И опять раздвинуло молчание свои черные, мертвые крылья и обняло ими все.

VIII

Небо в отчаянии закрыло лицо темными тучами. Тяжелые, теснятся они и подступают, как комок слез к горлу, и каждый миг готовы прорваться рыданиями.

Нет сил больше смотреть на мертвый пустой двор. Хочется броситься на эти остатки снега, упасть ничком и рыдать без конца...

А колокола все звонят, все звонят. Тусклыми, серыми змейками заползают в мозг звуки и мечутся в тоске, перегрызают мысли и терзают: ведь надо думать, надо думать.

Сильнее сжимал он голову руками и качался. И мысли качались и бились с болью в виски.

Потом зловещим заревом вспыхивало и освещалось все:

— А если нашли у Тифлеева ее адрес? И если уже взяли ее теперь? — Пылали щеки, и сухо становилось во рту, и дрожали колени.

И вдруг подумал — точно толкнули сзади.

— Нужно посмотреть в зеркало.

Оттуда глянуло сначала что-то серое и безжизненное и странно глубокое — непонятный, страшный мир. А потом он узнал себя. Глаза ушли вглубь — будто наступало на них, все ближе, страшное — и они пригнулись, притаились и прыгнут сейчас с криком ужаса. А лицо было желтое и плоское, с кровоподтеками и синими пятнами — точно смерть уже грызла изнутри, как у трупа.

И жестоко, с ненавистью сказал себе:

— За это было любить его? За такую красоту и силу?

— Или, может быть, в нем — сила ума и пылающая сила слова?

И со страданием ответил кому-то холодному, безжалостно спрашивающему, кому он не смел говорить ложь:

— Нет. Все в нем обыкновенное.

И это простое слово звучало страшное, безнадежное, как приговор. Скрежетала зубами ненависть к себе, казался он себе маленьким, ничтожным, которого хотелось сбросить, прибить. А тот, кому отвечал он, вставал еще суровее и неумолимее и точно давил книзу тяжелой рукой. Из-под тяжести выскользнула и тускло блеснула мысль, пригнувшаяся и жалкая, просящая, как нищая.

— А мои страдания? Разве они ничего не стоят?

И с усилием ворочая мыслями, точно камнями, он ответил:

— Нет. За одни страдания нельзя любить. Ведь больные отвратительными болезнями, трусы, самые гнусные предатели... их страдания — больше всех. И тем больше, чем гнуснее и отвратительнее они...

И опять смешались все мысли, забывал он, о чем думал, и мучился этим, и спрашивал:

— Ну так что же? Ну так что же?

Сбрасывал с головы подушку, приподнимался на кровати и качался, весь белый, как в саване.

Опускалась мысль о смерти, понятная и близкая.

Метался, и хотел забыться и отвернуться, и этого нельзя было сделать: точно падали куда-то без конца мысли и видели перед собой только дно, конец, ужас. И все быстро мелькало мимо — как стены, пустое и гладкое, и нельзя было удержаться.

Гнилым, чахлым деревом трусливо высунулась мысль — ухватился за нее, на миг, перестал падать.

— А жить для борьбы с ними, для мести?

И обломилась сразу: заглянул он в себя и не увидел уже ни злобы, ни сил, ни воли. Уже умерло все, и трусливо шевелилась и хотела лгать полураздавленная жизнь, отвратительная и мертвая, как гнилая рана.

И он отбросил ее ложь и опять стал падать вниз, вниз.

Кружилась голова. Хотелось сесть и ждать, не двигаясь, того страшного, что должно было прийти и обрушиться.

Мучила жажда — точно в горле был насыпан сухой горячий песок.

* * *

За стенами холодная тьма дрожит и слушает: ничего не слышно снаружи – только вода булькает в трубах.

Это ворчит чудовище из железа и камня, и грызет свои жертвы, чмокает и сосет потихоньку.

А они – живые еще. И бьются о стены пылающей головой и бледными руками. Уходят далеко вглубь глаза и обводятся черными кругами, и делаются громадными. И протягивают все руки в темноту, напитанную их стонами, и молят, и ждут: неужели никто не услышит?

Никого. Одна ночь слушает и молчит.

А потом, когда уже замолкли все они и лежат неподвижно, и кажется, что умерли – она бледнеет и двигается беспокойно.

Бледнеет и обливается холодным потом – точно приняла в себя все муки, какие видела.

Качается мрачная ночь из стороны в сторону и в клубки собирает свое тело – корчится. Шевелится мрак и со стонами раздвигаются его недра, бледный рассвет рождается из них, заливается кровью.

Из темных углов, полных мохнатой пыли, ползут душные сны.

И кажется ему, что он стоит на пустынном берегу.

Не видно ничего – ни впереди, ни сзади, ни по сторонам – не видно ничего, кроме одного только тумана и раскрытой пасти волн у ног.

Он не темный туман – он светлый, и еще страшней от этого: светлый – он видит все, и каждую мысль хищно сторожит он. Серый, мертвый, удушливый, как тюремные стены, – туман.

И нет от него спасенья, и некуда бежать: ведь никого кругом, кроме серого тумана и молчанья могилы, а волны в этом молчаньи бьются, как мысли, и нет им выхода, и звуки их – неживые.

В них спасенье от тумана, в тумане – от них.

С болезненным любопытством и с ощущением чего-то постороннего под ложечкой еще раз заглянул в суровые, зеленые волны.

Точно огромная глыба льда, вырос внутри ужас. Медленно, с трудом Белов вытянул руки и вздрогнул всем телом.

* * *

Один миг радости: все это сон. Живет еще тело, и чувствует он, как двигаются руки и ноги и смотрят глаза. Во сне это было – страшный туман и смерть.

Ласковый день наклонился над ним и осыпает его молодыми весенними лучами – точно цветами. Резвые и бодрые, разрумяненные утренним холодом, прибежали звуки со двора и толкают шутя друг друга. Это дрова пилят внизу, и смеются там, и голуби воркуют.

И он видит это и слышит!

А вот на крышах солнечные лучи целуются со снежинками, родившимися ночью – невинными и нежными. И радостно умирают снежинки под весенними лучами, и новые отдают свое тело их любви – и рядом идут смерть и любовь.

– Вот и жизнь. Вот и весна, – подумал он.

И глянул со страхом внутрь себя: никакого эха не дала там мысль – точно была там глухая, мертвая стена.

Искал смысла слов – и не находил. И стояли они перед ним пустые и прозрачные, как хрусталь, с которого слетели переливавшиеся в нем и волновавшие его солнечные лучи.

Стоял у окна. Мимо ушей ветер шелестел, и голова кружилась, была странно-легкая – от пустых и прозрачных мыслей. И оттого, что смотрел он в эту пустоту, и оттого, что шелестел ветер, казалось, что нет у него тела, и поднимается он вверх и видит внизу себя: стоит, прислонился к стене, оборванный и бледный.

И было странно, что умер или девался неизвестно куда гимназист Белов, розовый и веселый, молившийся Богу и боявшийся Его, и умер студент Белов, сильный и молодой, любивший жизнь и борьбу. И казалось бессмысленным и странным, что теперь этот бледный и обросший человек был тоже Белов, и что заперт он в вонючей комнате и думает о смерти. И нельзя было этому верить.

Долго стоял и смотрел в дверь – в одну точку. Не хотелось сдвинуть взгляд и переломить его – прямой, неподвижный.

И вдруг железная дверь стала сразу живой и страшной. Раскрыла свой глаз – с визгом, будто скрипнула зубами и злобно выдвинула вперед нижнюю челюсть.

Раскрыла свой глаз и смотрела пристальным, длинным, как бесконечная проволока, взглядом. Извивался и острыми

крючками цеплял кровавые раны. Переплетающимися горячими тенями и дикими стонами наполнился мозг.

Стоял в одной рубашке, с безумным взглядом.

Пробежало что-то в груди – и вырвалось криком – точно брызнуло кровью.

Добежал до кровати. Забился в подушку.

Целый день лежал. Точно на дне, придавленный глубиною бездны. И там не было ни времени, ни пространства, ни света, ни воздуха, ни мыслей.

Не смел пошевельнуться, ни встать, когда принесли обед, ни выпить воды, чтобы утолить жажду.

Не было времени. И не знал, сколько лежал так – час, три, пять. Когда остановились около его двери шаги, и он открыл глаза – ясного, светлого дня уже не было.

Отворили двери, чтобы вести его на прогулку.

– Пора? – сказал он вслух, и показалось, что это кто-то другой сказал незнакомым, хриплым голосом.

И от этого слова передвинулось в сторону сердце, и точно разорвало что-то внутри и ударяло в рану больно и неровно. И эта боль – где-то внутри под ложечкой – была странно-знакомая и недавняя.

Не мог никак вспомнить, когда это было.

– Да когда же? Да когда же?

Несколько мгновений стоял на месте и мучился, и потом вспомнил, что это было во сне.

Надел пальто и шляпу и плотно застегнулся. Отворил зачем-то фортку и двинулся вперед в темноту.

Ноги были чужие, и весь он был страшно тяжелый – и гнулись оттого, и дрожали колени.

А потом дрожь побежала выше – по спине, и по животу, и по груди. Точно замерзло все снизу в душе, и было мертво – и только на поверхности дрожала рябь, бледная и холодная.

И подумал он:

– Я дрожу.

Он прикусил губы и сжал в кармане руку нарочно, чтобы сделать себе больно. Нащупал что-то и вытащил. Платок. Пахнуло вдруг знакомым запахом, острой яркой болью ударило в голову.

И опять все погасло, и потемнело в глазах. И ни одной мысли не родилось уже более.

До угла галереи, до поворота оставалось восемь шагов.

Все быстрее мелькали мимо темные ниши камер, и хотелось забиться в мягкую темноту и закрыть голову руками – и нельзя было: точно толкало сзади, и все катился он вниз.

На углу повернул назад тот, что шел сзади и гремел ключами – пошел отпирать другую камеру.

Белов был теперь один. Остановился и заглянул вниз.

Там светилась тускло лампа – открыл кто-то мертвый глаз и смотрел нетерпеливо, как будто ждал.

Тихо – точно сейчас только с шумом и с грохотом рухнуло огромное здание, и ничего нет уже, и только пыль беззвучно летит в воздух.

И отвечая неумолимому, страшному, сказал себе:

– Когда тот щелкнет замком.

И перегнулся вниз. Надвинул шляпу – нужно было, чтобы она не упала.

Вдруг вырезался из тьмы весь его вчерашний сон. И когда звякнул замок, он почувствовал в груди тот же самый странный и страшный кусок льда. Все рос и наполнял его дрожью с ног до головы.

Глотнул, задыхаясь, воздуха и вытянул вперед руки.

Точно сверкающий нож, воткнулся острый крик в мягкое тело тьмы. В одном безумном вопле слился весь мир и провалился с треском в красном пламени.

* * *

Череп весь треснул и залился кровью. И из черной дыры белый, шевелящийся, живой выползал мозг.

И все сбежавшиеся стояли кругом и боялись подойти и взяться: мозг должен был вывалиться и упасть на пол. Боялись этого.

1907

ДЕВУШКА

Желтый старый дом на пустынной улице стоит, как осеннее голое дерево с черным ветками, вырезанными на прозрачном вечернем небе. Темные, пустые окна – без занавесок – закрыты всегда. Одно окно, с краю, забито досками.

Ночью выступят и мерцают звезды. Между пустыми, тяжелыми скалами тьмы вьется ветер вверху. На крыше скрипит пронзительно ржавая флюгарка. Идут мимо, услышат – вздрагивают, поднимают вверх головы: там темные четырехугольники окон, как портреты умерших стоят, а в одном окне шевелится синий язычок свечи с тусклым ликом вокруг. Посмотрят, покачают головой, идут мимо.

Девушка в старом доме слушает шорох шагов их и думает:

"Не он ли? Когда же придет он, неведомый, милый, прижмет, унесет с собой? Или никогда не придет?"

И опять всю ночь держит на коленях книгу и читает чужие слова. Чей-то прозрачный и тусклый лик колеблется вокруг свечки.

К утру свечку тушат, и черный крючок фитиля, недобрый, ночной, согнувшись, смотрит навстречу дню.

На черном крыльце, на ступеньках, старая Кузьминишна сидит, а рядом с ней барышня, Вера. Раскрыла старуха коробочки жестяные от чаю, а в них деревяшки пустые из-под катушек, большие пуговицы старомодные от дипломатов, аграманты, бархатные лоскутки. Раскрыла, перебирает, что-то сама с собой говорит.

– Кузьминишна, никак уж стучат, – говорит Вера.

– И то, и то, барышня.

Спотыкаясь, идет Кузьминишна долго. Спрашивает: – кто там? Приоткрывает чуть-чуть калитку, несет газету

барышне, мелкими шажками по заросшему двору идет. Куры кудахчут где-то.

– Ничего больше?

– Нет, ничего. И неоткуда.

Уходит Вера в дом, сидит у окна, читает газету, как сказку, которой не верит.

Вот двое, девятнадцати лет и двадцати лет, любили друг друга и вместе умерли в поцелуях. Далеко где-то большие города, и люди бегут, говорят друг с другом. А может быть, ничего этого нет, есть только их дом старый, с Кузьминишной, с матерью, с ползучей дневной тишиной и со странной жизнью ночью.

Сидит Вера у окна. Лучи вьются в косых, падающих столбах пылинок. Что-то знакомое в этом.

"Да. Это в библиотеке всегда так бывает, – думает Вера. – Все зеленоватое там, темные шкафы – и сквозь узкие окна два таких столба мерцают. Будто это подводное царство. И он стоит светлый, как царь сказок. Золотые волосики на бороде завиваются, яркие, раскрытые губы. И все книги чудесные – в его власти, и все люди, какие приходят..."

– Нет, нет, – говорит потом себе Вера. – Глупо о нем думать. Он оттуда, из большого города. Студент. Умные они все и смелые. А я ничего не умею. На что я ему. Приедет – уедет.

И опять смотрит Вера без мысли в окно, на пустой двор. Желтеет под солнцем высокий бурьян у окна. Верхушки высохли, шуршат, и осыпается книзу горячая пыль.

Вот – бредет из погреба в дом Кузьминишна мелкими шажками, сама с собой говорит. Кошка за нею крадется неслышно по теплым камням. Куры кудахчут где-то.

В тишине хлопнула кухонною дверью, другою, в зал вошла. Сморщенная, темная, на фоне белой двери стоит, как потрескавшаяся икона в углу заброшенной церкви. Ах, начнет теперь свое старое говорить – без конца.

– И то, и то, барышня. И я говорю – ох, время идет. А меня милый все ждет – не дождется. Все во сне приходит...

Сдвигаются у Веры худенькие плечи и руки, тоскуя, и так болезненно хочется, чтобы кто-нибудь смял их, сжал, чтобы захрустело.

"Ах, время идет. Так и не узнаешь никогда, что это такое."

"Да, но ведь это-то правда, это правда – прошлый раз

он в библиотеке поклонился ей, как знакомый. Глаза ласковые у него, и маленькие волосики на бороде, все золотые, в лучах. Вот где-нибудь тут, внизу, на левой щеке почувствовать их, мягкие щекочущие..."

А Кузьминишна все стоит у белой двери, все говорит об одном. И уже не знает, забыла, где правда и где темные забытые сны.

– Кузьминишна, – говорит Вера, – ты посиди в спальне. Я сейчас приду. Я только в библиотеку. А если проснется, ты скажи что-нибудь. Скажи. Ну, я же приду сейчас.

Из старого шкафа у стены взяла Вера самое любимое, розовато-лиловое платье. Стоит перед зеркалом – потускневшее; скрало оно все морщинки и говорит: – ведь ты еще так молода, и к черным волосам так это платье идет.

Улыбается Вера. Глаза загораются далеким блеском. Опускает ниже сорочку, и сквозь кружево смотрит жадное, смуглое тело. Это для него.

"А другие?" – думает Вера. И прячет, опять закрывает загорающееся стыдом, не видевшее света тело.

Секунду думает. Опять опускает сорочку и стоит, часто дыша. Шепчет, странно смеясь: – мой милый, мой милый.

Надевает теперь белую шляпу – и под белыми цветами резко выделяются в зеркало черные волосы, как опрокинувшийся ворон на белом снегу.

Мчится сердце -- вперед, вперед, и сжимается – на краю пропасти – когда открывается и захлопывается медленно тяжелая дверь библиотеки.

За своим прилавком он – так далеко, и около него все чужие. И не видит ее, не кланяется он сегодня.

"Ну, посмотри же, посмотри... Нет."

"Ах, и еще нужно ждать. Эта противная старуха впереди, в смятой шляпе и с белым зонтиком, опущенным книзу. Должно быть не закрывается. Да поскорее же, ну."

У прилавка Вера перекладывает книги из одной руки в другую, спрятала глаза под шляпой, бьется так сердце. И вдруг одна книга падает из рук со стуком, с таким стуком. Ах, все теперь на нее смотрят.

Он поднимает книгу, подает Вере – с улыбкой.

Но зачем у нее так дрожат руки. Ради Бога, ради Бога.

– Ах, вы весьма любезны, – говорит через секунду Вера чужим, спокойным голосом.

– Ну чего там весьма, – улыбается он: – "Странная девушка".

"Да, зачем весьма? – думает мучительно Вера. – Это же смешно, смешно. Вон, улыбается он. И все смотрят."

Бледнеет Вера, нагибается, открывает – закрывает книгу.

– Да что с вами?

Сверху говорит он, тихо – точно они двое, ласково – будто гладит ее по голове.

– Нет, нет, ничего.

Уж прошло все. И хочется уж громко смеяться и смотреть на него, слушать. И никого нет кругом.

Он опять наклоняется и делает свои глаза – большого ребенка – смешными и важными.

"Да милый же, милый," – шепчет неслышно Вера. Серая тужурка у него распахивается, и под ней старенькая рубашка синяя, с прожженной дырочкой.

Радостными уколами бьется сердце у Веры. Отходит, нагибается – записать книгу, жадно опирается грудью о стол. Пишет – ах, да не то, кажется? Все равно...

Но с кем он говорит там? И таким же, как с ней, тихим голосом, и та касается его своей серой шляпой. Как смеет?

Сходятся и расходятся прозрачные пятна в глазах. Только бы дописать.

Со сжатыми губами Вера подходит, прячет дрожь внутри, говорит с веселой улыбкой – вот услышишь сейчас, ты, в серой шляпе.

– Вот листок. Так до свиданья, значит, до завтра.

Серая шляпа поднимается изумленно, смотрит.

– Завтра? Ах да, на гулянье. Пожалуй, пожалуй. Приду вероятно. До свиданья.

"Ага, – говорит Вера, – слышишь?" И уходит, радостная. Несет с собой его книги, его теплый голос, и мягкие волосики на бороде.

А он нагибается к серой шляпе, смеются оба и в блестящих от любви глазах радостно видят друг друга. Потом говорит он:

– Нет, пожалуй, это вовсе не смешно. Подожди, не надо смеяться.

* * *

К вечеру голубеют и растут тени. Оседает горячая пыль.

Колеса далеко прогрохочут по камням и спешат затихнуть.

В старом доме все оплетается тревожной сумеречной паутиной. Белые двери и белые переплеты окон теряют что-то дневное и шевелятся беспокойно. Ржавая флюгарка скрипит на крыше. Ночь крадется.

Мать зовет:

– Вера, Вера, да иди же. Я уже свечку зажгла.

Закрыли дверь в спальню. В две железных петли просунули железный засов – отгородились от пустого зала.

У изголовья, нагнувшись перед свечкой, сидит Вера и читает. Непонятно, неслышно, где-то извне, бегут чужие слова, как за окном снежинки. А внутри – своя жизнь. С сладкой болью сердце замирает, а потом бьется громко, страшно громко: тук-тик, тук-тик. Завтра. Где-нибудь в шелестящей тени деревьев... Тук-тик, тук-тик.

На минуту перестает Вера читать, опускает книгу на колени.

Будет так. Она прижмется к нему изо всех сил, чтобы стиснулась, смялась вся грудь. И зубами вопьется, чтобы остались следы.

– Думаешь? О чем думаешь? – говорит мать.

Вера вздрагивает. С белой подушки приникли к ней неподвижно глаза – точно щупают скелет под живым еще телом.

"А вдруг она знает?" – думает Вера и холодеет. И опять читает чужие слова, а внутри растет темнота – холодная, злая.

Тяжелыми скалами ночь громоздится над домом все выше, и мимо нее бегут звезды. Мать лежит неподвижно, как мертвая. И кажется Вере, что она одна, и страшно читать вслух в огромной пустой комнате с тикающими часами.

– Я устала. Я подожду, – говорит Вера и опускает книгу.

Мать открывает глаза и смотрит на стену, в темное зеркало, где колеблется синим призраком свечка. Длинные, белые на одеяле пальцы двигаются, двигаются, невидимую ткань прядут.

И вдруг останавливаются. Что там такое? Послушай? В зале? Или это там, в запертой комнате?

В пустом зале по углам ночные шорохи крыльями шелестят, собираются мыши и шепчут шу-шу-шу. Уговорились и ползут все в запертую комнату и танцуют по струнам старого

рояля. Сыплется пыль со струн, и рояль тихонько играет.

А на белой подушке все неистовее мечутся безумные глаза. Вера сидит нагнувшись, неподвижная, белая...

* * *

И такой измученный встает день, и так пылает на небе солнце, и жадно ждет вечера.

В чуткой сумеречной тишине громко хлопают где-то калитки, пустеют дома, уже все уходят.

– Да нет же, нет. Это немыслимо, – говорит Вера, и не верит, и знает уже, что пойдет.

С спутанными мыслями встает и на цыпочках идет в спальню за платьем. Часы в тишине беспокойно подпрыгивают – тикают.

– Кто тут? – говорит мать.

Губы у Веры высыхают в секунду. – "Как же теперь? Идти? Не идти? Да нет же, нельзя – он сказал."

Наклоняется к матери и говорит – точно злобно вколачивает острые гвозди – слова.

– Спи-спи. Тебе надо спать. Еще рано-рано-рано. Спи.

Тускло сверкает поднятый к глазам стакан. Наливает капли. Нет, мало. Еще, еще, без счета. Спи крепче.

Играет вдали музыка. Ветер вечерний поднимает белую шляпу у Веры, и она быстро идет, изгибаясь навстречу ветру жадным змеиным телом. Скорее, скорее.

Вот и сад. Качаются над головой, как пьяные, томительные, блестящие фонари. А под фонарями качаются внизу ненавистные чужие лица. И нет его, и нет его – нигде.

Толстые, медленные господа с кольцами – пепел стряхивают с сигар. Две черномазых вертлявых девчонки с косичками – где-то внизу шныряют, как ящерицы. Кавалеры из казначейства в бумажных воротничках – подталкивают локтями, оглядываются:

– Барышня, ждать кого-нибудь изволите?

Сжимается Вера, встает с одинокой лавочки, смешалась со всеми. И опять толпа несет ее. Задыхается она,и на цыпочках поднимается, и ищет его: – все нет.

А небо все ниже наклоняется, и пересыпаются звезды. Мужчины касаются подруг волосами, тихо говорят что-то,

уходят уже с ними под темные, шепчущие арки деревьев. Вера слушает, и от шепота бегут горячие мурашки по телу.

Маленькие черные музыканты в белых воротничках вдруг схватывают трубы и скрипки и играют что-то дрожащее и острое, как луч, падающий на белый горячий песок. Все быстрее двигают руками, спешат – уже скоро все кончится.

В беспокойном мигающем свете, по цветнику, кружит Вера. Тускло смотрят шары. Пахнет цветами остро и жарко.

– Не пришел, не пришел, – говорит Вера. – Все кончено. – Идти домой, и опять – мать...

И вдруг остановилась Вера, набравши воздуху, и не может вздохнуть:

– А серая шляпа? А если он тут и сидит где-нибудь в темной аллее с девушкой в серой шляпе?

Быстро идет Вера назад, и песок злобно скрипит – будто зубами.

На горке в освещенной беседке последний раз музыканты играют – и в белом облаке света прыгают колючие точки.

Аллея – далекая. Под темными арками – плотно прижавшиеся лица и ноги. Вера наклоняется к ним, смотрит в чужие лица и говорит, сжимая зубы:

– Ах, извините. Я ошиблась.

Ага-га. Отскочили! И ей хочется злобно смеяться. А потом вся вспыхивает и думает, пугаясь: "Ах, что я делаю, что я делаю, сошла с ума".

Низко нагибает голову и бежит, и чьи-то ноги прямо перед своими видит, кого-то грудью толкает. Нужно сказать: – простите. Но если набрать воздуху и вздохнуть – задрожишь и закричишь пронзительно.

А он берет ее за руку и говорит сверху откуда-то:

– Постойте, да это же вы? Вы одна, вы не узнаете меня?

Боже мой, – он. Обнять его, жадно прижаться, пить его дыхание...

Вера стоит секунду с кружащейся головой и потом говорит:

– Ах, это вы? Вот не ожидала вас встретить. Некогда было – только пришла.

Протянула дрожащую руку, закрылась тусклой, как месяц, улыбкой.

Ах, это милая, печальная Вера... С нежной жалостью берет ее под руку.

Собрался весь мир и замер сладко в том месте, где лежат его пальцы. Идет. Вера с закрытыми глазами.

– Послушайте, – говорит она. – Давайте сядем. Я шла – тут все на скамейках сидели влюбленные. Ну, нарочно и мы с вами, нарочно – хотите?

Перегибается к нему гибким телом, и сладким ядом глаз туманит его. В дрожащую, мягкую грудь погружается его локоть и сам он тонет в чем-то мягком и жарком, опускается на скамью послушно.

Что-то он говорит. Кажется, о книгах. Получены новые книги...

– Какие книги – расскажите. Я к вам приду за книгами... – Забывает, что сказала, и не слушает его слов, – лишь бы слышать его, как музыку, лишь бы говорил что-нибудь.

Рядом, близко, пахнут цветы – остро и сладко. Вдыхает их Вера и говорит:

– Слышите запах? Это цветы ласкают друг друга и умирают, и это запах их ласк.

Вера чувствует его взгляд. Сердце колотится так, что хочется схватить его руками и удерживать.

– Какой стыд, какой стыд, – говорит себе Вера. – Он смотрит!

И с ужасом понимает: хочется схватить и разорвать кружева на груди и платье, и все отдать ему: смотри – вот я – одному тебе... целуй.

А он молчит. Тяжелую голову опустил на руку.

Вот-вот, что-то гаснет и падает. Нужно схватить, удержать. Сказать ему что-то, скорее, да скорей же.

Зубы у Веры дрожат со стуком, и она говорит:

– Ну, что ж вы так сидите? Занимайте же меня.

И холодеет потом вся. Это, это – она сказала? И кажется – сейчас сорвется она в яму, и чтобы не упасть, надо ухватиться руками за воздух.

Вера машет руками и хохочет – громко и странно. А он пристально смотрит на нее и говорит.

– Вот вы смеетесь, Вера. А мне кажется, вам вовсе не весело. И у вас какое-то горе есть.

Вера опять машет руками и говорит со смехом:

– Да нет же. Какое горе. Вы такой интересный кавалер – мне весело с вами.

Нетерпеливо шевелится он, и такой чужой теперь голос:

– Не поймешь вас. Вы такая... какая-то... Трудно говорить с вами.

Назад откидывается, шуршит в траве за скамейкой, ищет фуражку. Уж лучше уйти поскорей – пока это прошло. А то вот уж и музыканты уходят.

Вера кричит себе: не хочу, не хочу, и ломает руки. Поправляет потом шляпу и говорит:

– Сегодня холодная ночь – простудишься. Пора идти.

Гаснут дальние фонари. Цветы неистовей пахнут – им еще минуту жить. И кажется – вот еще раз передвинется месяц, и они дохнут приторным дыханием трупа.

Вера набирает воздуху и говорит беззвучным, скрытым тьмою, голосом:

– Дайте же мне руку.

Берет его руку и слышит в ней чуть заметную ласку. И вдруг медленно, не зная зачем, поднимает эту руку к губам. А в конце темной дорожки стоит прежняя Вера, машет руками в безумном ужасе и кричит ей:

– Что ты делаешь, что ты делаешь?

Поднимает руку к губам и целует вдруг – быстро и жадно.

Потом сползает всем телом со скамьи на песок, обнимает колени его, прижимается грудью и шепчет, задыхаясь:

– Я никогда не целовала, не целовала.

Нет, что же с ней делать? Мечется он и дрожащими руками хватает ее за голову.

– Вера, я не понимаю. Вера – простите. Я уйду сейчас. Ради Бога.

Вырывает ноги из цепких рук, носком сапога что-то мягкое задевает. Поспешно идет, натыкаясь на ползущие внизу корни деревьев. Вдруг останавливается, загораются лицо и уши.

– Да ведь, кажется, я ее ударил ногой в грудь.

И бежит назад. Вон, все стоит она на коленях, прижимается к лавке лицом.

К ней наклоняется он, гладит голову, пальцы погружает во влагу слез.

– Вера, голубчик. Ну, простите, ради Бога. Я же не уйду. Только не надо, только не надо. Ну, встаньте, пойдемте отсюда. Ведь могут прийти.

Вера затихает, поднимается послушно, идет послушно по темному песку аллеи. Куда-то идет – не знает.

"Да вот уже дом с круглым балкончиком и... Домой. Что там? А если проснется мать? А если не проснется?"

Отмахивается: нет, забыть об этом. Нарочно говорит себе:

– А у него дрожали руки. Да, дрожали. Милые волосики на бороде – мои, мои. Я сошла с ума, я сошла с ума.

Идут по пустой лунной улице. По белым плитам бегут впереди две черные тени. Тревожно изламываются, взбираются на белые парапеты домов и мерцают оттуда: не ходи, не ходи.

Уже поздно: пришли. Громко стучит сердце у Веры – будто кто идет одиноко по улице лунной и звонкой. Оборачивается Вера назад, лицом к луне и к нему:

– Вот – пришли. Там темно – это ничего. Мы зажжем огонь. Вы ведь зайдете. Я одна живу, никого нет.

Над двором стоит глухой лунный свет.

Шуршит под ногами сухой бурьян. Направо, посредине двора, вбит кол, низкий – так, до пояса. Зачем бы он? И тень от него падает поперек дороги.

– Да идите же, идите же, – говорит Вера. Чуть заметно к нему прижимается, отворяет дверь. Сердце мчится вперед – там что-то неисправимое, огненное, желанное. Задыхаясь, говорит ему:

– Мы тихонько будем, мы неслышно, как тени. Ведь правда?

И он отвечает странно-послушным Вере и похожим шепотом:

– Мы тихонько будем, мы тихонько будем.

Берет ее под руку, идет с нею в залу по скрипящим чуть-чуть половицам. Пусто и тихо в зале.

Вздрагивает Вера, отворачивается от двери в спальню: пусть где-то сзади будет все это. А теперь – скорее к нему.

– Вот мой любимый диван, – говорит Вера. – Идите, садитесь.

Месяц бежит за нею к дивану и рядом садится – белой согнутой тенью, с дрожащей головой – как у матери.

– Тут слишком пусто и слишком много луны, – говорит он. – Не хочется быть одному. Дайте-ка руку. Посидим так немного, и я уйду.

Садится он на диван рядом с белой тенью и берет за руку Веру. И они сидят в тишине трое, долго.

Нет, так странно сидеть – молча. Она, как безумная, сверкает и надвигается жарким дыханьем. Надо что-нибудь сказать ей, да. И говорит:

– Вера, подождите. У вас гребешки сейчас выпадут.

– Выпадут, выпадут? – говорит Вера. Чему-то улыбается, наклоняясь к нему, и нежная ложбинка на верхней губе становится у ней еще глубже.

– Вы боитесь – выпадут? – говорит Вера. И вдруг вынимает гребешки и со стуком бросает, и душной волной разливаются волосы.

Весело, безумно и горячо внутри. Теперь Вера может все. Вот – захочет и закричит громко, и будет говорить все, что думает. Или – вот: разденется и будет стоять перед ним. Убьет мать.

Кладет она руки на плечи к нему, громко смеется и говорит своими губами, раскрытыми, как сердце цветка:

– Ну, а теперь?

И кладет свои ноги к нему на колени. Вся – у него, прижалась, обвилась гибкими руками.

Он слышит, как дрожит в нем горячее эхо, и говорит, обрываясь:

– Вера, сумасшедшая, Вера же.

А Вера тонкими, горячими пальцами схватывает его за лицо и за шею, впивается поцелуем – так, что своими зубами касается его зубов, и зубы скрипят. Скорее – пить из него жизнь. Может быть – минуты остались.

Куда-то пригибает она его голову – и он послушно наклоняется, чтобы прижаться щекой к горячей голой руке. Близко совсем уже ее дыхание, душное и острое, как запах цветов в темной аллее – все ближе...

Согнутой тенью старый месяц сидит в тишине на диване. Потом нагибается, слушает: где-то внизу чуть видные вырастают звуки, шепчутся по углам: шу-шу-шу. Ах, да это мыши. Шепчутся – уговорились, ползут. Крадутся по струнам в старом рояле, вздрагивают струны, и сыплется с них пыль.

Просыпается кто-то в темной спальне. Падает на пол коробка спичек. Чуть-чуть старые половицы скрипят.

Вера слышит – не хочет слышать. Нет, нет,– показалось только, и все.

Свою руку просовывает к нему в рукав и ищет там его тело, и с безумной злобой страсти сжимает.

А он поднимает голову и говорит:

– Нет, нет, погоди. Что там такое?

И опять падает, затопленный поцелуями.

Шаркает в спальне мать, приседает со свечкой в темных пустых углах и вздрагивает: а если увидит? Да нет, это там, в темном зале что-то. Отворяет дверь в зал и поднимает вверх и вперед свечу.

Изогнувшись, отпрянула Вера в угол дивана, словно сжалась под ударом и смотрит.

Кто-то встает с дивана. Из темной полосы переходит в светлую. Красный отблеск свечи на пуговицах тужурки, на губах, на подбородке. Медленно идет, опирается руками о стену. Скрипнула дверь.

С усилием мать открывает глаза – а вдруг увидит? – и нагибается вправо и влево со свечкой, и говорит:

– Тут кто-то был... а? Тут кто-то был?

"Не видела, не видела," – думает Вера с маленькой мигающей радостью и говорит:

– Нет, это тебе опять показалось. Нет никого.

Потом встает. Под луной голубеет тело. Шепчет она:

– Ах да, он же ушел. Он ушел.

И куда-то идет, спотыкаясь, – за ним. А мать хватает ее сухими руками, сгибается, шепчет, опутывает шепотом:

– Вера, Верочка. Постой же. Мы вместе посмотрим. Верочка, мы вместе посмотрим.

Останавливается Вера. Падают руки. Стоит секунду – и опять вспоминает: что-то случилось, страшное.

Вдруг хватает стул, стучит им об пол и кричит:

– Это – ты! Пусти, пусти меня!

Бежит мимо дивана с белой сидящей тенью. Вскакивает на окно, открывает, нагнулась.

Белые, пустые лунные плиты, и его нет. Ушел.

Сотрясается необласканное жаркое тело, и приходит безумная мысль:

– Позвать первого, кто пройдет?

Белая, стоит Вера в окне. Лунные лучи обвивают ее увядшим, неживым светом. Ползут выше, по белым карнизам, оборвались, ушли.

В пустых комнатах тихо. Около свечки в спальне – часы

тикают. К утру свечку тушат, и такой душный, одинаковый, встает день. Кузьминишна, спотыкаясь, бредет по двору. Кошка за нею крадется неслышно под солнцем. Куры кудахчут где-то.

1910

О СВЯТОМ ГРЕХЕ ЗЕНИЦЫ ДЕВЫ СЛОВО ПОХВАЛЬНОЕ

Жены и девы да не презирают естества своего, мучения, ибо дверь отверста для всех, она же и дверь во спасение. Так и Зеница-дева, мучительному греху свое тело предавши, тем душу спасла есть.

Зеница-дева была млада и прекрасна – всякого прекословия кроме, – волосы же имела, как венец златый сърожденный, из злата червонна. Отец ее был муж нарочитейший словом и делом; у него много коней, и рабынь много, и бисера много бесценного.

Ночью жаркой Зеница-дева, возжаждав, послала рабыню отца своего взять воды в студенце. Был тот студенец сладкой водою обилен, еще же обильней множеством змий, и ехидн, и скорпий. И, приняв водный сосуд, Зеница-дева с водой испила змею малу. Воспитана же в чреве ее, стала змея тучна и вздымала чрево девицы, будто была та плодна. Приводили кудесников многих земли родимичской и весей округних, даже до самых дулебов, но никто из них волшбами своими змею из девы не мог изгнать.

Был в те дни в земле готской муж некий, чудеса творивший многа и славна, имя же ему Улфил. Когда он пришел целить деву, кудесники стали прельщать его кознями пестрых словес:

– И ты не имеешь власти изгнать змею.

Он же им рек:

– Власть я имею, но власть моя не от готских богов, нижѐ от мерзких словенских, но от Бога моего.

Сотворил знамение неведомое – и змея, покорившись, вышла из чрева Зеницы и, полежав немного, вид приняла сажди и пепла, чем все изумлены были немало.

Зеница же не токмо телом, но и душой исцелилась, познавши после того чуда веру истинную. И вяще отца своего и матери своей возлюбила нищих, голодных и сирых, и во вретищах сущих, и странных калик перехожих – и с ними пребывала все дни, творя благостыню.

Во времени тому упещерились поля вешними цветами. Зеница же тем цветам была подобна лепотой нежной своей. Стрелою греховной уязвлены, многие мужи рода доброго и богатства немалого восхотели женою взять Зеницу-деву, она же, усмехнувшись, сказала им:

– Уже отдала я себя. Утром рано придете завтра – увидите.

Было еще солнце красно, как медь, и холодная сияла роса. И увидели: перед узорным крыльцом стояла нищая, серая череда.

– Убогих невеста я, но не ваша! – сказала Зеница мужам изумленным.

И так пребывала Зеница браконеискусною девой пять лет. По скончании пятого, восстал в готской земле царь горделивый и злу изобретник, именем Ерман. И как ночь тьмою все наполняет, так наполнил и Ерман-царь воинами своими всю землю родимичскую, и древлянскую, и северянскую, и полянскую, и мерю, и весь, и чудь: от моря Сурожского и до моря Варяжского. И мужеский пол в землях тех истребляли нещадно.

Убегая смертной годины, воины родимичские скрылись в лесах, окрест сущих. Жены же преданы были в руки враг беззаконных, неразумных и варварских язык. И все жены, противлявшиеся нечестию распаленному воинов готских, были биемы нещадно жилами турьими, уды же нежныя их опаляемы были повсюду лампадами огненными.

Зеница же в то время была скрыта в спряте тайном, изрытом в земле. Слыша стоны мучимых, Зеница сердцем своим доброчестным не захотела одна спастись. И вышедши из убежища, прилежно искала увидеть Ермана именуемого царя. Узрев вежу богатую, украшенную серебром и иными добротами, Зеница спросила:

– Здесь ли Ерман именуемый царь?

Привратник же захотел узнать вину пришествия девы.

– Единому только царю могу поведать про то, – Зеница отвечала.

Видя, что образом дева светла, волосы же у нее, как венец златый, привратник пропустил ее в хлевину внутреннюю, где и был царь.

Был же Ерман – царь горделивый, по виду подобен некому дивию зверю. И никто прямо взглянуть на него не мог, но клонился долу. Зеница же воззрела твердо:

– Почему воинам своим не претишь, о беззаконниче, муками мучити жен?

Ерман же царь, разженный нежной красотой девы, в молчании на нее смотрел, как лев, в пустыне видящий снедь. А заговорил словами услажадельными и ласковыми:

– Возлюбленнице моя, хочешь, и тотчас воинам запрещу мучить жен? И клянусь словом своим: не только отпустят их, но еще и брашна всякого им дадут. Знаю я, в пище у вас скудота, кроме лиши меченой нет ничего.

Зеница же возопила к нему:

– Молю, да будет по слову твоему!

Ерман же ей отвечал:

– Если и правда хочешь, да будет по клятве моей, приди и ляг на ложе со мною.

Воздела Зеница к небу стеблие белое рук:

– Люте мне, люте! Полыни мне горше сия!

Помыслив же мало, в сердце своем решила: "не хульно будет сие спасению моему, но благо". И одежды совлекши, взошла на ложе царево.

Узнав веру ее, царь Ерман злодушный поднял ее на стыд и подсмех:

– Где же теперь целомудрие твое доброчестно, заповеданное тебе верой твоей?

Дева же мудрая царю отвечала:

– Тленное телес озлобление оскорбит меня только здесь, а там – телесное нечестие в честь мне будет, ибо гонимых ради то сотворила.

Клятве верен был Ерман-царь: прекратились в земле той стоны мучимых, прекратился голод.

И славили сирые все Зеницу-деву.

По прошествии тридцати дней Ерман царь возроптал на Зеницу:

– Почто от страстей невосстановенна ты? Почто цветы персей твоих от ласк не трепещут, и как камение нечувственное на ложе моем возлежишь?

Зеница же ему ответила твердо:

– Тело мое, если хочешь, можешь взять, ибо оно есть тлен, душу же – нет, скверненник: душа нерастленна есть.

Распалился гневом великим Ерман-царь и в гневе том преступил свою клятву. Воздвиглись гонения вновь. Первее же всех повелел царь Зеницу взять и мечом усекнуть ей оба сосца, после же того в студенец ввергнуть, где, по предреченному, были змии многи, и ехидны, и скорпии. Когда же исполнено было злоумное повеление, Ерман-царь, поднявши перси усекновенные, лобызал их и плакался горько, даже всю ночь. И слышали стражи у красной вежи:

– Возлюбленнице моя, чистота иния вяще и снега!

Три дня с молитвою и с терпением добриим Зеница пребывала в студенце, гаде же ей не вредили. Трем же дням мимошедшим трус был великий и буря. Вода из студенца вон исплеснулась – и вынесла на берег Зеницу-деву, и змий, и ехидн, и скорпий.

И, расползшись по веси всей, уязвлять начали гады воинов готских, и без того трусом смятенных. И как дивие лани от голоса человеча, так побежали готы из веси той. Из лесов, окрест сущих, вышли мужи родимичские и преследовали по стопам, и многих от воин готских побили. Опленению же земли родимичской тут скончание было.

Зеница же, чудом милостивым, стала цела, как бы и не были перси ее усекновенны, красота же ее стала еще светлее. И так лет М҃* пребывала, и уже преклонна днями была, образ же юной девы имела все тот же.

Когда же скончаться ей, близких всех пригласила:

– Чую, приблизилось время умертвия моего.

И, помолившись мало, уснула. Народ же весь плакался, и смятение было: как ее погребать? Ибо никто не знал обычаев веры ее. И еще дивились со страхом, что тело Зеницы не искрепло, и мягко, и светло, и благовонно.

И с говением многим ее погребли словенским обычаем: землею и камением насыпав место могильно, курган именуемое. На кургане камень воздвигнули обделан, изваяно же на камени том словесы еллинскими, и словенскими, и готскими:

"Здесь погребена есть Зеница-дева, сия грехом милосердным нас спасла есть".

1917

* М҃ – сорок: древнерусская и церковнославянская цифра.

ДРАКОН

Люто замороженный, Петербург горел и бредил. Было ясно: невидимые за туманной занавесью, поскрипывая, пошаркивая, на цыпочках бредут вон желтые и красные колонны, шпили и седые решетки. Горячечное, небывалое, ледяное солнце в тумане – слева, справа, вверху, внизу – голубь над загоревшимся домом. Из бредового, туманного мира выныривали в земной мир драконо-люди, изрыгали туман, слышимый в туманном мире как слова, но здесь – белые, круглые дымки; выныривали и тонули в тумане. И со скрежетом неслись в неизвестное вон из земного мира трамваи.

На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несясь в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если б не уши: на оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась до полу; рукава свисали; носки сапог загибались кверху – пустые. И дыра в тумане: рот.

Это было уже в соскочившем, несущемся мире, и здесь изрыгаемый драконом лютый туман был видим и слышим:

– ...Веду его: морда интилигентная – просто глядеть противно. И еще разговаривает, стервь, а? Разговаривает!

– Ну, и что же – довел?

– Довел: без пересадки – в Царствие Небесное. Штычком.

Дыра в тумане заросла: был только пустой картуз, пустые сапоги, пустая шинель. Скрежетал и несся вон из мира трамвай.

И вдруг – из пустых рукавов – из глубины – выросли красные, драконьи лапы. Пустая шинель присела к полу – и в лапах серенькое, холодное, материализованное из лютого тумана.

– Мать ты моя! Воробьеныш замерз, а? Ну скажи ты на милость!

Дракон сбил назад картуз – и в тумане два глаза – две щелочки из бредового в человечий мир.

Дракон изо всех сил дул ртом в красные лапы, и это были, явно, слова воробьенышу, но их – в бредовом мире – не было слышно. Скрежетал трамвай.

– Стервь этакая: будто трепыхнулся, а? Нет еще? А ведь отойдет, ей-Бо... Ну ска-жи ты!

Изо всех сил дул. Винтовка валялась на полу. И в предписанный судьбою момент, в предписанной точке пространства серый воробьеныш дрыгнул, еще дрыгнул – и спорхнул с красных драконьих лап в неизвестное.

Дракон оскалил до ушей тумано-пыхающую пасть. Медленно картузом захлопнулись щелочки в человечий мир. Картуз осел на оттопыренных ушах. Проводник в Царствие Небесное поднял винтовку.

Скрежетал зубами и несся в неизвестное, вон из человеческого мира, трамвай.

1918


Е. ЗАМЯТИНЪ
ВЕРЕШКИ



ЗВѢРЯТА.

Медленно и неуклонно ползутъ каменныя зданія, какъ стадо черепахъ. Осенній вѣтеръ оплетаетъ свои мокрые волосы вокругъ рѣшетки съ копьями наверху.

А за рѣшеткой—представленіе въ звѣринцѣ. Вертятся фонари, погремушки, морды и лица. За рѣшеткой—звѣрята. Жаритъ музыка плясовую.

— А ну, какъ веселые ребята пляшутъ? А ну, какъ молодухи зубы скалятъ?

Пляшутъ, зубы скалятъ, веселье.

А когда уйдутъ всѣ — просунутъ звѣрята межъ прутьевъ морды, смотрятъ въ даль—на далекій огонь, и осенній вѣтеръ хлещетъ ихъ мокрыми волосами въ глаза.



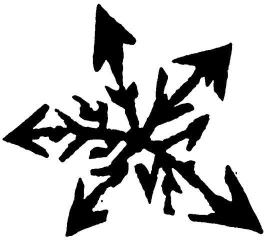
ТРАМВАЙ

Сверкаетъ, гремитъ трамвай, народу полнехонекъ, ѣдутъ въ театръ.

А у самой двери — сидитъ мальчишечка, хорошенькій такой, голубоглазенькій. И у него — ухо надорвано, кровь изъ мочки бѣжитъ. Нѣтъ-нѣтъ да и вытретъ грязнымъ платкомъ то ухо, то глаза, то опять ухо.

Смирнехонько сидитъ голубоглазый мальчишка — такъ смирно, что никто его и не видитъ.

И сверкаетъ трамвай, полонъ народу: ѣдутъ въ театръ.



СНѢГЪ.

Всю ночь—снѣгъ съ неба. Къ утру—земля вылѣчится. Къ утру изъ насквозь процѣлованной—снова станетъ застѣнчивой синеглазкой съ длинной косой, и все—удивленное, новое все—сначала: только дожить до утра.

Утро. Синій снѣгъ—весь изляпанъ сапожищами.



АРТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВ

«СЕГОДНЯ».

Басков, 4 кв. 20, тел. 54-78.

Натан Венгров. Себѣ самому.

Алексѣй Ремизов. О судьбѣ огненной.

Софья Дубнова. Мать.

Натан Венгров. Сегодня.

Натан Венгров. Мышата (*дѣтскiя*).

Сергѣй Есенин. Исус-Младенец (*сказка*).

И. Соколов-Микитов. Засупоня (*сказка*).

Натан Венгров. Хвои (*дѣтская*).

Юрій Анненков. 1/4 девятаго.

Уот Уитмэн. Піонеры.

Михаил Кузмин. Двум.

Дѣтскiе Лубки.

ВЕРЕШКИ

НА ДИВАНЕ

Внизу, по обе стороны рельс, врезана лента синего неба: река. И в синем – глиняно-красные от солнца адамы и кони: бух! – и брызнет взорванная радуга, водяные верешки сверкают и слепят, и от дерзкого ржанья – как от кнута – красный след через все небо.

А мы – на диване. Удобные, одинаковые люди; чуть душный, чуть надушенный, удобный воздух.

Господи, если бы свихнулся с рельс поезд, если бы торчмя головой чебурахнулся вниз, к глиняно-красным коням и адамам!

ЗВЕРЯТА

Медленно и неуклонно ползут каменные здания, как стадо черепах. Осенний ветер оплетает свои мокрые волосы вокруг решетки с копьями наверху.

А за решеткой – представление в зверинце. Вертятся фонари, погремушки, морды и лица. За решеткой – зверята. Жарит музыка плясовую.

– А ну, как веселые ребята пляшут? А ну, как молодухи зубы скалят?

Пляшут, зубы скалят, веселье.

А когда уйдут все – просунут зверята меж прутьев морды, смотрят вдаль – на далекий огонь, и осенний ветер хлещет их мокрыми волосами в глаза.

ТРАМВАЙ

Сверкает, гремит трамвай, народу полнехонек, едут в театр.

А у самой двери – сидит мальчишечка, хорошенький такой, голубоглазенький. И у него – ухо надорвано, кровь из мочки бежит. Нет-нет да и вытрет грязным платком то ухо, то глаз, то опять ухо.

Смирнехонько сидит голубоглазый мальчишка – так смирно, что никто его и не видит.

И сверкает трамвай, полон народу: едут в театр.

СНЕГ

Всю ночь – снег с неба. К утру – земля вылечится. К утру из насквозь процелованной – снова станет застенчивой синеглазкой с длинной косой, и все – удивленное, новое, все – сначала: только дожить до утра.

Утро. Синий снег – весь изляпан сапожищами.

1918

ТУЛУМБАС

ПОСЛАНИЕ СМИРЕННОГО ЗАМУТИЯ, ЕПИСКОПА ОБЕЗЬЯНСКОГО

Возлюбленные братья обезьяне! Оставим скорбь и успокоим сердца наши, усердные о вере. Как самовидец свидетельствую ныне: все слухи о нечестии и безбожии в земле Алатырской – суть истинная ложь, которую лишь горькоумные именуют правдой. И более того скажу вам, возлюбленные братья: умиленные слезы я пролил здесь, ибо нет под солнцем земли столь ревнующей о спасении душ и о погублении здешней, тленной жизни – ради грядущей, нетленной. Чаемое явилось во плоти: вся земля Алатырская объявлена единой ставропигиальной обителью, и все жители от мала до велика приняли постриг, а иные и большую печать, и жизнь их – подлинным стала житием.

Нет уже велелепия, и кимвалов, и тщеты мирской, но во всем скудота изящная и убожество, какое инокам надлежит. Памятуя, что украшение телесное есть веселие князю тьмы, жители здесь ходят во вретищах, рубищах, власяницах. И не умащают себя благовонными маслами, подобно язычникам, и не украшают золотом и камением драгоценным, но напротив того, презирая плоть, бегают даже водного омовения, ибо чистота душевная – вяще телесной и нежность плоти от бани – пагуба есть. Мудростью трапезных старцев жители-иноки блюдут здесь непрестанный и строгий пост: не только мяса не приемлют, но и рыбы, елей же – однажды в год. Вина же и ликера, разжигающих блудную похоть, рождающих смех и веселие, и скакание бесовское, – не ведают вовсе, и старцы строгой казнью казнят, если кто от мирян принесет в обитель вина. Видел я еще некоторых иноков, тайно воскурящих курение диаволу табаком – проклятым зельем, произросшим от

Саврасиева мерзкого удища; но и о том старцы сказывали, что по прошествии недолгого времени, прекратят эту скверну, ибо к чему поганить поганой травой Божию землю, когда может она произрастать хлебный злак?

Так воздержанием от всех прелестей мирских борют князя тьмы, но и о молитве помнят. – Мало просвещен я, и темен для меня язык здесь, и темны слова песнопений их. Но вот солнце зайдет, и мимо иду келий, и с умилением сердечным вижу согласные, как и встарь, ряды иноков-воинов и слышу согласное, молитвенное, как и встарь, пение. И тоже молитвенное пение радостию наполняет сердце, когда стекаются иноки слушать проповедь старцев, и все набожно снимают скуфейки; буде же невежественный чужеземец или мирянин нечестивый в шапке стоит, то иноки, ревнуя о вере, заушают нечестивца, как негкогда Ария злоумного. Истинно, хвала создателю, еще не оскудело здесь благочестие! И иконы святые чтут, как и отцы их. На стенах келий, и в трапезных, и в обших храминах – повсюду увидите вы, возлюбленные братья, лики святых, хотя и в простых, по бедности обители, киотах, но простые те киоты благочестиво изукрашены цветами и травами.

Добродетели иноческие, издревле заповеданные: смирение и послушание терпеливое – украшают братию Алатырскую, как бы звезды темную одежду ночную. В послушании терпеливом мудро содержат иноков старцы, и на всякое слово старца иноки отвечают: аминь, хотя бы сказал, испытуя инока старец, что не два ока у него, но три. И нет здесь, как в иных, языческих, землях, пагубного разномыслия и разноглаголания, но все – поистине стадо, единое. Многих иноков, немалого ума, видел я несущих тяжкий подвиг молчальников, но не ведаю: своей ли волей запечатали они себе уста или старцами наложено на них послушание молчаливое. Мнится мне, что так, ибо ведаю мудрой страх старцев, блюдущих стадо свое от слов умного соблазна. И не лучше ли одному запечатать уста, нежели тысячу погубить, посеяв в души их суетное мудрование и сомнение еретическое?

Так в трудах и добродетели, в непрестанном посте, в смирении и послушании – проводят иноки дни здешней своей, временной, жизни. И веселится сердце, не видя веселия, но лишь сокрушение и плач: ибо веселящиеся здесь – там восплачут, и здесь сокрушающиеся – там возвеселятся. И не это

ли истинное благочестие? Не это ли образ иноческого жития? Не это ли венец добролюбия христианского?

Возрадуйтесь же со мною, возлюбленные обезьяне: не безверие умной гордыни, но смиренная вера, не нечестие, но честное иноческое житие в здешней земле – и я, смиренный Замутий, тому нелицемерный свидетель.

1921

ВСѢ

(Отрывок из повести)

В среду 7 февраля, на углу Литейного и Шпалерной, инженер Хортик разделился надвое.

В среду 7 февраля на Литейном – так, должно быть, секунду или две – трамвой звонил в немой, никому неслышный звонок, автомобили катились на немых шинах, люди шли в немых сапогах. Секунду или две все немое, как ночью в лесу, и так остро слышно – хрясь! – хворост под чьей-то лапой; и еще раз – хрясь!

Тотчас же из ночного леса на Литейном – радостный мальчишеский крик: "Стреляют!" – и Литейный, вместе с Хортиком и радостным мальчишкой, зазвенел, помчался, затопал к Шпалерной.

Там, на углу Литейного и Шпалерной, лежал на снегу человек – как-то ненастояще, плоско: стриженая черная голова – с выеденным седым пятачком на темени – и пальто, пустое, приплюснутое к снегу.

Сквозь литейную толпу проныриул радостный конопатый мальчишка и весело крикнул Хортику (именно ему – Хортику это было ясно):

– Воряга! Карманник! Товарищи красноармейцы сейчас расстреляли!

Откуда-то дровни, на дровнях четыре красноармейца с винтовками на веревочках через плечо. Соскочили, подняли стриженого с седым пятачком – "Ну-у!.. раз! Так!" – плюхнули на дровни. Стриженая голова брякнула о грядушку. И тот из четырех, который стоял у грядушки, отскочил в сторону, стал отряхивать полы шинели.

– Ха! Голова-то! Голова раскупорилась! Чисто из бутылки! – ощерился конопатый мальчишка перед Хортиком.

Хортик взглянул: от удара о грядушку кровяная пробка выскочила, и на снег лилось из головы красное вино.

Сердце екнуло, оторвалось от ветки – и внизу; вниз – медленным, спелым осенним листом вниз, туда, где вокруг дровней стояли четверо с ружьями на веревочках и конопатый мальчишка, и с вытянутыми шеями литейные люди, и с вытянутой шеей Хортик.

Инженер Хортик разделился надвое и сверху – ясно увидел все это там внизу, и там внизу – себя, свое чужое бритое, медально-петербургское лицо. И понял – нет, не то; почувствовал телом, что он, верхний Хортик – это все вытянувшиеся люди там, внизу, и он – этот радующийся, конопатый мальчишка, и он – этот стриженый с раскупорившейся головой. И на него – там, внизу – четверо накинули рогожку, сели, как на бычью тушу, и заскрипели по снегу.

А когда они завернули за угол, и весь клубок литейных людей вместе с нижним Хортиком вздохнул разом, – все стало обычно-литейным, и Хортик теперь был один – всегдашний Хортик. И как все – он радостно, молча кричал: "Не я! Не меня! Меня не увезли. Я – вот – иду, вот! вот!"

Шагал по Литейному крепко, ново, металлически. Крепко прикладывал к талому снегу свою печать – елочку новых калош. Обеими руками забирал себе синее по-весеннему небо, солнечные морковки сосулек, афишу "Прощальный бал броневиков", тонкие в белых чулках ножки барышни впереди.

– Не меня... А я иду... Я не умру. Невероятно, чтобы я, потому что я – синее небо, афиши, сосульки... И потому, что сегодня ночью...

Сердце опять екнуло, но уже по-другому; теперь оно было – весенний упругий лист, и впереди – май, бесконечное лето... И, нацелившись, Хортик упруго, мягко взлетел от земли, обогнал, летя, каких-то угрюмых людей, ухватился за поручень и на густо обвешанной трамвайной подножке помчался к сегодняшней ночи, к маю, к бесконечному лету...

1921

КУНЫ

Все выше взмывает солнце, все беспощадней. Вороха лучей насыпаны в ржаном поле – рожь стоит золотая, жаркая, и тихонько, матерински-довольно колышет колосья. Яблоки в садах стали темно-желтыми и качаются, каждый миг готовые отдать кому-то свою сладость. В поповом саду погасли все нежные весенние цветы, горят только красные спелые пионы и пьяные маки. За Куйманским лесом пруд весь зарос темной зеленью, из пруда по ночам выходят русалки и напролет до утра, заломивши руки, тоскуют на берегу; уж поздно, отошло их время, прошла Русалочья неделя, не успели залучить себе парня, девушками останутся еще на целый год. Одна надежда на Ильинские куны: закружатся парни в кунных кругах, завихрят их девки, запутает в серебряную паутину паук-месяц: может, попадет какой по ошибке в русалочий хоровод...

Ильин день – престол в Куймани, ярмарка. Всю ночь скрипят колеса мимо лабаза по крутому взволоку. Лабаз открылся с самого рассвета; желтый, лысый, вышел лабазник Аверьян на порог, ухмыльнулся: телег кругом – сила, как стан татарский заполонили весь базар, торчат вверх оглобли, лошади машут хребтюгами с кормом, руки выплескиваются и опять ныряют вниз рыбой.

Увидали Аверьяна, огарнули: кому деготьку, кому шорного товара, кому жамок, кому аспидную доску – ребятенкам на забаву.

И только, было, руки – целые веники из корявых рук с деньгами – встопорщились перед Аверьяном на прилавке, как уж и закрывать надо: вдарили к обедне.

С сердцем перекрестился Аверьян:

– Ах, ешь твою... Мать Пресвятая Богородица...

Очистил нос направо и налево, застегнул пиджак и лицо – будто застегнутое двунадесятое стало лицо – и пошел в церковь.

За обедней жара, чуть не гаснут свечи, однако же парни в поддевках и в новых резиновых калошах: что поделаешь, дело молодое, всякому покрасоваться лестно.

Ребята вьются, шныряют где-то под ногами, получают подзатыльники, хнычут и, глядишь, опять уж хихикают, неслухи, опять нивесть что выкомаривают.

Девки, чинные, дивуются – ведомо на что. Первое – на Коровинских баб: Бог весть каким чудом уберегли Коровинские весь старый наряд и строго его блюдут. Все вместе, островом, стоят в церкви, важные и чудные, и не наши какие-то. Повойники от матерей, от бабок достались, пронизаны серебряной монетой; убрусы шелковые накрахмалены – рогами стоят над головой; паневы нарядны – домотканные, синие, с красной ластовицей, с бахромкой, с узором.

А на другое дивуются девки – на Марьку. Запевала, певунья наша, что с ней сталось! Первая затейница да задорница, и в церкви-то бывало на нее угомона нет, а нынче стоит, не шелохнется, у Спасова образа, глаз не сводит. На белом плате – Нерукотворный Лик, светлокудрый, глаза неподнятые. И молится Ему с жаркой любовью и с ненавистью. И это Его голос из алтаря, повелевающий всем преклонить голову, – и так радостно преклонить перед Ним голову. И это Он в золотых ризах с крестом на амвоне...

Целует Марька холодную медь креста, потом – руку. И такие у ней губы – жадные, сухие, раскрытые, как трещина в бездорожной земле. Рука отдергивается, с дерзкой надеждой Марька поднимает глаза вверх. Но там все тот же на белом плате Нерукотворный Лик.

И вот кончилось, хлынули.

На паперти обступили Марьку. Пестрые, красные, солнечные, говорливые.

– Да неужто же не пойдешь, Марька? Как же мы без Марьки! Уж без Марьки какие же куны?

Звонит веселый колокол. Звонит солнце. Растормошили, отступило что-то назад, проснулась Марька. Кому-то в ответ хочется сделать злое и сладкое, подмигнула плечами и пошла, припечатывая каблучками. Через два шага в третий: эх-эх, да эх.

– Постой, постой, на паперти, что ты!

Куда там... за ней – заметелились –подняли кулеберду по всему по селу, докатились вихрем до самой ярмарки. Солнце между скученных оглобель, лошади с вымоченными квасом и расчесанными гривами, и нечесанные, как лешие, цыгане около них; берестяные коробки, глиняные свистульки, маковники, неистовые поросята в торбах, бабы – беременные с ребятами на руках.

Какая-то развытная девка свистнула пригоршню жамок в ларьке – и рады все, заливаются: дороже им эти жамки, чем купленные. Завертели по дороге пьяненького дядю, потащили, как русалки, щиплют, хохочут.

Только завернули за Аверьянов лабаз – вот они, парни, ватагой табунят по улице. И уж конечно: верховодит не кто иной – Яшка Гребенщиков, кузнец.

Звонит колокол, звонит солнце. Но все где-то далеко, во сне: церковь, ярмарка, Куймань, гомон, пыль, расписные дуги, синие цыганские жупаны, топот, свист. А жизнь неспешная, древняя, мерным круговоротом колдующая, как солнце – здесь на выгоне.

По-над озером, в сторонке, водят свой хоровод девушки-вековуши, все в темных платочках – так уж заведено. Тихонько поют, медленно кружатся в сторонке – тут под солнцем, такие какие-то слепые, ненужные, умершие. Но так уж заведено. Им свой положен удел – вечным девушкам.

Отпелись вековушки, погасли.

Медленно, еще зарумяненные, вышли на выгон молодые девки и немужние жены – солдатки, все в красных платках, такой уж обычай. Схватились крепким кругом – крепким частоколом оборонились от желанных врагов, от погубителей милых.

Посредине кунного города – ходит гордая царевна Марька: куны налево, Марька направо. Поет царевна звонкую насмешливую песню, закидывает хитрые сети.

> Как за городом живут вороги,
> Золотой казны у них ворохи,
> Нет у ворогов военой головы...

Да ой ли так, разве уж нет?

В "ихнем" стане, у старой лозины, – зашевелились, загорелись; смех, визгнула гармоника.

– Яша Гребенщиков, кому же еще? Он самый! Яшу повеличаем!

Румяный, крепкий, как яблоко-боровинка, встряхивает Яша стриженными под польку волосами, идет. Стал на полдороге, отдал поклон.

А Марька, откидывая голову, отдаваясь солнцу, – эх, все равно! – уж новую запела песню. Эх, быстрее, девки, эх, жарче: вороги близко.

У нас в городе царевна, царевна,
По-за городом царев сын, царев сын...

Вот он подошел, подбоченился. Брови крутые, губы – пион. Эх, не одну погубил, лютый...

Веселой, жаркой злобой напружилось сердце у Марьки. К кому? К Яше? Нет. Что ей Яшка Гребенщиков. Так к кому же? Не скажет о том ни вчерашняя ночь, ни Спасов на плате Лик, но вздрогнувший в руке медный крест.

...Он из тысячи любую выбирает,
Он и белыим платочком махает...

Все быстрее кружится солнце, травы и деревья расплываются в жарком дурмане, мелькают по зелени пестрые платья, почти бежит кунный круг.

Эх, жисть, отоприсъ...

Разорвался кунный город против Яши, стал.

Вот она, царевна наша, бери – отдают, лукаво-покорные.

Быстро поднимается высокая грудь у царевны, и под тонкой красной кофтой – два острых жала – справа и слева.

Опущены веки, но видит, какое вино у Яши в глазах.

Эх, потешиться хоть над этим, замучить, защекотать порусалочьи – все равно, кто ни попадись по дороге...

Звонит где-то далеко колокол, звонит солнце, кружится голова, поредел кунный круг, пыльно-зеленые сосны сейчас сорвутся с места и ринутся на горячую траву...

Опять Яша да Марька посредине. Кругом него ходит избо-

ченясь Марька, дразнит раскрытыми губами, обжигает плечом – и уж далеко, а он с протянутой рукой стоит, жалкий, измученный.

Сидят под кустами по двое, и идут к Куймани, по пыльной дороге, обнявшись, по двое, усталые, ласковые.

– Глянь-ко, – говорит Яша, – а ты не велишь, не хочешь.

– Погоди до ночи, – Марька хмурится: "Ах, если бы не Яшка это сказал".

Угарный жаркий день к концу. Тянутся обратно телеги, задешево продают купцы последние платки, коробушки и пряники-козули. Уж на задах где-то, за огородами, курлыкают и бормочут пьяные дяди – никак не найдут избы. Запыленное, разомлевшее солнце качается на самом краю синей чаши и устало смотрит налитым кровью глазом. Дергачи перебегают в душной траве и просят пить, пить.

Да нет ни капли. Хоть бы одна на смех, одна какая-нибудь дождинка.

* * *

Ночь. Темное небо, увешанное тяжелыми, горячими звездами.

Пономарь Африканыч, дылда с колокольню – ночью еще выше в рыжей шляпе – добрался-таки до своей завалинки, плюхнулся, смотрит в небо. Да, все пошло не по-человечьи – где же видано, чтобы Ильин день без дождя.

Спешит Марька на кунный выгон. Усмехнулась Африканычу: нализался дядя! Эх!

– Сама ты, эх! Развытная больно! Плясавица. Из-за вас этаких Илья и дождя не дает. Куда? Али на русалочий хоровод?

Покачиваясь, поплелся за ней. Потерял колею из-под ног, чуть не свалился в Куйманский лог, шел по целине. Да ведь что втемяшится пьяному в башку – ничем не вышибешь: разыскать Марьку, а то погубит себя девка. А девка-то какая: я-те-дам – девка-то, во!

Лежал, споткнувшись. Трава над лицом, пришлепала лягушка. Ах, ты лягва, старуха! Ах, старуха! Похлопал приятельски по спине. Да холодная какая, черт! С нами Бог, разумейте...

Протрезвел как будто. Опять брел наобум-Лазаря, брел.

Донесло-таки. Пруд, пьяные кузнечики орут песни; не то туман белый над под горой – не то русалки повели свои бесстыдные куны.

Через выгон идут две тени, вытягиваются, все длиннее. Голос Марькин, ей-Богу, ее смех злючий, как у русалки. А парень просит. Да, попроси-ка, они тебя поводят, покажут, жилочки все повытянут, и разве тогда уж...

Две длинные тени, обнявшись, скользят по выгону. Но где ж человеки-то сами? Хоть убей – не видать.

Смыкаются усталые глаза, засыпает Африканыч. Две тени молча садятся у старой ветлы, на валу, на остатках старого городища, Бог весть, какого старого.

Царевна и царев сын.

Царевна смеется и говорит цареву сыну: "Винишься передо мною, винишься, больше не будешь. Ну, ложись, лежи тут, а я на тебя ноги поставлю, нишкни. Будешь тихонько, ну тогда, может быть..."

И долго сидит так. А потом качает царевна головой и плачет тихонько и все громче.

Вскакивает царев сын и засыпает ее поцелуями, как свадебным хмелем.

– Да как ты смеешь! – кричит шепотом царевна.

– Да ты знаешь, о чем я? Я тебе велела тихо лежать, а ты что! Уходи, и смотреть на тебя не хочу!

* * *

Пустеет кунный луг. Смело выходят русалки и до утра, заломивши руки, тоскуют на деревьях, кличут, плачут малыми ребятами – быть им в девушках еще целый год.

Но никто не идет. Позаснули все в Куймани.

Медленным чародейным хороводом обходят вокруг ветхих избушек летние сны, и все позволяют. Жаркое девичье тело, белея, раскидывается в темноте и отдается – кому хочет: все можно во сне.

Сладким медленным хороводом плывут летние сны, а к утру белыми хлопьями собираются над озером, из белого свивается прозрачная девушка, и около нее цветы молчат и птицы. Смотрит она утренними глазами на чуть мигающий золотом крест колокольни, медленно поднимается вверх и розовеет от подслушанных ночью снов.

Эх, сны! Милый, безумный мир – единственный, где люди свободны.

1922

БОЛЬШИМ ДЕТЯМ
СКАЗКИ

ИВАНЫ

А еще была такая деревня Иваниха, все мужики Иваны, а только прозвища разные: Самоглот Иван (во сне себе ухо сжевал), Оголтень Иван, Носопыр Иван, Соленые-Уши Иван, Белены-Объелся Иван, Переплюй Иван, — и не перечесть, а только Переплюй — самый главный ихний. Которые скородят, сеют, а Иваны — брюхами кверху да в небо плюют: кто переплюнет.

— Эх вы, Иваны! Пшеницу бы сеяли!

А Иваны только сквозь зубы: цырк.

— Вот, на новых землях, слыхать, действительно пошеница: первый сорт, в огурец зерно. Это — пошеница, да...

И опять: кто кого переплюнет.

Лежали этак — лежали, и привалило Иванам счастье невесть откуда. Топот по дороге, пыль столбом — конный по Иванихе, объявление привез: которые Иваны на новые земли желают — пожалуйте.

Осенили себя Иваны крестным знамением, изо всей мочи — за хвост конному, и понесло, только рябь в глазах: церковь — поле, поле — церковь.

Спустил конный: ни жилья ничего, на сто верст кругом — плешь, и только по самой по середке крапивища стоит, да какая: будылка в обхват, на верхушку глянь — шапка свалится, а стрекнет — волдыри в полтинник. Колупнули Иваны землю: черная — вар сапожный, жирная — масло коровье.

Ну, братцы, скидавай котомы: самая она и есть — первый сорт.

В кружок сели, краюху пожевали с солью. Испить бы, да и за дело. Туда-сюда: нету воды. Делать нечего, надо колодец рыть.

Взялись, это. Земля — праховая, легкая, знай комья летят. А Переплюй нет-нет да и остановится, глаза прижмурит.

— Ой, братцы, должно быть и вода же тут: сладчищая, не то, что у нас...

А тут как раз об камень железо — дрынь! Каменина здоровый. Вывернули — ключ забил. Черпанули в корцы, попили: холодная, чистая, а вода, как вода.

Переплюй только сквозь зубы — цырк:

— Этакой-то в Иванихе сколько хошь. Глубже бери: тут первый сорт должна быть, а не то что...

Рыли-рыли, до темной ночи рыли: все то же. Под крапивищей ночь проворочались, с утра опять рыть. А уж глубь, жуть в колодце, черви какие-то пошли, поганые, голые, розовые, мордастые. Роют-пороют, пристанут Иваны, призадумаются. А Переплюй сверху — еле-еле слыхать:

— Глубже, братцы, бери! Самую еще малость нажать!

И дошли тут до какого-то сузему: крепкий — скрябка не берет, и вода мешает — воды порядочно, все такая же, как в Иванихе. Лом взяли: тукнут, а оттуда гук идет, как из бочки, пещера, что ли. Тукнули, это, еще посильней: как загудит все — да вниз, и вода вниз, и щебень, и комья, и инструмент весь, глаза запрашило, оглохли, еле на прилипочке каком-то сами удержались.

Протерли глаза Иваны, глянули под ноги... С нами крестная сила! Дыра — а в дыре небо синее. Вверх глянули: далеко, чуть светится небо синее. С нами крестная сила: проколупали замлю насквозь!

Сробели, шапки в охапку, да наверх драла: Самоглот — Оголтню на плечи, Оголтень — Носопыру, Носопыр — на Соленые-Уши, Соленые-Уши — на Белены-Объелся, так и выбрались.

Выбрались — первым делом Переплюю бока намяли. Монатки в котомы да назад в Иваниху: без воды, без инструменту куда же теперь? Только и утехи, что по щепоти новой земли в Иваниху притащили.

Соседям показывают, а соседи не верят.

— Бреши, бреши больше; кабы такая земля где была, так неужто бы назад вернулись?

А про это, как насквозь проколупали, никак и рассказать нельзя: засмеют. Так брехунами Иваны и прослыли, и по сю пору никто не верит, будто на новых землях были. А ведь были же.

1920

ХРЯПАЛО

Тряхнуло – посыпались сверху звезды, как спелые груши. Опустел небесный свод, стал как осеннее желтое поле: только ветер над желтой щетиной гудит неуютно, и на краю, на дальней дороге, медленно ползут два черных человека-козявки. Так ползли в пустом небе солнце и месяц, черные, как бархатные ризы на службе в Великий Пяток: черные, чтоб светлее сияло Воскресение.

Тут-то и попер по земле Хряпало. Ступни медвежачьи, култыхается, то на правую ногу, то на левую. Мертвая голова вепря – белая, зажмуренная, лысая: только сзади прямые патлы, как у странника, до плеч. И на брюхе – лицо, вроде человечьего, с зажмуренными глазами, а самое где пуп у людей – разинается пасть.

В поле под озимое орал дед Кочетыг. Штаны пестрядиные, рубаха посконная, волосы веревочкой подвязаны, чтобы в глаза не лезли. Глянет в небо дед: жуть. А пахать все равно надо. Такое уже дело.

И сзади Хряпало наперся на деда: глаза у Хряпалы только так, для порядку, а разожмурить не может, по чем ни попадя прет.

– Ты кто такой? – деду говорит; где пуп у людей – разинул Хряпало пасть – брюхом говорит. – Ты чего на моей дороге? – другую пасть раззявил, вепрячью, – хряп: одни дедовы лапти наружи.

Еле-еле слыхать, будто из-под земли, дедов голос:

– А хлеб как же? Хлеба не будет...

А Хряпало – брюхом:

– А мне наплевать... – только и видели деда.

На просеке девчушка Оленка цветы сбирала – первые колокольцы весенние. Мелькают босые ноги, белые между ко-

локольцев, и сама, как золотой колоколец, заливается: про свекровь-матушку, про лиха мужа, – за сердце берет.

Споткнулся Хряпало на Оленку:

– Ты чего на дороге? – хряп: одни пятки босые забились, белые.

Из глуби только и успела крикнуть Оленка:

– А песня...

– А мне наплевать, – пробрюхал Хряпало и последнее заглотил – белые пятки.

Где ни пройдет Хряпало – пусто, и только сзади него останется – помет сугробами.

Так бы и перевелась людь на земле, да нашелся тут человек, офеня, и фамилия у него какая-то обыкновенная, не то Петров, не то Сидоров, и ничего особенного, а просто сметливый, ярославский.

Приметил офеня: не оборачивается Хряпало, все прямо прет, невозможно ему оборачиваться.

И с ухмылочкой ярославской поплелся офеня тихонько за Хряпалой. Не больно оно сладко, конечно: не продохнуть по колена в сугробах этих самых, да зато – верное дело.

За ярославским офеней и другие смекнули: глядь, уж за Хряпалой – чисто крестный ход, гужом идут. Разве только дураки какие, вовсе петые, не спопашились за спину Хряпалову от Хряпалы спрятаться.

Петых дураков Хряпало живо докончил и без пропитания околел, конечно. А ярославский народ зажил припеваючи и Господа Бога благодарил: жирная земля стала, плодородная от помета, урожай будет хороший.

1920

АРАПЫ

На острове на Буяне – речка. На этом берегу – наши, краснокожие, а на том – ихние живут, арапы.

Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош: весь – филейный. Супу наварили, отбивных нажарили – да с лучком, с горчицей, с малосольным нежинским... Напитались: послал Господь!

И только было вздремнуть легли – воп, визг: нашего уволокли арапы треклятые. Туда-сюда, а уж они его освежевали и на угольях шашлык стряпают.

Наши им – через речку:

– Ах, людоеды! Ах, арапы вы этакие! Вы это что-ж это, а?

– А что? – говорят.

– Да на вас что – креста, что ли, нету? Нашего, краснокожего, лопаете. И не совестно?

– А вы из нашего – отбивных не наделали? Энто чьи кости-то лежат?

– Ну что за безмозглые! Да-к ведь мы вашего арапа ели, а вы – нашего, краснокожего. Нешто это возможно? Вот, дай-ка, вас черти-то на том свете поджарят!

А ихние, арапы, – глазищи белые вылупили, ухмыляются да знай себе – уписывают. Ну до чего бесстыжий народ: одно слово – арапы. И уродятся же на свет этакие!

1920

ХАЛДЕЙ

Сидел Халдей с логарифмами, тридцать лет и три года логарифмировал, на тридцать четвертый придумал трубу диковинную: видать через трубу все небо близехонько, ну будто вот через улицу. Все настояще видно, какие там у них жители на звездах, и какие вывески, и какие извозчики. Оказалось – все, как у нас: довольно скучно. Махнул рукой Халдей: эх... – и загорился.

А уж слух пробежал про трубу Халдееву, народ валом валит – на звезды поглядеть: какие там у них жители. Ну прямо додору нет до трубы, в очередь стали, в затылок.

И дошел черед до веселой девицы Катюшки: веселая, а глаза – васильки, синие. Околдовала глазами Халдея, пал Халдей на белые травы, и нет ему слаще на свете Катюшкиных губ.

Катюшка и говорит Халдею:

– А небо-то нынче какое. На небо-то глянь!

– Да чего там, видал я: и глядеть нечего.

– Нет, ты погляди.

Хи-итрая: подвела Халдея к трубе не с того конца, не с смотрячего, а с другого, ну,где стекла-то маленькие.

Глянул Халдей: Бог знает где небо – далеко. Месяц маленький, с ноготок: золотой паук золотую паутину плетет и себе под нос мурлычет, как кот. А небо – темный луг весенний, и дрожат на лугу купальские огненные цветы, лазоревые, алые, жаркие: протянуть руку – и несметный купальский клад – твой.

И еще вспомнилось Халдею – когда маленький был: в Чистый Четверг на том берегу – от стояния народ идет, и несут домой четверговые свечки.

Сразу – тридцать три года и логарифмы с плеч до-

лой. Набежали на глаза слезы, поклонился Халдей в ноги девице веселой:

– Ну, Катюшка, век не забуду: научила глядеть.

1920

ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ

Порешил Иван церковь Богу поставить. Да такую – чтоб небу жарко, чертям тошно стало, чтоб на весь мир про Иванову церковь слава пошла.

Ну, известно: церковь ставить – не избу рубить, денег надо порядочно. Пошел промышлять денег на церковь Божию.

А уж дело к вечеру. Засел Иван в логу под мостом. Час, другой – затопали копыта, катит тройка по мосту: купец проезжий.

Как высвистнет Иван Змей-Горынычем – лошади на дыбы, кучер – бряк оземь, купец в тарантасе от страху – как лист осиновый.

Упокоил кучера – к купцу приступил Иван:

– Деньги давай.

Купец – ну клясться, божиться: какие деньги?

– Да ведь на церковь, дурак: церковь хочу построить. Давай.

Купец клянется-божится: "сам построю". А-а, сам? Ну-ка?

Развел Иван костер под кустом, осенил себя крестным знамением – и стал купцу лучинкою пятки поджаривать. Не стерпел купец, открыл деньги: в правом сапоге – сто тыщ, да в левом еще сто.

Бухнул Иван поклон земной:

– Слава тебе, Господи! Теперича будет церковь.

И костер землей закидал. А купец охнул, ноги к животу подвел – и кончился. Ну что поделаешь: Бога для ведь.

Закопал Иван обоих, за упокой души помянул, а сам в город: каменщиков нанимать, столяров, богомазов, золотильщиков. И на том самом месте, где купец с кучером закопаны, вывел Иван церковь – выше Ивана Великого. Кресты в обла-

ках, маковки синие с звездами, колокола малиновые: всем церквам церковь.

Кликнул Иван клич: готова церковь Божия, все пожалуйте. Собралось народу видимо-невидимо. Сам архиерей в золотой карете приехал, а попов – сорок, а дьяконов – сорок сороков. И только, это, службу начали – глядь, архиерей пальцем Ивану вот так вот:

– Отчего, – говорит, – у тебя тут дух нехороший? Поди, старушкам скажи: не у себя, мол, они на лежанке, а в церкви Божией.

Пошел Иван, старушкам сказал, вышли старушки; нет: опять пахнет! Архиерей попам пальцем мигнул: заладили все сорок попов; что такое? – не помогает. Архиерей – дьяконам: замахали дьякона в сорок сороков кадил: еще пуще дух нехороший, не продохнуть, и уж явственно: не старушками – мертвой человечиной пахнет, ну просто стоять невмочь. И из церкви народ – дьякона тишком, а попы задом: один архиерей на орлеце посреди церкви да Иван перед ним – ни жив, ни мертв.

Поглядел архиерей на Ивана – насквозь, до самого дна – и ни слова не сказал, вышел.

И остался Иван сам-один в своей церкви: все ушли, не стерпели мертвого духа.

1920

БЯКА И КАКА

В печурке у мужика – пух утиный сушился. И завелись в пуху Бяка да Кака. Вроде черных тараканов, а только побольше, рук две, ног две, а язык один – дли-инный: пока маленькие были сами себя языком, вместо свивальника, пеленали.

Хорошенькие такие, богомольные – мужик на ночь – Троеручице поклоны бьет, а Бяка да Кака сзади – спине мужиковой. Днем из избы сор носили; по престольным праздникам, в новых красных рубашечках, мужика поздравляли. И до масленицы было – как нельзя лучше.

На масленице – принес браги мужик: такая брага – все вверх дном. Рожи, хари, нечистики; ухваты – по горшкам, черепки; изба – трыкнула и самоходом пошла – куда глаза глядят. А мужик – без задних ног, и на брюхе – огарок догорает, потрескивает: вот-вот мужикова рубаха займется.

Бяка да Кака со всех ног кинулись: огарок тушить.

– Да пусти ты: я потушу.

– Нет ты пусти: я...

– Я мужика больше люблю; а ты – так себе, я зна-аю!

– Нет я больше. А ты Бяка!

– Я – Бяка? А ты – Кака! Что, ага?

Да в ус, да в рыло – и клубком по полу. Катались-катались, а от огарка – рубаха, от рубахи – мужик, от мужика – изба. И с мужиком, с избой вместе – Бяка и Кака: от всего – одна сажа.

1920

ЧЕТВЕРГ

Жили в лесу два брата: большенький и меньшенький. Большенький – неграмотный был, а меньшенький – книгочей. И близко Пасхи заспорили между себя. Большенький говорит:

– Светлое Воскресенье, разговляться надо.

А меньшенький в календарь поглядел:

– Четверг еще, – говорит.

Большенький ничего малый, а только нравный очень, заворотень, слова поперек не молви. Осерчал большенький – с топором полез:

– Так не станешь разговляться? Четверг, говоришь?

– Не стану. Четверг.

– Четверг, такой-сякой? – зарубил меньшенького большенький топором – и под лавку.

Вытопил печку, разговелся большенький чем Бог послал, под святыми сел – доволен. А за теплой печкой – вдруг сверчок:

– Чтверг-чтверг. Чтверг-чтверг.

Осерчал большенький, под печку полез – за сверчком. Лазил-лазил, вылез в сопухе весь, страшный, черный: изловил сверчка и топором зарубил. Упарился, окошко открыл, сел под святыми, доволен: ну, теперь кончено.

А под окошком – откуда ни возьмись, воробьи:

– Четверг, четверг, четверг!

Осерчал большенький еще пуще, погнал с топором за воробьями. Уж он гонялся-гонялся, какие улетели, каких порубил воробьев.

Ну, слава Богу: зарубил слово проклятое: четверг. Инда топор затупился.

Стал топор точить, – а топор об камень:

— Четверг. Четверг. Четверг.

Ну, уж коли и топор про четверг — дело дрянь. Топор обземь, в кусты забился, так до Светлого Воскресенья большенький и пролежал.

В Светлое Воскресенье — меньшенький брат воскрес, конечно. Из-под лавки вылез — да и говорит старшему:

— Будет, вставай. Вздумал, дурак: слово зарубить. Ну уж ладно: давай похристосуемся.

1917

ОГНЕННОЕ А

Которые мальчики очень умные – тем книжки дарят. Мальчик Вовочка был очень умный – и подарили ему книжку: про марсиан.

Лег Вовочка спать – куда там спать: ушки горят, щечки – горят. Марсиане-то ведь, оказывается, давным-давно знаки подают нам на землю, а мы-то! Всякой ерундой занимаемся: историей Иловайского. Нет, так больше нельзя.

На сеновале – Вовочка и трое второклассников, самых верных. Иловайского – в угол. Четыре головы – над бумажкой: чертят карандашом, шу-шу, шу-шу, ушки горят, щечки горят...

За ужином большие читали газету: про хлеб, забастовки – и спорят, и спорят – обо всякой ерунде.

– Ты, Вовка, чего ухмыляешься?

– Да уж больно вы чудные: марсиане нам знаки подают, а вы – про всякую ерунду.

– А ну тебя с марсианами... – и про свое опять. Глупые большие!

Заснули наконец. Вовочка – как мышь: сапоги, брюки, куртку. Зуб на зуб не попадет, в окошко прыг! – и на пустой монастырский выгон за лесным складом купца Заголяшкина.

Четверо второклассников, самых верных, натаскали дров купца Заголяшкина. Сложили из дров букву А – и заполыхало на выгоне огненное А для марсиан, колоссальное огненное А: в пять сажен длиной.

– Трубу!.. Трубу наводи скорее!

Навел мальчик Вовочка подзорную трубу, трясется труба.

– Сейчас... кажется... Нет еще... Сейчас-сейчас...

Но на Марсе – по-прежнему. Марсиане занимались своим

делом и не видели огненного А мальчика Вовочки. Ну, стало быть, завтра увидят.

Уж завтра – обязательно.

– Ты чего нынче, Вовочка, чисто именинник?

– Такой нынче день. Особенный.

А какой не сказал: все одно, не поймут глупые большие, что именно нынче начнется новая, междупланетная, эпоха истории Иловайского: уж нынче марсиане – обязательно...

И вот – великая ночь. Красно-огненное А, четыре багровых тени великих второклассников. И уж наведена и дрожит труба...

Но заголяшкинский сторож Семен – в эту ночь не был пьян. И только за трубу – Семен сзади:

– Ах-х вы, канальи! Дрова-а переводить зря? Держи-держи-держи! Стой-стой!

Трое самых верных – через забор. Мальчика Вовочку заголяшкинский сторож изловил и, заголивши, высек.

А с утра великих второклассников глупые большие засадили за историю Иловайского: до экзамена один день.

1918

ПЕРВАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского правления. Сложены были в подполье старые исполненные дела, и слышит Ульян Петрович, околодочный, – все кто-то скребется, потукивает. Открыл Ульян Петрович: пыль – не прочихаешься, и выходит серенький, в пыли, Фита. Пола – преимущественно мужского, красная сургучная печать за нумером на веревочке болтается. Капельный, как младенец, а вида почтенного, лысенький и с брюшком, чисто надворный советник, и лицо – не лицо, а так – Фита, одним словом.

Очень Фита понравился околодочному Ульяну Петровичу: усыновил его околодочный и тут же в уголку, в канцелярии, поселил – и произрастал Фита в уголку. Понатаскал из подполья старых рапортов, отношений за нумером, в рамочках в уголку своем развесил, свечку зажег – и молится степенно, только печать эта болтается.

Раз Ульян Петрович приходит – отец-то названный, – а Фита, глядь, к чернильнице припал и сосет.

– Эй, Фитька, ты чего же это, стервец, делаешь?

– А чернила, – говорит, – пью. Тоже чего-нибудь мне надо.

– Ну ладно, пей, чернила-то казенные.

Так и питался Фита чернилами.

И до того дошло – смешно даже сказать: посусолит перо во рту – и пишет, изо рта у Фиты – чернила самые настоящие, как во всем полицейском правлении. И все это Фита разные рапорты, отношения, предписания строчит и в уголку у себя развешивает.

– Ну, Фита, – околодочный говорит, отец-то названный, – быть тебе, Фита, губернатором.

Так, по предсказанному Ульян Петровичем, и вышло: в одночасье стал Фита губернатором.

А год был тяжелый – ну какой там, этот самый: и холера, и голод.

Прикатил Фита в губернию на курьерских, жителей собрал немедля – и ну разносить:

– Эт-то что у вас такое? Холера, голод? И – я вас! Чего смотрели, чего делали?

Жители очесываются:

– Да-к мы что ж, мы ничего. Доктора вот – холерку излечивали маленько. Опять же к скопским за хлебом спосылать...

– Я вам – доктора! Я вам – скопских!

Посусолил Фита перо:

"Предписание № 666. Сего числа, вступив надлежаще в управление, голод в губернии мною строжайше отменяется. Сим строжайше предписывается жителям немедля быть сытыми. Фита."

"Предписание № 667. Сего числа предписано мною незамедлительное прекращение холеры. Ввиду вышеизложенного сим увольняются сии, кои самовольно именуют себя докторами. Незаконно объявляющие себя больными холерой подлежат законному телесному наказанию. Фита".

Прочитали предписания в церквах, расклеили по всем по заборам. Жители отслужили благодарственный молебен и в тот же день воздвигли Фите монумент на базарной площади. Фита похаживал степенный, лысенький, с брюшком, печатью этой самой поматывал да, знай себе, пофыркивал: так индюк важно ходит и чиркает крыльями по пыли.

Прошел день и другой. На третий – глядь, холерный заявился в самую Фитину канцелярию: стоит там и корчится – ведь вот, не понимает народ своей пользы. Велел ему Фита всыпать законное телесное наказание. А холерный вышел – и противоправительственно помер.

И пошли, и пошли мереть – с холеры и с голоду, и уж городовых не хватало для усмирения преступников.

Почесались жители и миром решили: докторов вернуть и за скопским хлебом послать. А Фиту из канцелярии вытащили и учить стали – по-мужицки, народ необразованный, темный.

И рассказывают, кончился Фита так же не по-настоящему, как и начался: не кричал и ничего, а только все меньше и меньше, и таял, как надувной американский

черт. И осталось только чернильное пятно, да эта самая его сургучная печать за нумером.

Поглядели жители: антихристова печать. В тряпочку завернули, чтобы руками не трогать, и закопали у ограды кладбищенской.

1917

ВТОРАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Указом Фита отменил холеру. Жители водили хороводы и благоденствовали. А Фита дважды в день ходил в народ, беседуя с извозчиками и одновременно любуясь монументом.

– А что, братцы, кому монумент-то, знаете?

– Как, барин, не знать: господину исполняющему Фите.

– Ну, то-то вот. Не надо ли вам чего? Все могу, мне недолго.

А была извозчичья биржа около самого собора. Поглядел извозчик на монумент, на собор поглядел – да и говорит Фите:

– Да вот, толковали мы намедни: уж больно нам округ собора ездить несподручно. Кабы да через площадь прямая-то дорога...

Было у Фиты правило: все для народа. И был Фита умом быстр, как пуля. Сейчас это в канцелярию за стол – и готово:

"Имеющийся градский собор неизвестного происхождения сим предписываю истребить немедля. На месте вышеупомянутого собора учредить прямоезжую дорогу для гг. легковых извозчиков. Во избежание предрассудков исполнение вышеизложенного поручить сарацинам. Подписал Фита".

Утром жители так и обомлели: – Собор-то наш, батюшки! В сарацинах весь – сверху донизу: и на всех пяти главах, и на кресте верхом, и по стенам, как мухи. Да черные, да голые – только веревочкой препоясаны, и кто зубом, кто шилом, кто дрючком, кто тараном – только пыль дымит.

И уже синих глав нету, и на синем – звезд серебряных, и красный древний кирпич кровью проступил на белогрудых стенах.

Жители от слез не прохлебнутся:

– Батюшка Фита, благодетель ты наш, помилуй! Да уж мы лучше кругалем будем ездить, только собор-то наш, Господи!

А Фита гоголем ходит – степенный, с брюшком, на сарацин поглядывает: сарацины орудуют – глядеть любо. Остановился Фита перед жителями – руки в карманы:

– Чудаки, вы, жители. Ведь я – для народа. Улучшение путей сообщения для легковых извозчиков – насущная потребность, а собор ваш – что? Так, финтифлюшка.

Тут вспомнили жители: не больно давно приходил по собор Мамай татарский, от Мамая откупились – авось, мол, и от Фиты откупимся. В складчину послали Фите ясак: трех девиц красивейших да чернил четверть.

Разгасился Фита, затопал на жителей:

– Пошли вон сейчас. Туда же: Ма-ма-ай! Мамай ваш – мямля, а у меня сказано – и аминь.

И сарацинам помахал ручкой: гони, братцы, вовсю, уж стадо домой идет.

Село солнце – от собора остался только щебень. Собственноручно пролинеил Фита мелом по линеечке прямоезжую дорогу. Всю ночь сарацины орудовали – и к утру пролегла через базарную площадь дорога – прямая, поглядеть любо.

В начале и в конце дороги водрузили столбы изукрашенные в будошный чернильный цвет, и на столбах надписание:

"Такого-то года и числа неизвестного происхождения собор истреблен исполняющим обязанности Фитою. Им же воздвигнута сия дорога с сокращением пути легковых извозчиков на 50 саженей".

Базарная площадь была, наконец, приведена в культурный вид.

1917

ТРЕТЬЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Жители вели себя отменно хорошо – и в пять часов пополудни Фита объявил волю, а будошников упразднил навсегда. С пяти часов пополудни у полицейского правления, и на всех перекрестках и у будок – везде стояли вольные.

Жители осенили себя крестным знамением:

– Мать Пресвятая, дожили-таки. Глянь-ка: в чуйке стоит! Заместо будошника – в чуйке, а?

И ведь главное что: вольные в чуйках свое дело знали – чисто будошниками родились. В участок тащили, в участке – и в хрюкалку, и под микитки – ну все как надобно. Жители от радости навзрыд плакали:

– Слава тебе, Господи! Довелось: не кто-нибудь, свои бьют – вольные. Стой, братцы, армяк скину: вам этак по спине будет сподручней. Вали, братцы! Та-ак... Слава Тебе, Господи!

Друг перед дружкой наперебой жители ломились посидеть в остроге: до того хорошо стало в остроге – просто слов нету. И обыщут тебя, и на замочек запрут, и в глазок заглянут – все свои же, вольные: слава Тебе, Господи...

Однако в скорости местов не хватать стало, и пускали в острог жителей только какие попочетней. А прочие у входа ночь напролет дежурили и билеты в острог перекупали у барышников.

Уж это какой же порядок! И предписал Фита:

"Воров и душегубов предписываю выгнать из острога с позором на все четыре стороны".

Воров и душегубов выгнали на все четыре стороны, и желавшие жители помаленьку в остроге разместились.

Стало пусто на улицах – одни вольные в чуйках; как-то оно не того. И опубликовал Фита новый указ:

"Сим строжайше предписывается жителям неуклонная

свобода песнопений и шествий в национальных костюмах".

Известно, в новинку – оно трудно. И для облегчения неизвестные люди вручили каждому жителю под расписку текст примерного песнопения. Но жители все-таки стеснялись и прятались по мурьям: темный народ!

Пустил Фита по мурьям вольных в чуйках – вольные убеждали жителей не стесняться, потому нынче – воля, убеждали в загривок и под сусало и, наконец, убедили.

Вечером – как Пасха... Да что там Пасха!

Повсюду пели специально приглашенные соловьи. Повзводно, в ногу, шли жители в национальных костюмах и около каждого взвода вольные с пушкой. Единогласно и ликующе жители пели, соответственно тексту примерного песнопения:

Славься, славься, наш добрый царь.
Богом нам данный Фита-государь.

А временно исполняющий обязанности Фита раскланивался с балкона.

Ввиду небывалого успеха, жители тут же, у балкона Фиты, под руководством вольных, в единогласном восторге, постановили – ввести ежедневную повзводную свободу песнопений от часу до двух.

В эту ночь Фита первый раз спал спокойно: жители явственно и быстро просвещались.

1917

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

А был тоже в городе премудрый аптекарь: человека сделал, да не как мы, грешные, а в стеклянной банке сделал, уж ему ли чего не знать?

И велел Фита аптекаря предоставить.

— Скажи ты мне на милость: и чего-й-то мои жители во внеслужебное время скушные ходят?

Глянул в окошко премудрый аптекарь: какие дома с коньками, какие с петушками; какие жители в штанах, какие в юбках.

— Очень просто, — Фите говорит. — Разве это порядок? Надо, чтоб все одинаковое. Вообще.

Та̀к — так-та̀к. Жителей — повзводно да за город всех, на выгон. И в пустом городе — пустили огонь с четырех концов: дотла выело, только плешь черная — да монумент Фите посередке.

Всю ночь пилы пилили, молота стучали. К утру — готово: барак, вроде холерного, длиной семь верст и три четверти, и по бокам — закуточки с номерками. И каждому жителю — бляху медную с номерком и с иголочки — серого сукна униформу.

Как это выстроились все в коридоре — всяк перед своей закуточкой, бляхи на поясах — что жар-птицы, одинаковые все — новые гривеннички. До того хорошо, что уж на что Фита — крепкий, а в носу защекотало, и сказать — ничего не сказал: рукой махнул — и в свою закуточку, № 1. Слава Тебе, Господи: все — теперь и помереть можно...

Утром, чем свет, еще и звонок не звонил (по звонку вставали) — а уж в № 1 в дверь стучат:

— Депутаты там к вашей милости, по неотложному делу.

Вышел Фита: четверо в униформе, почтенные такие жители, лысые, пожилые. В пояс Фите.

— Да вы от кого депутаты?

И загалдели почтенные — все четверо разом:

— Это что же такое — никак невозможно — это нешто порядок... От лысых мы, стало быть. Это, стало быть, аптекарь кучерявый ходит, а которые под польку, мы — лысые? Не-ет, никак невозможно...

Подумал Фита — подумал: по кучерявому всех — не поодинаковать, делать нечего — надо по лысым равнять. И сарацинам рукой махнул. Налетели — набежали с четырех сторон: всех — наголо, и мужеский пол, и женский: все — как колено. А аптекарь премудрый — чудной стал, облизанный, как кот из-под дождичка.

Еще и стричь всех не кончили — опять Фиту требуют, опять депутаты. Вышел Фита смурый: какого еще рожна?

А депутаты:

— Гы-ы! — один в кулак. — Гы-ы! — другой. Мокроносые.

— От кого? — буркнул Фита.

— А мы, этта... Гы-ы! К вашей милости мы: от дураков. Гы-ы! Жалаем, знычть, чтоб, знычть... всем, то есть, знычть... равномерно...

Туча-тучей вернулся Фита в № 1. За аптекарем.

— Слыхал, брат?

— Слыхал... — голосок у аптекаря робкий, голова в ситцевом платочке: от холоду, непривычно стриженому-то.

— Ну, как же нам теперь?

— Да как-как: теперь уж чего же. Назад нельзя.

Перед вечерней молитвой — прочли приказ жителям: быть всем петыми дураками равномерно — с завтрашнего дня.

Ахнули жители, а что будешь делать: супротив начальства разве пойдешь? Книжки умные наспех последний раз сели читать, до самого до вечернего звонка все читали. Со звонком — спать полегли, а утром все встали: петые. Веселье — беда. Локтями друг дружку подталкивают — гы-ы! гы-ы! Только и разговору: сейчас вольные в чуйках корыта с кашей прикатят: каша ячневая.

Прогулялся Фита по коридору — семь верст и три четверти — видит: веселые. Ну, отлегло: теперь-то уж все. Премудрого аптекаря в уголку обнял:

— Ну, брат, за советы спасибо. Век не забуду.

А аптекарь — Фите:

— Гы-ы!

А ведь выходит дело — один остался: одному за всех думать.

И только это Фита заперся в № 1 — думать, как опять в дверь. И уж не стучат, а прямо ломятся, лезут, гамят несудом:

— Э-э, брат, нет, не проведешь! Мы хоть и петые, а тоже, знычть, понимаем! Ты, брат, тоже дурей. А то ишь ты... Не-ет, брат!

Лег Фита на кроватку, заплакал. А делать нечего.

— Уж Бог с вами, ладно. Дайте сроку до завтрева.

Весь день Фита промежду петых толкался, и все дурел помаленьку. И к утру — готов, ходит — и: гы-ы!

И зажили счастливо. Нету на свете счастливее петых.

1917

” М Ы ”

Запись 1-ая.
Конспект:

ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА.

Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

"Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически-безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде ор͵жия – мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения, о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!"

Я пишу это – и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной – ассимптоте – по прямой. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель И н т е г р а л а, – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это "МЫ" будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового – еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно – не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, – или почти каждый из нас. Я готов.

Запись 2-ая.
Конспект:

БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС.

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо-толкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим – только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни – весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения

— видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится И н т е г р а л — и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше — сам с собою: почему — красиво? Почему танец — красив? Ответ: потому что это н е с в о б о д н о е движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни — только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястьи руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она — о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час — мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нуме-

ров, в голубоватых юнифах*, с золотыми бляхами на груди – государственный нумер каждого и каждой. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, – он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом "моя"); справа – два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, неомраченные безумием мыслей лица... Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: "Тра-та-та-там. Тра-та-та-там", эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, – увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение – прыжок через века, с + на –. Мне вспомнилась (очевидно – ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали – как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это – без улыбки, я бы даже сказал – с некоторой по-

---

* Вероятно, от древнего "Uniforme".

чтительностью (может быть ей известно, что я – строитель Интеграла). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

– Но почему же – непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть – можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и следовательно...

– Ну да: ясно! – крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой). – Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не "один", но "один из". Мы так одинаковы...

Она:

– Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево – и...

Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской нумер – какой-то дважды изогнутый, вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд – и со вздохом:

– Да... Увы!

В сущности, это "увы" было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я – с необычайной для меня резкостью – сказал:

– Ничего не увы. Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

– Даже носы у всех...

– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и "классический", как

в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:

– Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

– Да это прелюбопытный аккорд – она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем, S-образным мужским нумером. У него такое – внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его – сейчас не вспомню.

На прощание I – все так же иксово – усмехнулась мне.

– Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

– Если у меня будет наряд – именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

– Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне – налево.

– Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... – робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день – послезавтра. Это просто все то же самое ее "опере-

жение мысли" – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен: три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

Запись 3-я.
Конспект:

ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ.

Просмотрел все написанное вчера – и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть, все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может вы, неведомые, кому И н т е г р а л принесет мои записки, может быть вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно – и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое "пиджак", "квартира", "жена". А впрочем, если его роман переведен для дикарей – разве мыслимо обойтись без примечаний насчет "пиджака"?

Я уверен, дикарь глядел на "пиджак" и думал: "Ну, к чему это? Только обуза". Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм к все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не

без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой – первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь – можете вы себе вообразить, что у вас – хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице – голым, без "пиджака" (возможно, что вы еще разгуливаете в "пиджаках"). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось "иконой", и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы – "Расписание железных дорог". Но поставьте даже его рядом со Скрижалью – и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же – С, углерод, – но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам "Расписания". Но Часовая Скрижаль – каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту – мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу – единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду – мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день – от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью – Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних – целомудренно спуще-

ны шторы, другие мерно по медным ступеням Марша – проходят проспектом, третьи – как я сейчас – за письменным столом. Но я твердо верю – пусть назовут меня идеалистом и фантазером – я верю: раньше или позже – но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т.е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя – пусть даже зачаточная, государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т.е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, – это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это – разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого

шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки – во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т.е. зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время – откуда-то со дна, из мохнатых глубин, – еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью – только изредка. К счастью – это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, – у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, – кажется, мне случалось видать его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

Запись 4-ая.
Конспект:

ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ.

До сих пор мне все в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову "ясно"). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была – $\frac{1.500}{10.000.000} = \frac{3}{20.000}$ (1500 – это число аудиториумов, 10.000.000 – нумеров). А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнечный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп – милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похожие... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне – желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот – звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства – и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор.

– "Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу 20-го века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на "дожде" – действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на "дождь" (на экране – дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как дикарь, европеец хотел "дождя" – дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря, по крайней мере, было больше смелости и энергии и – пусть дикой – логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому..."

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) – тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему "напрасно" и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось – все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолектор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик – причина, музыка – следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.

– "...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков "вдохновения" – неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, –

музыка Скрябина – 20-й век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там – их древнейший инструмент) – этот ящик они называли "рояльным" или "королевским", что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка..."

И дальше – я опять не помню, очень возможно потому, что... Ну, да скажу прямо: потому что к "рояльному" ящику подошла она – I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка – укус, сюда – вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности. И конечно они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я – я?

Да, эпилепсия – душевная болезнь – боль... Медленная, сладкая боль – укус – и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно – солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи – нет: дикое, несущееся, попаляющее солнце – долой все с себя – все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево – на меня – и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел – на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я – снова я.

Как и все – я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху – вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце – для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет... Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме диких фантазий – не ограниченная музыка древних...

Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широкие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома – скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас – только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе, мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. "Мой (sic!) дом – моя крепость" – ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы – и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик – и розовый билетик. Я оторвал талон – и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента – 22.15.

Потом показал ей свои "записи" и говорил – кажется очень хорошо – о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала – и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья – прямо на раскрытую страницу (стр. 7-ая). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.

– Милый Д, если бы только вы – если бы...

Ну что "если бы"? Что "если бы"? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое – относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

Запись 5-ая.
Конспект:

КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ.

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ,

R-13, поэт, негрогубый, – ну да все его знают. А между тем вы – на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии – кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете – квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это – равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется случайно, сказал умную вещь: "Любовь и голод владеют миром". Ergo: чтобы овладеть миром – человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне – о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой "хлеб"*. Но в 35-ом году до основания Единого Государства – была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато – очищенное от тысячелетней грязи – каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых – вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть – это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался, потому что оставались носы "пуговицей" и носы "классические" (наш тогдашний разговор на прогулке) – потому что любви одних добивались многие, других – никто.

Естественно, что подчинив себе Голод (алгебраический = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира – против Любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена, т.е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш ис-

* Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества – нам неизвестен.

торический "Lex sexualis": всякий из нумеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой нумер".

Ну, дальше – там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови – и вырабатывают для вас соответственный Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться нумером таким-то (или таким-то) и получаете надлежащую талонную книжку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти – нет уже никаких, знаменатель дроби счастья приведен к нулю – дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, – у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

... Странно: я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, – а внутри как-то облачно, паутинно, и крестом – какой-то четырехлапый икс. Или это – мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами – мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них – и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно – –

Хотел зачеркнуть все это – потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи – как тончайший сейсмограф – дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником – –

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии – никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри – все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) – просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю – вы не будете слишком строго судить меня. Я верю – вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении

всей человеческой истории: одни писали для современников, другие – для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

Запись 6-ая.
Конспект:

СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ "ЯСНО". 24 ЧАСА.

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала – еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) – там, где уже ничего не случается, а у нас... Вот, не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из нумеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И кроме того – нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, т.е. в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг – телефон:

– Д-503? – женский голос.

– Да.

– Свободны?

– Да.

– Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I-330... Эта I меня раздражает, отталкивает – почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба – и легкое солнце – на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое – как щеки старинного "купидона" – и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы – поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна – там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца – вниз, вниз, вниз – как с крутой горы – и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери – старуха, вся сморщенная – и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос – и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же – заговорила.

– Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть? – и морщины засияли (т.е., вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление "засияли").

– Да, бабушка, опять захотелось, – сказала ей I.

Морщинки сияли:

– Солнце-то, а? Ну что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Зна-ю, знаю! Ну, ладно: одни идите, я уж лучше тут, на солнце...

Гм... Вероятно, моя спутница – тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть – мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

– Люблю я ее – старуху эту.

– За что?

– А не знаю. Может быть – за ее рот. А может быть – ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала – улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:

– Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не "просто-так-любовь", а "потому-что-любовь". Все стихии должны быть...

– Ясно... – начал я – тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены – как шторы.

Вспомнилось: вечером, около 22, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных, прозрачных клеток – темные, с опущенными шторами, и там, за шторами – – Что у ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила, и зачем все это?

Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь – и

мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них "квартира"). Тот самый,странный, "королевский" музыкальный инструмент – и дикая, неорганизованная, сумасшедшая – как тогдашняя музыка – пестрота красок и форм. Белая плоскость – вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза – канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения – линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм.

– Это – самая моя любимая... – и вдруг будто спохватилась – укус-улыбка, белые острые зубы. – Точнее: самая нелепая из всех их "квартир".

– Или еще точнее: государств, – поправил я. – Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как...

– Ну да, ясно... – по-видимому очень серьезно сказала I.

Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собственностью). И снова – комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный "камин", большая, красного дерева кровать. Наше теперешнее – прекрасное, прозрачное, вечное – стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон.

– И подумать: здесь "просто-так любили", горели, мучились... (опять опущенная штора глаз). – Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, – не правда ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое – не знаю что, – что выводило меня из терпения; мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться – не согласиться было нельзя.

Вот – остановились перед зеркалом. В этот момент – я видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые "квартиры" – человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как будто угадала – обернулась. "Ну – вот мои глаза. Ну?" (Это, конечно, молча.)

Передо мною – два жутко-темных окна, и внутри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь – пылает там

какой-то свой "камин" – и какие-то фигуры, похожие...

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) – я определенно почувствовал страх, почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

– Знаете что, – сказала I, выйдите на минуту в соседнюю комнату. – Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон-глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина). Отчего я сижу вот – и покорно выношу эту улыбку, и зачем все это: зачем я здесь – отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра...

Там – стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда и – – точно не помню: вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка – мне было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, – и открытая шея, тень между...

– Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы...

– Ясно, – перебила I, быть оригинальным – это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным – это нарушить равенство... И то, что на идиотском языке древних называлось "быть банальным" – у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что...

– Да, да, да! Именно, – я не выдержал. – И вам нечего, нечего...

Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз, – там, внутри, за своими окнами, – сказала, на этот раз кажется совершенно серьезно (может быть, чтобы смягчить меня), – сказала очень разумную вещь:

– Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели – поклонялись им. Какой рабский дух! Не правда ли?

– Ясно... То есть, я хотел... (это проклятое "ясно"!).

– Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были вла-

дыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас...

– Да, у нас... – начал я. И вдруг она – рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню – я весь дрожал. Вот – ее схватить – и уж не помню что... Надо было что-нибудь – все равно что – сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

– Вы не находите, что уже пора? – сколько мог вежливо сказал я.

– А если бы я вас попросила – остаться здесь со мной?

– Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудиториуме...

– ... И все нумера обязаны пройти установленный курс искусства и наук... – моим голосом сказала I. Потом отдернула штору – подняла глаза: сквозь темные окна – пылал камин. – В Медицинском Бюро у меня есть один врач – он записан на меня. И если я попрошу – он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра.

– Вот даже как! А вы знаете, что как всякий честный нумер я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро Хранителей и...

– А не в сущности, – (острая улыбка-укус). – Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

– Вы остаетесь? – я взялся за ручку двери. Ручка была медная – и я слышал: такой же медный у меня голос.

– Одну минутку... Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то нумер – я был настолько взволнован, что не запомнил его – и крикнула:

– Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...

Я повернул медную холодную ручку:

– Вы позволите мне взять аэро?

– О да, конечно! Пожалуйста...

Там, на солнце, у выхода – как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот и что она заговорила.

– А эта ваша – что же, там одна осталась?

– Одна.

Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть именно это – что я невольно обманул старуху – так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21.30 – у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом – законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

Запись 7-ая.
Конспект:

РЕСНИЧНЫЙ ВОЛОСОК. ТЭЙЛОР. БЕЛЕНА И ЛАНДЫШ.

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом – медный Будда; вдруг поднял медные веки – и полился сок: из Будды. И из желтого платья – сок, и по зеркалу капли сока, и сочится большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам – и какой-то смертельно-сладостный ужас...

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят у древних – это было самое обыкновенное и нормальное – видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была – вот такая ужасная карусель: зеленое – оранжевое – Будда – сок. Но мы-то знаем, что сны – это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически-выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу – какое-то инородное тело – как тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском – нельзя о нем забыть ни на секунду...

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовье: 7, вставать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены — я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки — он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24-х. Но все же: как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте — и едва замечать Тэйлора — этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед.

Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Государства. Стройно, по четыре — к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов — и быстро вниз, вниз, вниз — легкое замирание сердца...

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон — или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера так же на аэро — спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное, еще не одухотворенное огнем, изящное тело "Интеграла". Закрывши глаза, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать "Интеграл" от земли. Каждый атом секунды — масса "Интеграла" меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире — кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал — "простите".

Я приоткрыл глаза — и сперва (ассоциация от "Интеграла") что-то стремительно несущееся в пространство: голова — и она несется, потому что по бокам — оттопыренные розовые крылья-уши. И затем кривая нависшего затылка — сутулая спина — двоякоизогнутое — буква S...

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира — снова ресничный волосок — что-то неприятное, что я должен сегодня — —

— Ничего, ничего, пожалуйста, — я улыбнулся соседу, рас-

кланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711 (понятно, почему он с самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было незарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза – два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому...

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен: – один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

– Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме... – голос у меня – странный, приплюснутый, плоский – я пробовал откашляться.

– Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

– Но, понимаете – был не один, я сопровождал нумер I-330, и вот...

– I-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

... Но ведь и он – тогда на прогулке – и может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом – нельзя, немыслимо: это ясно.

– Да, да! Как же, как же! Очень, – я улыбался – все шире, нелепей – и чувствовал: от этой улыбки – я голый, глупый...

Буравчики достали во мне до дна, потом быстро вращаясь – взвинтились обратно в глаза; S – двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось – все на меня смотрят) – и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка: "По достоверным сведениям – вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства".

"Освобождение"? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: "преступные". Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как... ну, как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в косми-

ческом масштабе века – это, конечно, "едва"), как вдруг какие-то жалкие недоумки...

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 – иду туда непременно...

В 16.10 вышел – и тотчас же на углу увидал О – всю в розовом восторге от этой встречи. "Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня..." Впрочем, нет: в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода – все тот же ежедневный Марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

– Гулять, – круглые синие глаза мне широко раскрыты – синие окна внутрь – и я проникаю внутрь ни за что не зацепляясь: ничего – внутри, т.е. ничего постороннего, ненужного.

– Нет, не гулять. Мне надо... – я сказал ей куда. И к изумлению своему увидел: розовый круг рта – сложился в розовый полумесяц, рожками книзу – как от кислого. Меня взорвало.

– Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня – но это просто тупость.

– Вы – идете к шпионам... фу! А я, было, достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландыш. й...

– Почему "А я" – почему это "А"? Совершенно по-женски. – Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. – Ну вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии "запах", что это хорошо или плохо? Не мо-же-те, ну? Есть запах ландыша – и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве – и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион – это белена, тут шпион – ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось – но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

– Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.

Круглые, гладкие шары голов плыли мимо – и оборачивались. О ласково взяла меня за руку:

– Вы какой-то сегодня... Вы не больны?

Сон – желтое – Будда... Мне тотчас стало ясно: я должен пойти в Медицинское Бюро.

– Да ведь и правда: я болен, – сказал я очень радостно (тут совершенно необъяснимое противоречие: радоваться было нечему).

– Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же понимаете: вы обязаны быть здоровым – смешно доказывать вам это.

– Ну О, милая, – ну конечно же вы правы. Абсолютно правы!

Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, пришлось идти в Медицинское Бюро; там меня задержали до 17.

А вечером (впрочем, все равно – вечером там уже было закрыто) – вечером пришла ко мне О. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это очень успокаивает и очищает мысли. О-90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто...

Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный запах – и о чем-то таком очень неприятном... Скоро я нашел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны – подкинуть мне эти ландыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен.

Запись 8-ая.
Конспект:

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. R-13. ТРЕУГОЛЬНИК.

Это – как давно, в школьные годы, когда со мной случился $\sqrt{-1}$. Так ясно, вырезанно, помню: светлый шаро-зал, сотни мальчишеских круглых голов – и Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно подержан-

ный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: "Пля-пля-пля-тшшш", а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах – и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: "Не хочу $\sqrt{-1}$! Выньте из меня $\sqrt{-1}$!" Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня – его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.

И вот теперь снова $\sqrt{-1}$. Я пересмотрел свои записи – и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе – только чтобы не увидеть $\sqrt{-1}$. Это все пустяки – что болен и прочее: я мог пойти туда; неделю назад – я знаю, пошел бы, не задумываясь. Почему же теперь... Почему?

Вот и сегодня. Ровно в 16.10 – я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной – золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампады в древней церкви – теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей – себя. А я – я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты – я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места...

– Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня – черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый приятель – и с ним розовая O.

Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали, я бы, в конце концов, с мясом вырвал из себя $\sqrt{-1}$, я бы вошел в Бюро).

– Не замечтался, а уж если угодно – залюбовался, – довольно резко сказал я.

– Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам – в поэты, а? Ну, хотите – мигом устрою, а?

R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ – брызги; каждое "п" – фонтан, "поэты" – фонтан.

– Я служил и буду служить знанию, – нахмурился я: шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная привычка шутить.

– Ну что там: знание! Знание ваше это самое – трусость.

Да уж чего там: верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть. Да! Выгляните – и глаза зажмурите. Да!

– Стены – это основа всякого человеческого... – начал я.

R – брызнул фонтаном, O – розово, кругло смеялась. Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый $\sqrt{-1}$.

– Знаете что, – предложил я, – пойдемте, посидим у меня, порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий час – может быть, такой будет и сегодня).

O взглянула на R; ясно, кругло взглянула на меня, щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов.

– Но сегодня я... У меня сегодня – талон к нему, – кивнула на R, – а вечером он занят... Так что...

Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули:

– Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так ведь, O? До задачек ваших – я не охотник, а просто – пойдем ко мне, посидим.

Мне было жутко остаться с самим собой – или вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности был мой нумер – Д-503. И я пошел к нему, к R. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы – приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую, розовую O. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы.

Дальше – в комнате R. Как будто – все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел R – двинул одно кресло, другое – плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неэвклидным. R – все тот же, все тот же. По Тэйлору и математике – он всегда шел в хвосте.

Вспомнили старую Пляпу: как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучителя*. Законоучитель у нас был громогласен необычайно – так и дуло ветром из громкоговорителя – а мы, дети, во весь го-

* Разумеется, речь идет не о "Законе Божьем" древних, а о законе Единого Государства.

лос орали за ним тексты. И как отчаянный R-13 напихал ему однажды в рупор жеваной бумаги: что ни текст – то выстрел жеваной бумагой. R, конечно, был наказан, то, что он сделал – было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали – весь наш треугольник – и, сознаюсь, я тоже.

– А что если бы он был живой – как у древних, а? Вот бы – "б" – фонтан из толстых, шлепающих губ...

Солнце – сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное – снизу. О – на коленях у R-13, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел; $\sqrt{-1}$ заглох, не шевелился...

– Ну, а как же ваш "И н т е г р а л"? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему "И н т е г р а л у" не поднять. Каждый день от 8 до 11... – R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него – это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина – "В карете").

Я оживился:

– А, вы тоже пишете для "И н т е г р а л а"? Ну, а скажите о чем? Ну вот хоть, например, сегодня.

– Сегодня – ни о чем. Другим занят был... – "б" брызнуло прямо в меня.

– Чем другим?

R сморщился:

– Чем-чем! Ну, если угодно – приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг – на тебе: "Я, говорит, – гений, гений – выше закона". И такое наляпал... Ну, да что... Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. R-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает – у себя в чемоданчике?

Минута неловкого асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то.

– К счастью, допотопные времена всевозможных шекспиров и достоевских – или как их там – прошли,– нарочно громко сказал я.

R повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хле-

стали из него, но мне показалось – веселого лака в глазах уже не было.

– Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы – счастливейшее среднее арифметическое... Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности – от кретина до Шекспира... Так!

Не знаю, почему – как будто это было совершенно некстати – мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и R. (Какая?) Опять заворочался $\sqrt{-1}$. Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.

– Ну, мне пора... – и я поцеловал О, пожал руку R, пошел к лифту.

На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся: в светлой, насквозь просолнеченной стеклянной глыбе дома – тут, там были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор – клетки ритмичного тэйлоризованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13: он уже опустил шторы.

Милая О... Милый R... В нем есть тоже (не знаю, почему "тоже" – но пусть пишется, как пишется) – в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и О – мы треугольник, пусть даже и неравнобедренный, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык – понятней), мы – семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что...

Запись 9-ая.
Конспект:

ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕЙ. ЧУГУННАЯ РУКА.

Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях – и все хрустально-неколебимое, вечное – как наше,новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес – или, может

быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь, цветы – губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц – в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих "богослужений". Но они служили своему нелепому, неведомому Богу – мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву – мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству, – спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях-годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один – стоял на ступенях налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет – не белое, а уж без цвета – стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с нумером – уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины – неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане, поставленные руки – выходят огромными, приковывают взор – заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки – ясно: они – каменные, и колени – еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась – медленный, чугунный жест – и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к Кубу нумер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий – увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибу-

нами божественные медные ямбы – о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

...Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок – уж одни черные кресты скелетов. Но явился Прометей (это, конечно, мы). –

"И впряг огонь в машину, сталь,
И хаос заковал законом".

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец – "огонь с цепи спустил на волю" – и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест – и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может! Нет: его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей – но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые – острым топором – хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13, бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости), – спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо – острый, черный треугольник – и тотчас же стерлось: мои глаза – тысячи глаз – туда, наверх, к Машине. Там – третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, – преступник идет, медленно, ступень – еще – и вот шаг, последний в его жизни – и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой – на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза – на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь – быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча – как дрожь, еле

слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело – все в легкой, светящейся дымке – и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И – ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее, это всякий раз было – как чудо, это было – как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним – разгоревшиеся лица десяти женских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы*.

По старому обычаю – десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун – и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных "архангелов", приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря – было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, – знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

Запись 10-ая.
Конспект:

ПИСЬМО. МЕМБРАНА. ЛОХМАТЫЙ Я.

Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный.

---

* Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого – как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.

Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала нумера входящих. Ее имя – Ю... впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя в сущности, это – очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится – это то, что щеки у ней несколько обвисли – как рыбьи жабры (казалось бы: что тут такого?).

Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: "Д-503" – и – рядом клякса.

Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову – и капнула в меня чернильной этакой улыбочкой:

– А вот письмо. Да. Получите, дорогой, – да, да, получите.

Я знал: прочтенное ею письмо – должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок), и не позже 12 будет у меня. Но я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке "И н т е г р а л а" я никак не мог сосредоточиться – и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало.

В 12 часов – опять розовато-коричневые рыбьи жабры, улыбочка – и, наконец, письмо у меня в руках. Не зная почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман – и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и – сел... Это было официальное извещение, что на меня записался нумер I-330 и что сегодня в 21 я должен явиться к ней – внизу адрес...

Нет: после всего, что было, после того как я настолько недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей, – ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен – ну, вообще не мог... И несмотря на все – –

В голове у меня крутилась, гудела динамо. Будда – желтое – ландыши – розовый полумесяц... Да, и вот это – и вот это еще: сегодня хотела ко мне зайти О. Показать ей это извещение – относительно I-330? Я не знаю: она не поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь ни при чем, что я совершенно... И знаю: будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор... Нет, только не это. Пусть все решится механически: просто пошлю ей копию с извещения.

Я торопливо засовывал извещение в карман – и увидел

эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она, I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела не нее. Неужели она действительно...

И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло – не наше, не настоящее, это – тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит... И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно – как та, за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, и за шторами – –

Странное ощущение: я чувствовал ребра – это какие-то железные прутья и мешают – положительно мешают сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами: I-330. I, спиною ко мне, над столом, что-то писала. Я вошел...

– Вот... – протянул я ей розовый билет. – Я получил сегодня извещение и явился.

– Как вы аккуратны! Минутку – можно? Присядьте, я только кончу.

Опять опустила глаза в письмо – и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет – что сделает через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она – оттуда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра – железные прутья, тесно... Когда она говорит – лицо у ней, как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо – неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови – насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх – две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий X – как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились...

– А ведь вы не были в Бюро Хранителей?

– Я был... Я не мог: я был болен.

– Да. Ну, я так и думала: что-нибудь вам должно было помешать – все равно что (– острые зубы, улыбка). Но зато теперь вы – в моих руках. Вы помните: "Всякий нумер в течение 48 часов не заявивший Бюро, считается..."

Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчиш-

ка, — глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал. И чувствовал: запутался — ни рукой, ни ногой...

Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира — вдвоем с ней.

I была где-то там у меня за спиной, возле шкафа. Юнифа шуршала, падала — я слушал — весь слушал. И вспомнилось... нет: сверкнуло в одну сотую секунды...

Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка — странное существо, состоящее только из одного органа — уха. Я был сейчас такой мембраной.

Вот теперь щелкнула кнопка у ворота — на груди — еще ниже. Стеклянный шелк шуршит по плечам, коленам — по полу. Я слышу — и это еще яснее, чем видеть — из голубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога и другая...

Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными паузами — удары молота о прутья. И я слышу — я вижу: она, сзади, думает секунду.

— Вот — двери шкафа, вот — стукнула какая-то крышка — и снова шелк, шелк...

— Ну, пожалуйста.

Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом, древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки — сквозь тонкую ткань, тлеющие розовым — два угля сквозь пепел. Дъа нежно-круглых колена...

Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней — флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось — в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется — сейчас забыл).

Мембрана все еще дрожала. Молот бил там — внутри у меня — в накаленные докрасна прутья. Я отчетливо слышал каждый удар и... и вдруг она это тоже слышит?

Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел — на мой розовый билетик.

Как можно хладнокровнее — я спросил:

– Послушайте, в таком случае – зачем же вы записались на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?

Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

– Прелестный ликер. Хотите?

Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука Благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе – это вот, с закинутой головой, распростертое тело. Я вздрогнул.

– Слушайте, – сказал я, – ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем – Единое Государство беспощадно...

Темные брови – высоко к вискам, острый насмешливый треугольник:

– Быстро уничтожить немногих – разумней, чем дать возможность многим губить себя – и вырождение – и так далее. Это – до непристойности верно.

– Да... до непристойности.

– Да компанийку вот этаких вот лысых, голых истин – выпустить на улицу... Нет, вы представьте себе... ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя – ну, да вы его знаете, – представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд – и в истинном виде среди публики... Ох!

Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот, двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий – обнимал ее – такую... **Он...**

Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои – ненормальные – ощущения. Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий честный нумер, имеет равное право на радости – и было бы несправедливо... Ну, да это ясно.

I смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня – внутрь:

– А главное – я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый – о, я уверена в этом, – вы и не подумаете пойти в Бюро и сообщить, что вот я – пью ликер, я – курю. Вы будете больны – или вы будете заняты – или уж не знаю что. Больше: я уверена – вы сейчас будете пить со мной этот очаровательный яд...

Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувст-

вовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему "сейчас"? Я ненавидел ее все время.

Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и просвечивая сквозь шафранное розовым – сделала несколько шагов – остановилась сзади моего кресла...

Вдруг – рука вокруг моей шеи – губами в губы... нет, куда-то еще глубже, еще страшнее... Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только потому... Ведь не мог же я – сейчас я это понимаю совершенно отчетливо – не мог же я сам хотеть того, что потом случилось.

Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю – это был вкус "ликера") – и в меня влит глоток жгучего яда – и еще – и еще... Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз – по какой-то невычисленной орбите...

Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий.

Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову – но ведь это именно так: мы, на земле, все время ходим над клокочущим, багровым морем огня, скрытого там – в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели...

Я стал стеклянным. Я увидел – в себе, внутри.

Было два меня. Один я – прежний, Д-503, нумер Д-503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?

Изо всех сил ухватившись за соломинку – за ручки кресла – я спросил, чтобы услышать себя – того, прежнего:

– Где... где вы достали этот... этот яд?

– О, это! Просто один медик, один из моих...

– "Из моих"? "Из моих" – кого?

И этот другой – вдруг выпрыгнул и заорал:

– Я не позволю! Я хочу, чтоб никто кроме меня. Я убью всякого, кто... Потому что я вас – я вас – –

Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, разодрал у ней тонкий шелк, впился зубами – я точно помню: именно зубами.

Уж не знаю как – I выскользнула. И вот – глаза задернуты этой проклятой непроницаемой шторой – она стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня.

Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени. И молил: "Сейчас – сейчас же – сию же минуту..."

Острые зубы – острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.

– "Да! Да, милая – милая," – я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу. Но I – так же молчаливо – поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 22.30.

Я похолодел. Я знал, что это значит – показаться на улице позже 22.30. Все мое сумасшествие – сразу как сдунуло. Я – был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

Не прощаясь, не оглядываясь – я кинулся вон из комнаты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени – по запасной лестнице (боялся – кого-нибудь встречу в лифте) – выскочил на пустой проспект.

Все было на своем месте – такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом – неслось неслышно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался – чтобы не опоздать.

Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха – отстегивается – отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять – и в секундной тишине: чей-то топот сзади. Обернулся: из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.

Я понесся во весь дух – только в ушах свистело. У входа остановился: на часах было без одной минуты 22.30. Прислушался: сзади никого. Все это – явно была нелепая фантазия, действие яда.

Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась – плыла по синусоиде. Я внушал себе: "Ночью – нумера обязаны спать; это обязанность – такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью – преступно..." И все же не мог, не мог.

Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... Я...

Запись 11-ая.
Конспект:

...НЕТ, НЕ МОГУ, ПУСТЬ ТАК, БЕЗ КОНСПЕКТА.

Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью и не видно: что там – дальше, выше. Древние знали, что там их величайший, скучающий скептик – Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там: я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно, – это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот –

Я – перед зеркалом. И первый раз в жизни – именно так: первый раз в жизни – вижу себя ясно, отчетливо, сознательно – с изумлением вижу себя, как кого-то "его". Вот я – он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними – как шрам – вертикальная морщина (не знаю: была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи; и за этой сталью... оказывается, я никогда не знал, что там. И из "там" (это "там" одновременно и здесь, и бесконечно далеко) – из "там" я гляжу на себя – на него, и твердо знаю: он – с прочерченными по прямой бровями – посторонний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я – не – он...

Нет: точка. Все это – пустяки, и все эти нелепые ощущения – бред, результат вчерашнего отравления... Чем: глотком зеленого яда – или ею? Все равно. Я записываю это, только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий – такой точный и острый – разум. Тот разум, который даже эту, пугавшую древних, бесконечность сумел сделать удобоваримой – посредством...

Щелк нумератора – и цифры: R-13. Пусть, я даже рад: сейчас одному мне было бы...

ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ:

На плоскости бумаги, в двухмерном мире – эти строки рядом, но в другом мире... Я теряю цифроощущение: 20 минут – это может быть 200 или 200 000. И это так дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с R. Все равно как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати – и с лю-

бопытством смотрели, как вы, вы же – корчитесь на этой кровати.

Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец.

– ...И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно – непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, – закончил я.

Вдруг вижу: у R – матовеют глаза, сереют губы.

– Что с вами?

– Что-что? Ну... Ну просто надоело: все кругом – приговор, приговор. Не желаю больше об этом – вот и все. Ну, не желаю!

Он насупился, тер затылок – этот свой чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул – залакировались смехом глаза, вскочил.

– А вот для вашего "И н т е г р а л а" я со 'иняю... это – да! Это вот да!

Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном.

– Понимаете ("п" – фонтан) – древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю – был предоставлен выбор: или счастье без свободы – или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу – и что же: понятно – потом века тосковали об оковах. Об оковах – понимаете, – вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше – дальше слушайте! Древний Бог и мы – рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола – это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он – змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему – тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все – очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители – все это добро, все это – величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет

нашу несвободу — то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову — этика, неэтика... Ну, да ладно: словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?

Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: "Такая у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум". И оттого он так близок мне — настоящему мне (я все же считаю прежнего себя — настоящим, все теперешнее — это, конечно, только болезнь).

R, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал.

— Ах вы... Адам! Да, кстати, насчет Евы...

Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал.

— Послезавтра... нет: через два дня — у О розовый талон к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она...

— Ну да, ясно.

— Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется... Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розово-талонно, а вас... И не говорит, кто это четвертый влез в наш треугольник. Кто — кайтесь, греховодник, ну?

Во мне взвился занавес, и — шелест шелка, зеленый флакон, губы... И ни к чему, некстати — у меня вырвалось (если бы я удержался!):

— А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?

R подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я совершенно ясно слышал его мысли: "Приятель-то ты — приятель... А все-таки..." И ответ:

— Да как сказать? Собственно — нет. Но я знал одну женщину...

— I, — закричал я.

— Как... вы — вы тоже с нею? — налился смехом, захлебнулся, и сейчас брызнет.

Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол: отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови.

И вот я — настоящий — увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я настоящий — услышал дикий, отвратительный крик:

– Что "тоже"? Нет: что такое "тоже"? Нет – я требую.

Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза... Я – настоящий – крепко схватил за шиворот этого другого себя – дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я – настоящий – сказал ему, R:

– Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен, не сплю. Не понимаю, что со мной...

Толстые губы мимолетно усмехнулись:

– Да-да-да! Я понимаю – я понимаю! Мне все это знакомо... разумеется, теоретически. Прощайте!

В дверях повернулся черным мячиком – назад к столу, бросил на стол книгу:

– Последняя моя... Нарочно принес – чуть не забыл. Прощайте... – "п" брызнуло в меня, укатился...

Я – один. Или вернее: наедине с этим, другим "я". Я – в кресле, и, положив нога на ногу, из какого-то "там" с любопытством гляжу, как я – я же – корчусь на кровати.

Отчего – ну отчего целых три года я и О – жили так дружески – и вдруг теперь одно только слово о той, об I... Неужели все это сумасшествие – любовь, ревность – не только в идиотских древних книжках? И главное – я! Уравнения, формулы, цифры – и... это – ничего не понимаю! Ничего... Завтра же пойду к R и скажу, что – –

Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра – никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец! Треугольник наш – развалился.

Я – один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что там – выше? И если бы знать: кто – я, какой – я?

Запись 12-ая.
Конспект:

ОГРАНИЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ. АНГЕЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ.

Мне все же кажется – я выздоровею, я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет просто,

правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого слова – "ограниченность": работа высшего, что есть в человеке – рассудка – сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легко переваримые порции – – дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии – математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так – случайная ассоциация.

Все это – под мерный, метрический стук колес подземной дороги. Я про себя скандирую колеса – и стихи R (его вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза я вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двоякоизогнутое... он! Не хотелось мешать ему – и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут – не знаю: когда я входил в вагон – его как будто не было.

Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось.

В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным "Счастье". Думаю – не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире –
Неотрывающиеся дважды два...

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт – непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, бе-

зоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь – ржавеет; древний Бог – создал древнего, т.е. способного ошибаться человека – и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда – понимаете: никогда – не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина – одна, и истинный путь – один; и эта истина – дважды два, и этот истинный путь – четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки – стали думать о какой-то свободе, т.е. ясно – об ошибке? Для меня – аксиома, что R-13 сумел схватить самое основное, самое...

Тут я опять почувствовал – сперва на своем затылке, потом на левом ухе – теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он явно приметил, что книга на коленях у меня – уже закрыта и мысли мои – далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга: это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял – или не захотел понять – он ни о чем меня не спросил... Мне остается одно: все рассказывать вам, неведомые мои читатели (сейчас вы для меня так же дороги, и близки, и недосягаемы – как был он в тот момент).

Вот был мой путь: от части к целому; часть – R-13, величественное целое – наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова – тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал – о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограммометров – уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн – добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя – мы сделали домашнее животное: и точно так же у нас приручена и оседлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия – уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия – государственная служба, поэзия – полезность.

Наши знаменитые "Математические Нонны": без них – разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить

четыре правила арифметики? А "Шипы" – это классический образ: Хранители – шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих как молитву: "Злой мальчик розу хвать рукой. Но шип стальной кольнул иглой, шалун – ой, ой – бежит домой" и так далее? А "Ежедневные оды Благодетелю"? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие красные "Цветы Судебных приговоров"? А бессмертная трагедия "Опоздавший на работу"? А настольная книга "Стансов о половой гигиене"?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте – навеки зачеканена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода; их лира – утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в Машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнующий треск падающих штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шепот уличных мембран.

Наши боги – здесь, внизу, с нами – в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго – мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша...

Запись 13-ая.
Конспект:

ТУМАН. ТЫ. СОВЕРШЕННО НЕЛЕПОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

На заре проснулся – в глаза мне розовая, крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я – несомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.

Утренний звонок – встаю – и совсем другое: сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь – туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее – и легче, и ближе, и уже нет границ между землею и небом, все летит, тает, падает, не за что ухва-

титься. Нет больше домов: стеклянные стены распустились в тумане, как кристаллики соли в воде. Если посмотреть с тротуара – темные фигуры людей в домах – как взвешенные частицы в бредовом, молочном растворе – повисли низко, и выше, и еще выше – в десятом этаже. И все дымится – может быть, какой-то неслышно бушующий пожар.

Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы – чтобы ухватиться за цифры – чтобы спасли хоть цифры.

В 11.45, перед тем как идти на обычные, согласно Часовой Скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос – длинная, медленная игла в сердце:

– Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся... ну, там увидите куда.

– Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.

– Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через две минуты...

Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мною управляет Единое Государство, а не она. "Так, как я вам говорю..." И ведь уверена: слышно по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему...

Серые, из сырого тумана сотканные юнифы торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворялись в туман. Я не отрывался от часов, я был – острая, дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут... Без трех, без двух двенадцать...

Кончено. На работу – я уже опоздал. Как я ее ненавижу. Но надо же мне было показать...

На углу в белом тумане – кровь – разрез острым ножом – губы.

– Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже.

Как я ее – – впрочем, да: поздно уж.

Я молча смотрел на губы. Все женщины – губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и только вот сейчас – ножом, – и еще каплет сладкая кровь.

Ближе – прислонилась ко мне плечом – и мы одно, из нее переливается в меня – и я знаю: так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому "нужно". Вероят-

но, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону – и впиться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться – и потом стремглав вниз, наземь. И человеку, после агонии, наконец вздохнуть последний раз – и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

– Туман... Очень.

– Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое "ты", "ты" властелина к рабу – вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это – тоже нужно, тоже хорошо.

– Да, хорошо... – вслух сказал я себе. И потом ей: – я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

– Значит – любишь. Боишься – потому, что это сильнее тебя, ненавидишь – потому что боишься, любишь – потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.

Да, это так. И именно потому – именно потому я...

Мы шли двое – одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир – единая необъятная женщина, и мы – в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно: все – для меня: солнце, туман, розовое, золотое – для меня...

Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруже – –

– Ну вот... – I остановилась у дверей. – Здесь сегодня дежурит как раз один... Я о нем говорила тогда, в Древнем Доме.

Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее – прочел вывеску: "Медицинское Бюро". Все понял.

Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубках.

И человечек – тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся – все равно у него только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие – нос, ножницы – губы.

Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила – и чувствовал: улыбаюсь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:

– Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь – опаснее я ничего не знаю... – засмеялся, тончайшей бумажной рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал – отдал мне.

Это были удостоверения, что мы – больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал свою работу у Единого Государства, я – вор, я – под Машиной Благодетеля. Но это мне – далеко, равнодушно, как в книге... Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я – мои глаза, губы, руки – я знал: так нужно.

На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро. I опять как тогда села за руль, подвинула стартер на "вперед", мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все: розово-золотой туман; солнце; тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и близкий. Раньше – все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня – медленно, блаженно, с зажмуренными глазами...

Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший, с лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни – и только сейчас раскрылся, улыбнулся:

– А-а, проказница! Нет, чтобы работать, как все... ну уж ладно! Если что – я тогда прибегу, скажу...

Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась и тотчас же с болью раскрылось сердце широко – еще шире: – настежь. Ее губы – мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза – и опять...

Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зеленый сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И – мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет – –

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону – я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза – и через них я медленно входил внутрь, все глубже. И тишина – только в углу – за тысячи миль – капают капли в умывальнике, и я – вселенная, и от капли до капли – эры, эпохи...

Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I – и глазами вбирал в себя ее последний раз.

– Я знала это... Я знала тебя... – сказала I, очень тихо.

Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою острую улыбку-укус.

— Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?

Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа; через плечо — на меня, ждала. Я послушно вышел. Но едва переступил порог — вдруг стало нужно, чтобы она прижалась ко мне плечом — только на секунду плечом, больше ничего.

Я кинулся назад — в ту комнату, где она (вероятно) еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал — и остановился. Вот — ясно вижу — еще покачивается старинное кольцо на ключе в двери шкафа, а I — нет. Уйти она никуда не могла — выход из комнаты только один — и все-таки ее нет. Я обшарил все, я даже открыл шкаф и ощупал там пестрые, древние платья: никого...

Мне как-то неловко, планетные мои читатели, рассказывать вам об этом совершенно невероятном происшествии. Но что ж делать, если все это было именно так. А разве весь день с самого утра не был полон невероятностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь сновидений? И если так — не все ли равно: одной нелепостью больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силлогизм. Это меня успокаивает, надеюсь, успокоит и вас.

...Как я полон! Если бы вы знали: как я полон!

Запись 14-ая.
Конспект:

"МОЙ". НЕЛЬЗЯ. ХОЛОДНЫЙ ПОЛ.

Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все это — как вырезано, и потому-то особенно — должно быть, навсегда — этот нестерпимо-холодный пол...

Вечером должна была ко мне прийти О — это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.

— Что с вами, — спросил дежурный. — Вы какой-то сегодня...

— Я... я болен...

В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостоверение... Пощупал в кармане: вот – шуршит. Значит – все было, все было действительно...

Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как загорелись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смотрит на меня...

И вот – 21.30. В комнате слева – спущены шторы. В комнате справа – я вижу соседа: над книгой – его шишковатая, вся в кочках, лысина и лоб – огромная, желтая парабола. Я мучительно хожу, хожу: как мне – после всего – с нею, с О? И справа – ясно чувствую на себе глаза, отчетливо вижу морщины на лбу – ряд желтых, неразборчивых строк; и мне почему-то кажется – эти строки обо мне.

Без четверти 22 в комнате у меня – радостный розовый вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи. И вот чувствую: все слабее кольцо, все слабее – разомкнулось – руки опустились...

– Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!

– Что за дикая терминология: "мой". Я никогда не был... – и запнулся: мне пришло в голову – раньше не был, верно, но теперь... Ведь я теперь живу не в нашем разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из минус-единицы.

Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет книгу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую щель между шторой и полом – я вижу: желтая рука схватила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту руку...

– Я думала – я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом – мне надо вам так много...

Милая, бедная О! Розовый рот – розовый полумесяц рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что было – хотя бы потому, что это сделает ее соучастницей моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы пойти в Бюро Хранителей и следовательно – –

О лежала. Я медленно целовал ее. Я целовал эту наивную пухлую складочку на запястье, синие глаза были закрыты, розовый полумесяц медленно расцветал, распускался – и я целовал ее всю.

Вдруг ясно чувствую: до чего все опустошено, отдано. Не могу, нельзя. Надо – и нельзя. Губы у меня сразу остыли...

Розовый полумесяц задрожал, померк, скорчился. О накинула на себя покрывало, закуталась – лицом в подушку...

Я сидел на полу возле кровати – какой отчаянно-холодный пол – сидел молча. Мучительный холод снизу – все выше, все выше. Вероятно – такой же молчаливый холод там, в синих, немых междупланетных пространствах.

– Поймите же: я не хотел... – пробормотал я... – Я всеми силами...

Это правда: я, настоящий я, – не хотел. И все же: какими словами сказать ей. Как объяснить ей, что железо не хотело, но закон – неизбежен, точен – –

О подняла лицо из подушек и не открывая глаз сказала:

– Уйдите, – но от слез вышло у нее "ундите" – и вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.

Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в коридор. Там за стеклом – легкий чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегнет вовсю. Что будет за ночь?

О молча скользнула мимо меня, к лифту – стукнула дверь.

– Одну минутку, – крикнул я: стало страшно.

Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз...

Она отняла у меня R.

Она отняла у меня О.

И все-таки, и все-таки...

Запись 15-ая.
Конспект:

КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ. МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬ.

Только вошел в эллинг, где строится "И н т е г р а л", – как навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое – тарелка, и говорит – подносит на тарелке что-то такое нестерпимо-вкусное:

– Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, – происшествие.

– Происшествие?

– Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпус-

кать – и представьте: выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался – понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем... (улыбка – вкусная...).

В Операционном – работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там – разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это в сущности старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше... Ну и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат – с применением различных газов, и затем – тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель – забота о безопасности Единого Государства, другими словами – о счастии миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же – режут горло живому человеку. И все-таки один – благодетель, другой – преступник, один со знаком +, другой со знаком – ...

Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус – и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули – а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече – прижавшись к правому плечу, I – рядом со мной в тумане. "Ты любишь туман?" Да, и туман... все люблю, и все – упругое, новое, удивительное, все – хорошо...

– Все – хорошо, – вслух сказал я.

– Хорошо? – кругло вытаращились фаянсовые глаза. – То есть, что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился... стало быть, они – всюду, кругом, все время, они тут, они – около "И н т е г р а л а", они...

– Да кто о н и ?

– А почем я знаю, кто. Но я их чувствую – понимаете? Все время.

– А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели – фантазию вырезывают? (На днях в самом деле я что-то вроде этого слышал.)

– Ну, знаю. При чем же это тут?

– А при том, что я бы на вашем месте – пошел и попросил сделать себе эту операцию.

На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый – ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же: неделю назад – вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь – теперь нет: потому что я знаю, что это у меня есть – что я болен. И знаю еще – не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все – под нами внизу – как на ладони...

Вы, читающие эти записки, – кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас – вы знаете, какое бывает – какое может быть – утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух – чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все – живое: живые и мягкие – камни; живое и теплое – железо; живые и все до одного улыбаются – люди. Может случиться через час – все исчезнет, через час – выкаплет розовая кровь, но пока – живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках "И н т е г р а л а"; я вижу: "И н т е г р а л" мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы – вы обязаны быть счастливыми и уже недолго вам ждать.

Корпус "И н т е г р а л а" почти готов: изящный удлиненный эллипсоид из нашего стекла – вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра – шпангоуты, продольные – стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды – взрыв; каждые 3 секунды могучий хвост "И н т е г р а л а" будет низвергать пламя и газы в мировое пространство – и будет нестись, нестись – огненный Тамерлан счастья...

Я видел: по Тэйлору, размеренно и быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, по-

ворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел, по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны, и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево "И н т е г р а л а" свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка... Скорее – вниз, к ним, с ними!

И вот – плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей, лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.

И вдруг один – безмятежно обернулся ко мне:

– Ну как: ничего, лучше сегодня?

– Что лучше?

– Да вот – не было-то вас вчера. Уж мы думали – у вас опасное что... – сияет лоб, улыбка – детская, невинная.

Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог – не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул...

Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной, фаянсовое лицо.

– Эй, Д-503! Пожалуйте-ка сюда! Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями и узловые моменты дают напряжение на квадратной.

Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх – я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза – рябило от сверкающих, стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью: все безнадежней: мне, преступнику, отравленному, – здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне – вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза – вечно, пока я, наконец, не найду силы пройти и – –

И ледяная искра – насквозь: я – пусть; я – все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже...

Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу – был "И н т е г р а л", серо-стеклянный, неживой. Розовая кровь

вытекла, мне ясно, что все это – только моя фантазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время ясно...

– Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову... Что с вами? – Это Второй Строитель – прямо над ухом у меня: должно быть, уж давно кричит.

Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро дрожит и мчится, но руля нет – и я не знаю, куда мчусь: вниз – и сейчас обземь, или вверх – и в солнце, в огонь...

Запись 16-ая.
Конспект:

ЖЕЛТОЕ. ДВУХМЕРНАЯ ТЕНЬ. НЕИЗЛЕЧИМАЯ ДУША.

Не записывал несколько дней. Не знаю сколько: все дни – один. Все дни – одного цвета – желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее – а она, с тех пор как тогда непонятно исчезла в Древнем Доме...

С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад – не знаю: все дни – один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку – по плечо ей – двоякий S, и тончайше-бумажный доктор, и кто-то четвертый – запомнились только его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей – необычайно тонкие, белые, длинные. I подняла руку, помахала мне; через голову I – нагнулась к тому с пальцами-лучами. Мне послышалось слово "И н т е г р а л": все четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова – желтый, иссушенный путь.

Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором – и с нежностью, с ненавистью умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе появилось скорее: I-330. Хлопала дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла.

И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это – она, закрывши глаза, так же прислоняется к кому-то плечом и так же говорит кому-то: "Ты любишь?"

Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжущий R? Или S?

S... Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлюпающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за мной – как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая, двухмерная тень: через нее проходят, на нее наступают, но она – все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина – она, I? Не знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно, что я...

Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время видит. Понимаете? И вот вдруг – у вас странное ощущение: руки – посторонние, мешают, и я ловлю себя на том, что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или вдруг – непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни за что, шея – закована. И я бегу, бегу все быстрее, и спиною чувствую: быстрее за мною тень, и от нее – никуда, никуда...

У себя в комнате – наконец, один. Но тут другое: телефон. Опять беру трубку: "Да, I-330, пожалуйста". И снова в трубке – легкий шум, чьи-то шаги в коридоре – мимо дверей ее комнаты, и молчание... Бросаю трубку – и не могу, не могу больше. Туда – к ней.

Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до 17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами, нумера. В такт сыпались тысячи ног, миллионноногий левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я – один, выхлестнут бурей на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах.

Вот сейчас откуда-нибудь – остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей и темные окна глаз, и там, внутри – пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей "ты" – непременно "ты": "Ты же знаешь – я не могу без тебя. Так зачем же?"

Но она – молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу – Музыкальный Завод, и понимаю: уже больше 17, все давно ушли, я – один, я – опоздал. Кругом – стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде – в стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкающие стены, и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами подвешен я.

Мне нужно скорее, сию же секунду – в Медицинское Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и – – А может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут

и спокойно ждать, пока увидят, доставят в Операционное – сразу все кончить, сразу все искупить.

Легкий шорох, и передо мною – двоякоизогнутая тень. Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал – что-нибудь нужно было сказать:

– Мне... мне надо в Медицинское Бюро.

– За чем же дело? Чего же вы стоите здесь?

Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги, – я молчал, весь полыхая от стыда.

– Идите за мной, – сурово сказал S.

Я покорно пошел, размахивая ненужными, посторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой – мире: вот какие-то машины – фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже – скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.

Остановились. Передо мною – ступени. Один шаг – и я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный немой Колокол...

С силой, каким-то винтовым приводом, я, наконец, оторвал глаза от стекла под ногами – вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы "Медицинское"... Почему он привел меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил меня – об этом я в тот момент даже и не подумал: одним скачком – через ступени, плотно захлопнул за собой дверь – и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал, не билось сердце – и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди...

Двое: один – коротенький, тумбоногий – глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой – тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия – что-то о бессонице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

– Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы

говорили иногда "душа в душу", "равнодушно", "душегуб", но душа – –

– Это... очень опасно, – пролепетал я.

– Неизлечимо, – отрезали ножницы.

– Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не представляю.

– Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?

– Да.

– Так вот – плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот – видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон – мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте – от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней – все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми – дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала – внутри вас – солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это – впитывает, и от всего след – навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице – и она уже навсегда в вас; однажды вы услышали: в тишине упала капля – и вы слышите сейчас...

– Да, да, именно... – я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из крана умывальника – медленно капают капли в тишину. И я знал это – навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было – и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня...

Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

– Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев – одни только лопаточные кости – фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже ненужны – есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья – чтобы летать, а нам уже некуда: мы – прилетели, мы – нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

– В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тон-

чайшего на рога) – я вам говорил: надо у всех – у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия...

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа – в мой мозг, записывал что-то в книжку.

– Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушайте: а не согласились бы вы... заспиртоваться? Это было бы для Единого Государства чрезвычайно... это помогло бы нам предупредить эпидемию... Если у вас, разумеется, нет особых оснований...

– Видите ли, – сказал он, – нумер Д-503 – строитель "И н т е г р а л а", и я уверен – это нарушило бы...

– А-а, – промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет.

Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось ко мне; он шепнул:

– По секрету скажу вам – это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее – очень похожее, очень близкое... – он пристально посмотрел на меня. На что он намекает – на кого? Неужели – –

– Слушайте... – я вскочил со стула. Но он уже громко заговорил о другом:

– ...А от бессонницы, от этих ваших снов – могу вам одно посоветовать: побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь... ну хоть бы к Древнему Дому.

Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово – букву – имя, единственное имя... Или это опять только фантазия?

Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча крепко сжал ему руку и выбежал наружу.

Сердце – легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня вверх. Я знал: завтра – какая-то радость. Какая?

Запись 17-ая.
Конспект:

СКВОЗЬ СТЕКЛО. Я УМЕР. КОРИДОРЫ.

Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы – в моем уравнении появились новые неизвестные.

Начало координат во всей этой истории – конечно Древний Дом. Из этой точки – оси X-ов, Y-ов, Z-ов, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси X-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу координат. Во мне – пестрым вихрем вчерашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, остро-капающие капли из умывальника – так было, было однажды. И все это – разрывая мясо – стремительно крутится там – за расплавленной от огня поверхностью, где "душа".

Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены. Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев – встал на дыбы – сейчас захлестнет меня, и из человека – тончайшего и точнейшего из механизмов – я превращусь...

Но к счастью, между мной и диким зеленым океаном – стекло Стены. О великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир – от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных...

Сквозь стекло на меня – туманно, тускло – тупая морда какого-то зверя, желтые глаза, упорно повторяющие одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза – в эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне копошится: "А вдруг он, желтоглазый, – в своей нелепой, грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни – счастливее нас?"

Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились,

пропали в листве. Жалкое существо! Какой абсурд: он – счастливее нас! Может быть счастливее меня – да; но ведь я – только исключение, я болен.

Да и я... Я уже вижу темно-красные стены Древнего Дома – и милый заросший старушечий рот – я кидаюсь к старухе со всех ног:

– Тут она?

Заросший рот раскрылся медленно:

– Это кто же такое – она?

– Ах, ну кто-кто? Да I, конечно... Мы же вместе с ней тогда – на аэро...

– А-а, так, так... Так-так-так...

Лучи-морщины около губ, лукавые лучи из желтых глаз, пробирающихся внутрь меня – все глубже... И наконец:

– Ну, ладно уж... тут она, недавно прошла.

Тут. Я увидел: у старухиных ног – куст серебристо-горькой полыни (двор Древнего Дома – это тот же музей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), полынь протянула ветку на руку к старухе, старуха поглаживает ветку, на коленях у ней – от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза – мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам – одна общая, буйная, великолепная кровь...

Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записках быть откровенным до конца. Так вот: я нагнулся – и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха утерлась, засмеялась...

Бегом через знакомые полутесные гулкие комнаты – почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг: "А если она там не одна?" Стал, прислушался. Но слышал только: тукало около – не во мне, а где-то около меня – мое сердце.

Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там – ключ со старинным кольцом. И никого.

Я тихонько позвал:

– I! Ты здесь? – И еще тише, с закрытыми глазами, не дыша, – так, как если бы я стоял уже на коленях перед ней:
– I! Милая!

Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить почему, но

только это было мне неприятно: я крепко завернул кра вышел. Тут ее – нет: ясно. И значит, она в какой-нибудь) гой "квартире".

По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потя одну дверь, другую, третью: заперто. Все было заперто, к ме только той одной "нашей" квартиры, и там – никоı

И все-таки – опять туда, сам не знаю – зачем. Я шел м ленно, с трудом – подошвы вдруг стали чугунными. Пом отчетливо мысль: "Это ошибка, что сила тяжести – конста на. Следовательно, все мои формулы – – "

Тут – разрыв: в самом низу хлопнул дверь, кто-то бы ро протопал по плитам. Я – снова легкий, легчайший – б] сился к перилам – перегнуться, в одном слове, в одном к] ке "Ты!" – выкрикнуть все...

И захолонул: внизу – вписанная в темный квадрат те от оконного переплета, размахивая розовыми крыльями-уш ми, неслась голова S.

Молнией – один только голый вывод, без посылок (п сылок я не знаю и сейчас): "Нельзя – ни за что – чтобы (меня увидел".

И на цыпочках, вжимаясь в стену, – я скользнул вверх к той незапертой квартире.

На секунду у двери. Тот – тупо топает вверх, сюда. Тол ко бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная: заскрипел взвизгнула. Вихрем мимо – зеленое, красное, желтый Буд – я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, пр слушивающиеся глаза, губы... Я слышу – сквозь шум кро – опять скрипит дверь... Это он, он.

Я ухватился за ключ в двери шкафа – и вот кольцо пок чивается. Это что-то напоминает мне – опять мгновенный, г лый, без посылок, вывод – вернее, осколок: "В тот раз – –". Я быстро открываю дверь в шкаф – я внутри, в темн те – захлопываю ее плотно. Один шаг – под ногами качн лось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в глазах п темнело, я умер.

* * *

Позже, когда мне пришлось записывать все эти странны происшествия, я порылся в памяти, в книгах – и теперь я, к нечно, понимаю: это было состояние временной смерти, зн

комое древним и – сколько я знаю – совершенно неизвестное у нас.

Не имею представления, как долго я был мертв, скорее всего 5-10 секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза: темно и чувствую – вниз, вниз... Протянул руку – ухватился – царапнула шершавая, быстро убегающая стенка, на пальце кровь, ясно – все это не игра моей больной фантазии. Но что же, что?

Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне стыдно сознаться в этом – так все было неожиданно и непонятно). Минута, две три – все вниз. Наконец – мягкий толчок: то, что падало у меня под ногами – теперь неподвижно. В темноте я нашарил какую-то ручку, толкнул – открылась дверь – тусклый свет. Увидел: сзади меня быстро уносилась вверх небольшая квадратная платформа. Кинулся – но уже было поздно: я был отрезан здесь... где это "здесь" – не знаю.

Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах – лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир. Походило немного на "трубы" наших подземных дорог, но только гораздо у́же и не из нашего стекла, а из какого-то другого старинного материала. Мелькнуло – о подземельях, где будто бы спасались во время Двухсотлетней Войны... Все равно: надо идти.

Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, коридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Может быть, машины, может быть, голоса – не знаю, но только я – возле тяжелой непрозрачной двери: гул оттуда.

Постучал, еще раз – громче. За дверью – затихло. Что-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.

Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше – передо мной был мой лезвиеносый, тончайший доктор.

– Вы? Здесь? – и ножницы его так и захлопнулись. А я – я будто никогда и не знал ни одного человеческого слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. Должно быть – что мне надо уйти отсюда; потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой, более светлой части коридора – и толкнул в спину.

– Позвольте... я хотел... я думал, что она, I-330... Но за мной...

– Стойте тут, – отрезал доктор и исчез...

Наконец! Наконец, она рядом, здесь – и не все ли равно, где это "здесь". Знакомый, шафранно-желтый шелк, улыбка-укус, задернутые шторой глаза... У меня дрожат губы, руки, колени – а в голове глупейшая мысль:

"Колебания – звук. Дрожь должна звучать. Отчего же не слышно?"

Ее глаза раскрылись мне – настежь, я вошел внутрь...

– Я не мог больше! Где вы были? Отчего... – ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил как в бреду – быстро, несвязно – может быть, даже только думал. – Тень – за мною... Я умер – из шкафа... Потому что этот ваш... говорит ножницами: у меня душа... Неизлечимая...

– Неизлечимая душа! Бедненький мой! – I рассмеялась – и меня сбрызнула смехом: весь бред прошел, и всюду сверкают, звенят смешинки и как – как все хорошо.

Из-за угла снова вывернулся доктор – чудесный, великолепный, тончайший доктор.

– Ну-с, – остановился он возле нее.

– Ничего, ничего! Я вам потом расскажу. Он случайно... Скажите, что я вернусь через... минут пятнадцать...

Доктор мелькнул за угол. Она ждала. Глухо стукнула дверь. Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне в сердце острую, сладкую иглу – прижалась плечом, рукою, вся – и мы пошли вместе с нею, вместе с нею – двое – одно...

Не помню, где мы свернули в темноту – и в темноте по ступеням вверх, без конца, молча. Я не видел, но знал: она шла так же, как и я – с закрытыми глазами, слепая, закинув вверх голову, закусив губы – и слушала музыку: мою чуть слышную дрожь.

Я очнулся в одном из бесчисленных закоулков во дворе Древнего Дома: какой-то забор, из земли – голые, каменистые ребра и желтые зубы развалившихся стен. Она открыла глаза, сказала: "Послезавтра в 16". Ушла.

Было ли все это на самом деле? Не знаю. Узнаю послезавтра. Реальный след только один: на правой руке – на концах пальцев – содрана кожа. Но сегодня на "И н т е г р а л е" Второй Строитель уверял меня, будто он сам видел, как я случайно тронул этими пальцами шлифовальное кольцо – в этом и все дело. Что ж, может быть и так. Очень может быть. Не знаю – ничего не знаю.

Запись 18-ая.
Конспект:

ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕБРИ. РАНЫ И ПЛАСТЫРЬ. БОЛЬШЕ НИКОГДА.

Вчера лег – и тотчас же канул на сонное дно, как перевернувшийся, слишком загруженный корабль. Толща глухой колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплываю со дна вверх и где-то на средине глубины открываю глаза: моя комната, еще зеленое, застывшее утро. На зеркальной двери шкафа – осколок солнца – в глаза мне. Это мешает в точности выполнить установленные Скрижалью часы сна. Лучше бы всего – открыть шкаф. Но я весь – как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать...

Все-таки встал, открыл – и вдруг за зеркальной дверью, выпутываясь из платья, вся розовая – I. Я так привык теперь к самому невероятному, что сколько помню – даже совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей в шкаф, захлопнул за собою зеркальную дверь – и задыхаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас вижу: сквозь дверную щель в темноте – острый солнечный луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа, выше – и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, обнаженную шею I... и в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул – и еще раз открыл глаза.

Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я – в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это – несомненно было. И я не знаю теперь: что сон – что явь; иррациональные величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей – кругом что-то корявое, лохматое...

До звонка еще далеко. Я лежу, думаю – и разматывается чрезвычайно странная, логическая цепь.

Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего $\sqrt{-1}$, мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их... Но в том-то и ужас, что эти тела – невидимые – есть, они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят перед нами

их причудливые, колючие тени – иррациональные формулы; и математика, и смерть – никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть – неизбежно должен быть – целый огромный мир там, за поверхностью...

Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика – до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни – тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта нелепая "душа" – так же реальна, как моя юнифа, как мои сапоги – хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью шкафа)? И если сапоги не болезнь – почему же "душа" болезнь?

Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как те – за Зеленой Стеной, – и они так же были необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось – сквозь какое-то толстое стекло – я вижу: бесконечно огромное, и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: $\sqrt{-1}$... А может быть, это – не что иное, как моя "душа", подобно легендарному скорпиону древних добровольно жалящая себя всем тем, что...

Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая, – только прикрыто дневным светом; как видимые предметы, не умирая, – к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове – легкий, зыбкий туман. Сквозь туман – длинные, стеклянные столы; медленно, молча, в такт жующие шаро-головы. Издалека, сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок. И машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих – как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной – мой мир...

Но вот что: если этот мир – только мой, зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые "сны", шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строго математической поэмы в честь Единого Государства – у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы и в самом деле это был только ро-

ман, а не теперешняя моя, исполненная иксов, $\sqrt{-1}$ и падений, жизнь.

Впрочем – может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели, – дети по сравнению с нами (ведь мы взращены Единым Государством – следовательно, достигли высочайших, возможных для человека вершин). И как дети – только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено густым приключенческим сиропом...

* * *

ВЕЧЕРОМ:

Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься ввысь по синей спирали, окно открыто, в лицо свистит вихрь – земли нет, о земле забываешь, земля так же далеко от вас, как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу теперь, в лицо – вихрь, и я забыл о земле, я забыл о милой, розовой О. Но все же земля существует, раньше или позже – надо спланировать на нее, и я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит ее имя – имя О-90...

Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе.

Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне, искренне хочу выздороветь) – я целых два часа бродил по стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все, согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я один... Это было, в сущности, противоестественное зрелище: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого, от руки – отдельный человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая бежит по стеклянному тротуару. Этот палец – я. И страннее, противоестественнее всего, что пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими: или – вот так, одному, или... Ну да, мне уж больше нечего скрывать: или вдвоем с нею – с той, опять так же переливая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук...

Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел – на стекле стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных нумеров. Не странно ли: потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром, а все – совершенно

иное, иная эта розовость – сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром – опять будет звонкая, шипучая.

И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розовым пеплом конвертов – Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю: это – очень почтенная женщина, и я уверен – у нее наилучшие чувства ко мне.

И все же, всякий раз как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щеки – мне почему-то неприятно.

Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо – Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектирован был на дрожавший в моих руках конверт, где – я не сомневался – письмо от I.

Здесь – второй вздох, настолько явно, двумя чертами подчеркнутый, что я оторвался от конверта – и увидел: между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз – нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:

– Бедный вы, бедный, – вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный (содержание письма она, по обязанности, – естественно знала).

– Нет, право я... Почему же?

– Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь к вам – и вижу: нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь уж долгие годы изучавший жизнь...

Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой – это пластырь на те раны, какими сейчас покроет меня это дрожащее в моих руках письмо. И наконец – сквозь стыдливые жалюзи – совсем тихо:

– Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны: если я почувствую в себе достаточно силы – нет-нет, я сначала еще должна подумать...

Благодетель великий! Неужели мне суждено... неужели она хочет сказать, что – –

В глазах у меня – рябь, тысячи синусоид, письмо прыгает. Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда – на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще темно-розовый, печальный пепел.

Конверт взорван – скорее подпись – и рана – это не I, это... О. И еще рана: на листочке снизу, в правом углу – расплывшаяся клякса – сюда капнуло... Я не выношу клякс –

все равно: от чернил они или от... все равно от чего. И знаю — раньше — мне было бы просто неприятно, неприятно глазам — от этого неприятного пятна. Но почему же теперь это серенькое пятнышко — как туча, и от него — все свинцовее и все темнее? Или это опять — "душа"?

ПИСЬМО:

"Вы знаете... или, может быть, вы не знаете — я не могу как следует писать — все равно: сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что R для меня только... ну, да это не важно вам. Я ему во всяком случае, очень благодарна: одна без него, эти дни — я бы не знаю что... За эти дни и ночи я прожила десять или, может быть, двадцать лет. И будто комната у меня — не четырехугольная, а круглая, и без конца — кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде никаких дверей.

Я не могу без вас — потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю: вам теперь никто, никто на свете не нужен, кроме той, другой, и — понимаете: именно, если я вас люблю, я должна — —

Мне нужно еще только два-три дня, чтобы из кусочков меня кой-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю О-90, — и я пойду, и сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас, и вам должно быть лучше, вам должно быть хорошо. Больше никогда не буду, простите.

О".

Больше никогда. Так, конечно, лучше: она права. Но отчего же, отчего — —

Запись 19-ая.
Конспект:

БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. ИСПОДЛОБНЫЙ. ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ.

Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек... или нет, нет — не там: позже, когда мы уже были с нею в каком-то затерянном уголке на дворе Древнего

Дома, – она сказала: "послезавтра". Это "послезавтра" – сегодня, и все – на крыльях, день – летит, и наш "Интеграл" уже крылатый: на нем кончили установку ракетного двигателя, и сегодня пробовали его вхолостую. Какие великолепные, могучие залпы, и для меня каждый из них – салют в честь той, единственной, в честь сегодня.

При первом ходе (= выстреле) под дулом двигателя оказался с десяток зазевавшихся нумеров из нашего эллинга – от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто не вздрогнул; и мы, и наши станки – продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с той же точностью, как будто бы ничего не случилось. Десять нумеров – это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах – это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.

И мне смешно, что вчера я мог задумываться – и даже записывать на эти страницы – о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это – все то же самое "размягчение поверхности", которая должна быть алмазно-тверда – как наши стены (древняя поговорка: "как об стену горох").

Шестнадцать часов. На дополнительную прогулку я не пошел: как знать, быть может, ей вздумается именно сейчас, когда все звенит от солнца...

Я – почти один в доме. Сквозь просолнеченные стены – мне далеко видно вправо и влево и вниз – повисшие в воздухе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комнаты. И только по голубоватой, чуть прочерненной солнечной тушью лестнице – медленно скользит вверх тощая, серая тень. Вот уже слышны шаги – и я вижу сквозь дверь – я чувствую: ко мне прилеплена пластырь-улыбка – и затем мимо, по другой лестнице – вниз...

Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез – и... и какой-то незнакомый мне мужской (с согласной буквой) нумер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо мною – небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза... очень странное впечатление: как будто он говорил оттуда, исподлобья, где глаза.

– Вам от нее письмо... (– исподлобья, из-под навеса). Просила, чтобы непременно – все, как там сказано.

Исподлобья, из-под навеса – кругом. Да никого, никого нет, ну, давай же! Еще раз оглянувшись, он сунул мне конверт, ушел. Я один.

Нет не один: из конверта – розовый талон, и – чуть приметный – ее запах. Это она, она придет, придет ко мне. Скорее – письмо, чтобы прочитать это своими глазами, чтобы поверить в это до конца...

Что? Не может быть! Я читаю еще раз – перепрыгиваю через строчки: "Талон... и непременно спустите шторы, как будто я и в самом деле у вас... Мне необходимо, чтобы думали, что я... мне очень, очень жаль..."

Письмо – в клочья. В зеркале на секунду – мои исковерканные, сломанные брови. Я беру талон, чтобы и его так же, как ее записку – –

– "Просила, чтоб непременно – все, как там сказано".

Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Она – сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем... впрочем не знаю: увидим – до вечера еще далеко... Талон лежит на столе.

В зеркале – мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства: пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой Стены – и потом свалиться в кровать – на дно... А я должен – в 13-й аудиториум, я должен накрепко завинтить всего себя, чтобы два часа – два часа, не шевелясь... когда надо кричать, топать.

Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата – не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский – мне мелькает она такою, какою когда-то жила: маленькая – крючочек-старушка, вроде той – у Древнего Дома.

Древний Дом... и все сразу – фонтаном – снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить криком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова – сквозь меня, и от всего остается только одно: что-то – о детях, о детоводстве. Я – как фотографическая пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью: золотой серп – световой отблеск на громкоговорителе; под ним – ребенок, живая иллюстрация – тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопической юнифы; крепко стиснутый кулачок, большой (вернее – очень маленький) палец зажат внутрь – легкая, пухлая тень – складочка на запястье.

Как фотографическая пластинка – я отпечатываю: вот теперь голая нога – перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух – вот сейчас, сейчас об пол – –

И – женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила ребенка – губами – в пухлую складочку на запястье, сдвинула на середину стола, спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый – рожками книзу – полумесяц рта, налитые до краев синие блюдечки-глаза. Это – О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы, – вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.

Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся; она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глазами – в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде – три точки, и через эти точки – прочерчены линии, проекции каких-то неминуемых, еще невидимых событий.

Домой – по зеленой, сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь тикаю – как часы. И стрелки во мне – сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сделаю что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно, чтобы кто-то там думал: она – у меня. А мне нужна она, и что мне за дело до ее "нужно". Я не хочу быть чужими шторами – не хочу и все.

Сзади – знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не оглядываюсь, знаю: S. Пойдет за мною до самых дверей – и потом, наверное, будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою комнату – пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы...

Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил: нет. Я решил.

Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель – я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или, вернее – висела: так висит пустое, снятое платье – под платьем у нее как будто уж не было ни одной пружины, беспружинными были руки, ноги, беспружинный, висячий голос.

– Я – о своем письме. Вы получили его? Да? Мне нужно знать ответ, мне нужно – сегодня же.

Я пожал плечами. Я с наслаждением – как будто она была во всем виновата – смотрел на ее синие, полные до краев глаза – медлил с ответом. И, с наслаждением, втыкая в нее по одному слову, сказал:

– Ответ? Что ж... Вы правы. Безусловно. Во всем.

— Так значит... (— улыбкою прикрыта мельчайшая дрожь, но я вижу). Ну, очень хорошо! Я сейчас — я сейчас уйду.

И висела над столом. Опущенные глаза, ноги, руки. На столе еще лежит скомканный розовый талон т о й. Я быстро развернул эту свою рукопись — "МЫ" — ее страницами прикрыл талон (быть может, больше от самого себя, чем от О).

— Вот — все пишу. Уже 170 страниц... Выходит такое что-то неожиданное...

Голос — тень голоса:

— А помните... я вам тогда на седьмой странице... Я вам тогда капнула — и вы...

Синие блюдечки — через край, неслышные, торопливые капли — по щекам, вниз, торопливые через край — слова:

— Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка и я уйду, я уйду!

Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал: я тоже сейчас — — Я заложил назад руки, улыбнулся:

— Что? Захотелось Машины Благодетеля?

И на меня — все так же, ручьями через плотины — слова:

— Пусть! Но ведь я же почувствую — я почувствую его в себе. И хоть несколько дней... Увидеть — только раз увидеть у него складочку вот тут — как там — как на столе. Один день!

Три точки: она, я — и там на столе кулачок с пухлой складочкой...

Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся через стеклянный парапет, внизу — точки-люди, и сладко тикнуло сердце: "А что если?" Тогда я только еще крепче схватился за поручни; теперь — я прыгнул вниз.

— Так вы хотите? Совершенно сознавая, что...

Закрытые — как будто прямо в лицо солнцу — глаза. Мокрая, сияющая улыбка.

— Да, да! Хочу!

Я выхватил из-под рукописи розовый талон — т о й — и побежал вниз, к дежурному. О схватила меня за руку, что-то крикнула, но что — я понял только потом, когда вернулся.

Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в коленях.

— Это... это ее талон?

– Не все ли равно. Ну – ее, да.

Что-то хрустнуло. Скорее всего – О просто шевельнулась. Сидела, руки в коленях, молчала.

– Ну? Скорее... – я грубо стиснул ей руку, и красные пятна (завтра – синяки) у ней на запястье, там – где пухлая детская складочка.

Это – последнее. Затем – повернут выключатель, мысли гаснут, тьма, искры – и я через парапет вниз...

Запись 20-ая.
Конспект:

РАЗРЯД. МАТЕРИАЛ ИДЕЙ. НУЛЕВОЙ УТЕС.

Разряд – самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно, как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще, все напряженней – полюсы все ближе – сухое потрескивание – еще миллиметр: взрыв, потом – тишина.

Во мне теперь очень тихо и пусто – как в доме, когда все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь отчетливое металлическое постукивание мыслей.

Быть может, этот "разряд" излечил меня, наконец, от моей мучительной "души" – и я снова стал, как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступенях Куба, вижу ее в Газовом Колоколе. И если там, в Операционном, она назовет мое имя – пусть: в последний момент – я набожно и благодарно лобызну карающую руку Благодетеля. У меня по отношению к Единому Государству есть это право – понести кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего – тем ценнейшего – права.

...Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли; неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь – в чистейшем, разреженном воздухе – с легким треском, как пневматическая шина, – лопается мое рассуждение "о действенном праве". И я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого предрассудка древних – их идеи о "праве".

Есть идеи глиняные – и есть идеи навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильнодействующей кислотой. Одну из таких кислот знали и древние: reductio ad finem. Кажется, это называлось у них так; но они боялись этого яда, они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо, чем синее ничто. Мы же – слава Благодетелю – взрослые, и игрушки нам не нужны.

Так вот – если капнуть на идею "права". Даже у древних – наиболее взрослые знали: источник права – сила, право – функция от силы. И вот – две чашки весов: на одной – грамм, на другой – тонна, на одной – "я", на другой – "Мы", Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у "я" могуть быть какие-то "права" по отношению к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну – это совершенно одно и то же. Отсюда – распределение: тонне – права, грамму – обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты – грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны...

Вы, пышнотелые, румяные венеряне, вы, закопченные, как кузнецы, ураниты – я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы: все великое – просто; поймите же: незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной – пребудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это – последняя мудрость, это – вершина той пирамиды, на которую люди – красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины – там, на дне, где ничтожными червями еще копошится нечто, уцелевшее в нас от дикости предков – с этой вершины одинаковы: и противозаконная мать – О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в Единое Государство; и одинаков для них суд: довременная смерть. Это – то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории: их "Бог" – хулу на Святую Церковь – карал так же, как убийство.

Вы, ураниты, – суровые и черные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах, – вы молчите, мне кажется, вы – со мною. Но я слышу: розовые венеряне – что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Доро-

гие мои: мне жаль вас – вы не способны философски-математически мыслить.

Человеческая история идет вверх кругами – как аэро. Круги разные – золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля – вперед: 10, 20, 200, 360 градусов – опять нуль. Да, мы вернулись к нулю – да. Но для моего математически мыслящего ума ясно: нуль – совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо – мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса нуль – у нас минус нуль. Понимаете?

Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож, утесом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от черной ночной стороны Нулевого Утеса. Века – мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура! Салют – и все на мачты: перед нами – другой, дотоле неведомый бок Нулевого Утеса, озаренный полярным сиянием Единого Государства, голубая глыба, искры радуги, солнца – сотни солнц, миллиарды радуг...

Что из того, что лишь толщиною ножа отделены мы от другой черной стороны Нулевого Утеса. Нож – самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож – был гильотиной, нож – универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов – единственно достойный бесстрашного ума путь...

Запись 21-ая.
Конспект:

АВТОРСКИЙ ДОЛГ. ЛЕД НАБУХАЕТ. САМАЯ ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ.

Вчера был ее день, а она – опять не пришла, и опять от нее – невнятная, ничего не разъясняющая записка. Но я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу к дежурному ее талон и затем, опустив шторы, сижу у себя в комнате один – так это разумеется не потому, чтобы я был не в силах идти против ее желания. Смешно! Конечно, нет. Просто – отделен-

ный шторами от всех пластыре-целительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных (история со шкафом, моя временная смерть и так далее). А раскрыть их – я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens – только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки.

И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился в Древний Дом. Был сильный встречный ветер. Аэро с трудом продирался сквозь воздушную чащу, прозрачные ветви свистели и хлестали. Город внизу – весь будто из голубых глыб льда. Вдруг – облако, быстрая косая тень, лед свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждешь: вот сейчас все треснет, хлынет, закрутится, понесет; но минута за минутой, а лед все стоит, и сам набухаешь, сердце бьется все беспокойней, все чаще (впрочем, зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения? Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взломать прозрачнейший и прочнейший хрусталь нашей жизни...).

У входа в Древний Дом – никого. Я обошел кругом и увидел старуху-привратницу возле Зеленой Стены: приставила козырьком руку, глядит вверх. Там над Стеной – острые, черные треугольники каких-то птиц: с карканием бросаются на приступ – грудью о прочную ограду из электрических волн – и назад, и снова над Стеною.

Я вижу: по темному, заросшему морщинами лицу – косые, быстрые тени, быстрый взгляд на меня.

– Никого, никого, никого нету! Да! И ходить незачем. Да...

То есть как это незачем? И что это за странная манера – считать меня только чьей-то тенью. А может быть, сами вы все – мои тени. Разве я не населил вами эти страницы – еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк?

Всего этого я, разумеется, не сказал ей; по собственному

опыту я знаю: самое мучительное – это заронить в человека сомнение в том, что он – реальность, трехмерная – а не какая-либо иная – реальность. Я только сухо заметил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор.

Пусто. Тихо. Ветер – там, за стенами, далекий, как тот день, когда мы плечом к плечу, двое-одно, вышли снизу, из коридоров – если только это действительно было. Я шел под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые своды, падали позади меня – будто все время другой шагал за мной по пятам. Желтые – с красными кирпичными прыщами – стены следили за мной сквозь темные квадратные очки окон, следили, как я открывал певучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь – памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли – голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы – навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков.

Показалось: именно эти желтые зубы я уже видел однажды – неясно, как на дне, сквозь толщу воды – и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза, остросоленые капли пота...

Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридоров я нигде не мог найти – его не было. А впрочем – так, может быть, и лучше: больше вероятия, что все это – был один из моих нелепых "снов".

Усталый, весь в какой-то паутине, в пыли – я уже открыл калитку – вернуться на главный двор. Вдруг сзади – шорох, хлюпающие шаги, и передо мною – розовые крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.

Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и спросил:

– Прогуливаетесь?

Я молчал. Руки мешали.

– Ну, что же, теперь лучше себя чувствуете?

– Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму.

Он отпустил меня – поднял глаза вверх. Голова запрокинута – и я в первый раз заметил его кадык.

Вверху невысоко – метрах в 50 – жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спущенным вниз черным хобо-

там наблюдательных труб – я узнал аппараты Хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой).

– Отчего их так сегодня много? – взял я на себя смелость спросить.

– Отчего? Гм... Настоящий врач – начинает лечить еще здорового человека, такого, какой заболеет еще только завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да!

Он кивнул, заплюхал по каменным плитам двора. Потом обернулся – и через плечо мне:

– Будьте осторожны!

Я один. Тихо. Пусто. Далеко над Зеленой Стеной мечутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать?

Аэро быстро скользит по течению. Легкие, тяжелые тени от облаков, внизу – голубые купола, кубы из стеклянного льда – свинцовеют, набухают...

ВЕЧЕРОМ:

Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти страницы несколько, как мне кажется, полезных (для вас, читатели) мыслей о великом Дне Единогласия – этот день уже близок. И увидел: не могу сейчас писать. Все время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые коричневато-розовые жабры – я был очень рад, говорю чистосердечно. Она села, целомудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками – по кусочку на каждую из моих трещин – и я почувствовал себя приятно, крепко связанным.

– Понимаете, прихожу сегодня в класс (– она работает на Детско-воспитательном Заводе) – и на стене карикатура. Да, да, уверяю вас! Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле...

– Нет, нет, что вы, – поторопился я сказать (вблизи в самом деле ясно, что ничего похожего на жабры нет, и у меня о жабрах – это было совершенно неуместно).

– Да в конце концов – это и не важно. Но, понимаете: самый поступок. Я, конечно, вызвала Хранителей. Я

очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь – это жестокость – вы понимаете?

Еще бы! Это так пересекалось с моими мыслями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей 20-ой записи, начиная отсюда: "Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли..."

Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щеки и они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках – сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы.

– Дайте – дайте это мне! Я сфонографирую это и заставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько вашим венерянам, сколько нам, нам – сейчас, завтра, послезавтра.

Она оглянулась – и совсем тихо:

– Вы слышали: говорят, что в День Единогласия...

Я вскочил:

– Что – что говорят? Что – в День Единогласия?

Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер, и косые сумеречные облака – все ниже...

Ю обхватила меня за плечи решительно, твердо (хотя я заметил: резонируя мое волнение – косточки ее пальцев дрожали).

– Сядьте, дорогой, не волнуйтесь. Мало ли что говорят... И потом: если только вам это нужно – в этот день я буду около вас, я оставлю своих детей из школы на кого-нибудь другого – и буду с вами, потому что ведь вы, дорогой, вы – тоже дитя, и вам нужно...

– Нет, нет, – замахал я, – ни за что! Тогда вы в самом деле будете думать, что я какой-то ребенок – что я один не могу... Ни за что! (– сознаюсь: у меня были другие планы относительно этого дня).

Она улыбнулась; неписаный текст улыбки, очевидно, был: "Ах, какой упрямый мальчик!" Потом села. Глаза опущены. Руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юнифы – и теперь о другом:

– Я думаю, что я должна решиться... ради вас... Нет, умоляю вас: не торопите меня, я еще должна подумать...

Я не торопил. Хотя и понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы.

...Всю ночь – какие-то крылья, и я хожу и закрываю го-

лову руками от крыльев. А потом – стул. Но стул – не наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь (правая передняя – и левая задняя, левая передняя – и правая задняя), стул подбегает к моей кровати, влезает на нее – и я люблю деревянный стул: неудобно, больно.

Удивительно: неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноболезнь или сделать ее разумной – может быть даже полезной.

Запись 22-ая.
Конспект:

ОЦЁПЕНЕВШИЕ ВОЛНЫ. ВСЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. Я – МИКРОБ.

Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны – мерно вверх; и поднявшись – вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это – когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.

Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов – две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта – там, где грозно гудела аккумулирующая башня – навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади – стража; в середине трое, на юнифах этих людей – уже нет золотых нумеров – и все до жути ясно.

Огромный циферблат на вершине башни – это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут – в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске – путаный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир – види-

мо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нем синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по-щенячьи, взвизгнул. И затем – четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды – и взвизг, щелк – взвизг.

Мы по-прежнему мерно, ассирийски, шли – и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: "Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется – и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут – и сколько красоты..."

Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская фигура и с криком: "Довольно! Не сметь!" – бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было – как метеор – 119 лет назад: вся прогулка застыла, и наши ряды – серые гребни скованных внезапным морозом волн.

Секунду я смотрел на нее посторонне, как и все: она уже не была нумером – она была только человеком, она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение – заворачивая, она согнула бедра налево – и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как хлыст, тело – мои глаза, мои губы, мои руки знают его – в тот момент я был в этом совершенно уверен.

Двое из стражи – наперерез ей. Сейчас – в пока еще ясной, зеркальной точке мостовой – их траектории пересекутся – сейчас ее схватят... Сердце у меня глотнуло, остановилось – и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо, разумно, – я кинулся в эту точку...

Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно-веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась – –

Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками лицо, рыжие брови... Не она! не I.

Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде: "Так ее!" "Держи ее!" – но слышу только свой шепот. А на плече у меня – уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им...

– Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это...

Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду... Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, развилку, сучок: так я цеплялся за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.

В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова. И знакомый, сплющенный голос:

– Я считаю долгом засвидетельствовать, что нумер Д-503 – болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием...

– Да, да, – ухватился я. – Я даже крикнул: держи ее!

Сзади, за плечами:

– Вы ничего не кричали.

– Да, но я хотел – клянусь Благодетелем, я хотел.

Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти) правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня – и я снова свободен, то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды.

Четырехугольник, и в нем веснущатое лицо и висок с географической картой голубых жилок – скрылись за углом, навеки. Мы идем – одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас – та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире – это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение – добродетель, а гордыня – порок, и что "МЫ" – от Бога, а "Я" – от диавола.

Вот я – сейчас в ногу со всеми – и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность – только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб – их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание – это только болезнь.

Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно по-

жирающий микробов (с голубым виском и веснущатых): я, быть может, микроб, и, может быть, их – уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами...

Что если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие – что если все это только начало, только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?

Запись 23-я.
Конспект:

ЦВЕТЫ. РАСТВОРЕНИЕ КРИСТАЛЛА. ЕСЛИ ТОЛЬКО.

Говорят, есть цветы, которые распускаются только раз в сто лет. Отчего же не быть и таким, какие цветут раз в тысячу – в десять тысяч лет. Может быть, об этом до сих пор мы не знали только потому, что именно сегодня пришло это раз-в-тысячу-лет.

И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро у меня на глазах, всюду кругом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступенях платок, столик дежурного, над столиком – нежно-коричневые, с крапинками, щеки Ю. Все – необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.

Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней – сквозь стекло стены – свешивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая. Я с торжеством показываю пальцем и говорю:

– Луна, – понимаете?

Ю взглядывает на меня, потом на нумер талона – и я вижу это ее знакомое, такое очаровательно-целомудренное движение: поправляет складки юнифы между углами колен.

– У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид – потому что ненормальность и болезнь одно и то же. Вы себя губите, и вам этого никто не скажет – никто.

Это "никто" – конечно, равняется нумеру на талоне: I-330. Милая, чудесная Ю! Вы, конечно, правы: я – неблагора-

зумен, я – болен, у меня – душа, я – микроб. Но разве цветение – не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид – страшнейший из микробов?

Я – наверху, у себя в комнате. В широко раскрытой чашечке кресла I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс... и так: я – кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани – я исчезаю, растворяюсь в ее коленях, в ней, я становлюсь все меньше – и одновременно все шире, все больше, все необъятней. Потому что она – это не она, а Вселенная. А вот на секунду я и это пронизанное радостью кресло возле кровати – мы одно: и великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего Дома, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебряные на черном развалины, дремлющие, как старуха, и где-то, невероятно далеко, сейчас хлопнувшая дверь – это все во мне, вместе со мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду...

В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я – кристалл, и потому во мне – дверь, и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыдно: я – и вдруг...

– Милая I, прости меня! Я совершенно не понимаю: я говорю такие глупости...

– Отчего же ты думаешь, что глупость – это нехорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.

– Да... (Мне кажется, она права – как она может сейчас быть неправа?)

– И за одну твою глупость – за то, что ты сделал вчера на прогулке – я люблю тебя еще больше – еще больше.

– Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходила, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня...

– А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу – что ты уж совсем мой?

– Да, совсем!

Она взяла мое лицо – всего меня – в свои ладони, подняла мою голову:

– Ну, а как же ваши "обязанности всякого честного нумера"? А?

Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла – как пчела: в ней жало и мед.

Да, обязанности... Я мысленно перелистываю свои последние записи: в самом деле, нигде даже и мысли о том, что в сущности я бы должен...

Я молчу. Я восторженно (и вероятно глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в каждом из них вижу себя: я – крошечный, миллиметровый – заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять – пчелы – губы, сладкая боль цветения...

В каждом из нас, нумеров, есть какой-то невидимый, тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точностью до 5 минут знаем время. Но тогда – метроном во мне остановился, я не знал, сколько прошло, в испуге схватил из-под подушки бляху с часами...

Слава Благодетелю: еще двадцать минут! Но минуты – такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нужно столько рассказать ей – все, всего себя: о письме О, и об ужасном вечере, когда я дал ей ребенка; и почему-то о своих детских годах – о математике Пляпе, о $\sqrt{-1}$, и как я в первый раз был на празднике Единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе – в такой день – оказалось чернильное пятно.

I подняла голову, оперлась на локоть. По углам губ – две длинные, резкие линии – и темный угол поднятых бровей: крест.

– Может быть, в этот день... – остановилась, и брови еще темнее. Взяла мою руку, крепко сжала ее. – Скажи, ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?

– Почему ты так? О чем ты? I, милая?

I молчала, и ее глаза уже – мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется – это было и все время, но услышал я только сейчас), и почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной Зеленой Стены.

I встряхнула головой, сбросила с себя что-то. Еще раз, секунду, коснулась меня вся – так аэро секундно, пружинно касается земли перед тем как сесть.

– Ну, давай мои чулки! Скорее!

Чулки – брошены у меня на столе, на раскрытой (193-й) странице моих записей. Второпях я задел за рукопись, страницы рассыпались и никак не сложить по порядку, а главное – если и сложить, все равно – не будет настоящего порядка, все равно – останутся какие-то пороги, ямы, иксы.

– Я не могу так, – сказал я. – Ты – вот – здесь, рядом, и будто все-таки за древней непрозрачной стеной: я слышу сквозь стены шорохи, голоса – и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то не договариваешь, ты ни разу не сказала мне, куда я тогда попал в Древнем Доме, и какие коридоры, и почему доктор – или, может быть, ничего этого не было?

I положила мне руки на плечи, медленно, глубоко вошла в глаза.

– Ты хочешь узнать все?

– Да, хочу. Должен.

– И ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца – куда бы я тебя ни повела?

– Да, всюду!

– Хорошо. Обещаю тебе: когда кончится праздник, если только... Ах, да: а как ваш "И н т е г р а л" – все забываю спросить – скоро?

– Нет: что "если только"? Опять? Что "если только"?

Она (уже у двери):

– Сам увидишь...

Я – один. Все, что от нее осталось, – это чуть слышный запах, похожий на сладкую, сухую, желтую пыль каких-то цветов из-за Стены. И еще: прочно засевшие во мне крючочки-вопросы – вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу (Доисторический Музей).

...Почему она вдруг об "И н т е г р а л е"?

Запись 24-ая.
Конспект:

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. ПАСХА. ВСЕ ЗАЧЕРКНУТЬ.

Я – как машина, пущенная на слишком большое число оборотов: подшипники накалились, еще минута – закапает

расплавленный металл, и все – в ничто. Скорее – холодной воды, логики. Я лью ведрами, но логика шипит на горячих подшипниках и расплывается в воздухе неуловимым белым паром.

Ну да, ясно: чтобы установить истинное значение функции – надо взять ее предел. И ясно, что вчерашнее нелепое "растворение во вселенной", взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть – именно полнейшее растворение меня во вселенной. Отсюда если через "Л" обозначим любовь, а через "С" смерть, то Л = f (С), то есть любовь и смерть...

Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь I, я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и "я не хочу" и "мне хочется"? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти. В том-то и ужас, что даже теперь, когда логическая функция проинтегрирована, когда очевидно, что она неявно включает в себя смерть, я все-таки хочу ее губами, руками, грудью, каждым миллиметром...

Завтра – День Единогласия. Там, конечно, будет и она, увижу ее, но только издали. Издали – это будет больно, потому что мне надо, меня неудержимо тянет, чтобы – рядом с ней, чтобы – ее руки, ее плечо, ее волосы... Но я хочу даже этой боли – пусть.

Благодетель великий! Какой абсурд – хотеть боли. Кому же непонятно, что болевые – отрицательные, слагаемые уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И следовательно...

И вот – никаких "следовательно". Чисто. Голо.

ВЕЧЕРОМ:

Сквозь стеклянные стены дома – ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало это розовое, перелистываю записи – и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею, – для вас, еще плетущихся где-то в далеких веках, внизу.

Вот – о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его – с детских лет. Мне кажется, для нас – это нечто вроде того, что для древних была их "Пасха". Помню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой календарик – с торжеством вычеркиваешь по одному часу: одним часом ближе,

на один час меньше ждать... Будь я уверен, что никто не увидит, – честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарик и следил по нем, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу – хоть издали...

(Помешали: принесли новую, только что из мастерской, юнифу. По обычаю нам всем выдают новые юнифы к завтрашнему дню. В коридоре – шаги, радостные возгласы, шум.)

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую Чашу Согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра – день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда – смешно сказать – даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую – что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем – ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы – говоря словами "Евангелия" древних – единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была все эта таинственность – до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже – преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я – и может ли быть иначе, раз

”все” и ”я” – это единое ”МЫ”. Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская ”тайна” у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство – от них самих. И наконец, еще одно...

Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа – женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду, смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора, во мне мгновенно все вчерашнее, и я не знаю, что ”наконец еще одно”, и не хочу об этом, не хочу! Я хочу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной – только со мной. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то, мне хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Потому что я знаю (пусть это кощунство, но это так) праздник – только с нею, только тогда, если она будет рядом, плечом к плечу. А без нее – завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо – выкрашенная синим жесть, и сам я...

Я хватаюсь за телефонную трубку:

– I, это вы?

– Да, я. Как вы поздно!

– Может быть, еще не поздно. Я хочу вас попросить... Я хочу, чтоб вы завтра были со мной. Милая...

”Милая” – я говорю совсем тихо. И почему-то мелькает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку положили под стотонный молот часы – размах, ветром в лицо – и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.

Пауза. Мне чудится, я слышу там – в комнате I – чей-то шепот. Потом ее голос:

– Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама... Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.

НОЧЬ.

Запись 25-ая.
Конспект:

СОШЕСТВИЕ С НЕБЕС. ВЕЛИЧАЙШАЯ В ИСТОРИИ КАТАСТРОФА. ИЗВЕСТНОЕ КОНЧИЛОСЬ.

Когда перед началом все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн – сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов – я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного, пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настежь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и, захлебываясь, выкричать все о себе. Пусть потом конец – пусть! – но одну секунду почувствовать себя чистым, бессмысленным, как это детски-синее небо.

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве – едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он – новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе – и все выше навстречу ему миллионы сердец – и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун – как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (– сияние блях); и в центре ее – сейчас сядет белый, мудрый Паук – в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес, медь гимна замолкла, все сели – и я тотчас же понял: действительно, все – тончайшая паутина, она натянута и дрожит, и вот-вот порвется и произойдет что-то невероятное...

Слегка привстав, я оглянулся кругом – и встретился взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку, и еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует другому. И вот – ответный сигнал

пальцем. И еще... Я понял: они, Хранители. Я понял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит. И во мне – как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио – ответная дрожь.

На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только мерные качанья гекзаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим – как страницы – и все еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а потом – –

Он – он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья-уши, темной, двоякоизогнутой петлей буквы S отразилось бегущее тело – он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун.

S, I – какая-то нить (между ними – для меня все время какая-то нить; я еще не знаю какая – но когда-нибудь я ее распутаю). Я уцепился за него глазами, он – клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот...

Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней – отвратительно-негрогубый, ухмыляющийся R-13.

Первая мысль – кинуться туда и крикнуть ей: "Почему ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?" Но невидимая, благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: это – острая, физическая боль в сердце; я, помню, подумал: "Если от нефизических причин – может быть физическая боль, то ясно, что – –"

Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается только – мелькнуло что-то о "душе", пронеслась бессмысленная древняя поговорка – "душа в пятки". И я замер: гекзаметр смолк. Сейчас начинается... Что?

Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание. Но сейчас оно не было тем, действительно молитвенным, благоговейным, как всегда: сейчас было, как у древних, когда еще не знали наших аккумуляторных башен, когда не прирученное небо еще бушевало время от времени "грозами". Сейчас было, как у древних перед грозой.

Воздух – из прозрачного чугуна. Хочется дышать широко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает: где-то сзади – мышино-грызущий, тревожный шепот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух – I и R – рядом, плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие – ненавистные мои – лохматые руки.

В руках у всех – бляхи с часами. Одна. Две. Три... Пять минут... с эстрады – чугунный, медленный голос:

– Кто "за" – прошу поднять руки.

Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше – прямо и преданно: "Вот я весь. Весь. Возьми меня!" Но теперь я не смел. Я с усилием – будто заржавели все суставы – поднял руку.

Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный "ах!" И я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал – что, и не было силы – я не смел посмотреть...

– Кто – "против"?

Это всегда был самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному игу Нумера из Нумеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох – он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно – а кругом у всех бледнеют лица, у всех – холодные капли на лбу.

Я поднял глаза – и...

Это – сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх – "против" – упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах потемнело.

Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем – как по знаку какого-то сумасшедшего дирижера – на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвеянных бегом юниф, растерянно мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами – возле каблуков чей-то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов – как на чудовищном экране.

И как на экране – где-то далеко внизу на секунду передо мной – побелевшие губы O: прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. И уже нет ее – смыта, или я забыл о ней, потому что...

Это уже не на экране – это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева, на скамье – вдруг выскочил R-13 – брызжущий, красный, бешеный. На руках у него – I, бледная, юнифа от плеча до груди разорвана, на белом – кровь. Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками – со скамьи на скамью – отвратительный и ловкий, как горилла, – уносил ее вверх.

Будто пожар у древних – все стало багровым – и только одно: прыгнуть, достать их. Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран, пропорол толпу – на чьи-то плечи – на скамьи – и вот уже близко, вот схватил за шиворот R:

– Не сметь! Не сметь, говорю. Сейчас же (к счастью, моего голоса не было слышно – все кричали свое, все бежали).

– Кто? Что такое? Что? – R обернулся, губы, брызгая, тряслись – он, вероятно, думал, что его схватил один из Хранителей.

– Что? А вот – не хочу, не позволю! Долой ее с рук – сейчас же!

Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я – мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется: я все же должен, должен записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни – тут я смаху ударил его по голове. Вы понимаете – ударил! Это я отчетливо помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.

I быстро соскользнула у него с рук.

– Уходите, – крикнула она R, – вы же видите: он... Уходите, R, уходите!

R, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.

Сердце во мне билось – огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную, горячую, такую радостную волну. И пусть там что-то разлетелось вдребезги – все равно! Только бы так вот нести ее, нести, нести...

ВЕЧЕРОМ. 22 ЧАСА:

Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая уста-

лость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в диком состоянии свободы – как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля? Против... в День Единогласия – против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем – кто "они"? И кто я сам: "они" или "мы" – разве я – знаю?

Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье – на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и ниже – начало чудесной невычислимой кривизны – открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь... нет, больше: она видит все это – но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы юнифа была застегнута, – она разорвала бы ее, она...

– А завтра... – она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. – А завтра – неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает – неизвестно! Ты понимаешь, что все известное – кончилось? Новое, невероятное, невиданное.

Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это – далеко, и все дальше, потому что она смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так – долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи-то непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было в другой раз).

– Слушай: если завтра не случится ничего особенного, – я поведу тебя туда – ты понимаешь?

Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я – растворился, я – бесконечно-малое, я – точка...

В конце концов – в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке – больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевельнуться – и она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.

Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? И мне кажется – все так же, как и я, боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись в свои стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу: по двое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся...

Что будет завтра? Во что я обращусь завтра?

Запись 26-ая.
Конспект:

МИР СУЩЕСТВУЕТ. СЫПЬ. 41°.

Утро. Сквозь потолок – небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Я думаю – меня меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеждах из звериной шерсти, каменные, непрозрачные стены. Так что же, стало быть, мир – н а ш м и р – еще существует? Или это только инерция, генератор уже выключен, а шестерни еще громыхают и вертятся – два оборота, три оборота – на четвертом замрут...

Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы проснулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете – заблудились, и скорее, скорее начинаете ощупывать кругом, искать что-нибудь знакомое и твердое – стену, лампочку, стул. Именно так я ощупывал, искал в Единой Государственной Газете – скорее, скорее – и вот:

"Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми День Единогласия. В 48-й раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую мудрость Благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья, которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами обновленного вчера фундамента Единого Государства. Всякому ясно, что принять в расчет их голоса было бы так же нелепо, как принять за часть великолепной, героической симфонии – кашель случайно присутствующих в концертном зале больных..."

О мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что – спасены? Но что же, в самом деле, можно возразить на этот кристальнейший силлогизм?

И дальше – еще две строки:

"Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро Административного, Бюро Медицинского и Бюро Хранителей. На днях предстоит важный Государственный акт".

Нет, еще стоят стены – вот они – я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько не удивитель-

но, что вижу синее небо, круглое солнце; и все – как обычно – отправляются на работу.

Я шел по проспекту особенно твердо и звонко – и мне казалось, так же шли все. Но вот перекресток, поворот за угол, и я вижу: все как-то странно, стороной огибают угол здания – будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти.

Еще пять, десять шагов – и меня тоже облило холодной водой, качнуло, сшибло с тротуара... На высоте примерно 2-х метров на стене – четырехугольный листок бумаги, и оттуда – непонятные – ядовито-зеленые буквы:

МЕФИ.

А внизу S-образно изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья-уши. Поднявши вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую – как больное, подбитое крыло, он подпрыгивал вверх – сорвать бумажку – и не мог, не хватало вот столько.

Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль: "Если подойду я, один из всех – не подумает ли он: я в чем-нибудь виноват и именно потому хочу..."

Сознаюсь: та же мысль была и у меня. Но я вспомнил, сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем, сколько раз он спасал меня – и смело подошел, протянул руку, сорвал листок.

S оборотился, быстро-быстро буравчики в меня, на дно, что-то достал оттуда. Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висело "Мефи". И мне мелькнул хвостик его улыбки – к моему удивлению, как будто даже веселой. А впрочем, чего же удивляться. Томительной, медленно подымающейся температуре инкубационного периода – врач всегда предпочтет сыпь и сорокаградусный жар: тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. "Мефи", высыпавшее сегодня на стенах – это сыпь. Я понимаю его улыбку*...

Спуск в подземку – и под ногами, на непорочном стекле ступеней – опять белый листок: "Мефи". И на стене внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне (видимо, наклеено наспех – небрежно, криво) – везде та же самая белая, жуткая сыпь.

---

* Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней, доверху набитых событиями самыми странными и неожиданными.

В тишине – явственное жужжание колес, как шум воспаленной крови. Кого-то тронули за плечо – он вздрогнул, уронил сверток с бумагами. И слева от меня – другой: читает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду – в колесах, руках, газетах, ресницах – пульс все чаще, и, может быть, сегодня, когда я с I попаду туда – будет 39, 40, 41 градус – отмеченные на термометре черной чертой...

На эллинге – такая же, жужжащая далеким, невидимым пропеллером, тишина. Станки молча, насупившись, стоят. И только краны, чуть слышно, будто на цыпочках, скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны "И н т е г р а л а": мы уже готовим его к пробному полету.

– Ну что: в неделю кончим погрузку?

Это я – Второму Строителю. Лицо у него – фаянс, расписанный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками (глаза, губы), но они сегодня – какие-то линялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и стою, разинув рот: высоко под куполом на поднятой краном голубой глыбе – чуть заметный белый квадратик – наклеена бумажка. И меня всего трясет – может быть, от смеха – да, я сам слышу, как я смеюсь (знаете ли вы это, когда вы сами слышите свой смех?).

– Нет, слушайте... – говорю я. – Представьте, что вы на древнем аэроплане, альтиметр 5000 метров, сломалось крыло, вы турманом вниз, и по дороге высчитываете: "Завтра – от 12 до 2-х... от 2-х до 6... в 6 обед..." Ну не смешно ли? А ведь мы сейчас – именно так!

Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что если б я был стеклянный и он видел, что через каких-нибудь 3-4 часа...

Запись 27-ая.
Конспект:

НИКАКОГО КОНСПЕКТА – НЕЛЬЗЯ.

Я один в бесконечных коридорах – тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь – и оттуда глухой гул.

Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого.

На секунду – прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Еще – последние пять минут, и если она не выйдет – –

Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклее, тусклее...

Вдруг сзади – торопливо брякнула дверь, быстрый топот, мягко отскакивающий от потолка, от стен, – и она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.

– Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала: ты-ты...

Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь – и... Как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый, чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот, все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да, в душе – смейтесь, если хотите.

Она с усилием, медленно подымает веки – и с трудом, медленно слова:

– Нет, довольно... после: сейчас – пойдем.

Дверь открылась. Ступени – стертые, старые. И нестерпимо пестрый гам, свист, свет...

* * *

С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже несколько отстоялось – и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближенно-точное описание. В голове – как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья, крики, листья, слова, камни – рядом, кучей, одно за другим...

Я помню – первое у меня было: "Скорее, сломя голову, назад". Потому что мне ясно: пока я там, в коридорах, ждал – они как-то взорвали или разрушили Зеленую Стену – и оттуда все ринулось и захлестнуло наш очищенный от низшего мира город.

Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал I. Она засмеялась:

– Да нет же! Просто мы вышли за Зеленую Стену...

Тогда я раскрыл глаза – и лицом к лицу со мной, наяву – то самое, чего до сих пор не видел никто из живых иначе, как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затушеванное мутным стеклом Стены.

Солнце... это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрестанно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья, как свечки, – в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зеленые фонтаны... И все это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я – прикован, я не могу ни шагу – потому что под ногами не плоскость – понимаете, не плоскость – а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое.

Я был оглушен всем этим, я захлебнулся – это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качающийся сук.

– Ничего, ничего! Это – только сначала, это пройдет. Смелее!

Рядом с I – на зеленой, головокружительно-прыгающей сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль... нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор – нет, нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там – карканье, мох, кочки, клекот, сучья, стволы, крылья, листья, свист...

И – деревья разбежались, яркая поляна, на поляне – люди... или уж я не знаю как: может быть правильней – существа.

Тут – самое трудное. Потому что э т о выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего I всегда так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил – даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе – вот этой своей записи.

На поляне, вокруг голого, похожего на череп камня – шумела толпа в триста-четыреста... человек – пусть – "человек", мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда – и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди – по-видимому, люди. Все они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью – вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле

в Доисторическом Музее. Но у самок – были лица точно такие – да, да, точно такие же – как и у наших женщин: нежно-розовые и не заросшие волосами, и у них свободны от волос были также груди – крупные, крепкие, прекрасной геометрической формы. У самцов, без шерсти была только часть лица – как у наших предков.

Это было до такой степени невероятно, до такой степени неожиданно, что я спокойно стоял – положительно утверждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузите одну чашку – и потом можете класть туда уже сколько угодно – стрелка все равно не двинется...

Вдруг – один: I уже со мной нет – не знаю, как и куда она исчезла. Кругом – только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое, вороное плечо:

– Послушайте – ради Благодетеля – вы не видали – куда она ушла? Вот только сейчас – вот сию минуту...

На меня – косматые, строгие брови:

– Ш-ш-ш! Тише, – и космато кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень.

Там, наверху, над головами, над всеми – я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она – на синем полотне неба – резкая, угольно-черная, угольный силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так: будто не облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и поляна – неслышно скользят, как корабль, и легкая – уплывает земля под ногами...

– Братья... – это она. – Братья! Вы все знаете: Там, за Стеною, в городе – строят "И н т е г р а л". И вы знаете: пришел день, когда мы разрушим эту Стену – все стены – чтобы зеленый ветер из конца в конец – по всей земле. Но "И н т е г р а л" унесет эти стены туда, вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями сквозь черные ночные листья...

Об камень – волны, пена, ветер:

– Долой "И н т е г р а л"! Долой!

– Нет, братья: не долой. Но "И н т е г р а л" должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо – на нем будем мы. Потому что с нами Строитель "И н т е г р а л а". Он покинул стены, он пришел со мной сюда, чтобы быть среди вас. Да здравствует Строитель!

Миг – и я где-то наверху, подо мною – головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя над всеми, я – был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.

И вот я – с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом – внизу, около самого камня. Солнце, голоса сверху – улыбка I. Какая-то золотоволосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней – чаша, по-видимому, из дерева. Она отпивает красными губами – и подает мне, и я жадно, закрывши глаза, пью, чтоб залить огонь – пью сладкие, колючие, холодные искры.

А затем – кровь во мне и весь мир – в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне – легко, просто, ясно.

Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: ”Мефи” – и почему-то это так нужно, это – простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение – может быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце – ослепительный, малиново-тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то: чувствую его – так же как не слыша, чувствую каждое слово (она говорит сверху, с камня) – и чувствую, что все дышут вместе – и всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над Стеной...

Сзади, из густо дышащей чащи тел – громкий голос:

– Но это же безумие!

И кажется я – да, думаю, что это был именно я – вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем – зеленая зубчатая пила, и я кричу:

– Да, да, именно! И надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума – как можно скорее! Это необходимо – я знаю.

Рядом – I; ее улыбка, две темных черты – от краев рта вверх, углом; и во мне – уголь, и это – мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно...

Потом – только застрявшие, разрозненные осколки.

Медленно, низко – птица. Я вижу: она – живая, как я, она, как человек, поворачивает голову вправо, влево, и в меня ввинчиваются черные, круглые глаза...

Еще: спина – с блестящей, цвета старой слоновой кости,

шерстью. По спине ползет темное, с крошечными, прозрачными крыльями насекомое – спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, еще раз вздрагивает...

Еще: от листьев тень – плетеная, решетчатая. В тени лежат и жуют что-то похожее на легендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Женщина сует это мне в руку, и мне смешно: я не знаю, могу ли я это есть.

И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают на секунду лица – и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду – или, может быть, это только мне кажется – прозрачные, летящие крылья-уши.

Я из всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:

– Что ты?

– Он здесь... Мне показалось...

– Кто он?

– S... Вот только сейчас – в толпе...

Угольно-черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый треугольник, улыбка. Мне неясно: почему она улыбается – как она может улыбаться?

– Ты не понимаешь – I, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них – здесь.

– Смешной! Разве кому-нибудь там, за Стеною, придет в голову, что мы – здесь. Вспомни: вот ты – разве ты когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там – пусть ловят! Ты – бредишь.

Она улыбается легко, весело, и я улыбаюсь, земля – пьяная, веселая, легкая – плывет...

Запись 28-ая.
Конспект:

ОБЕ. ЭНТРОПИЯ И ЭНЕРГИЯ. НЕПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА.

Вот: если ваш мир подобен миру наших далеких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света – какую-нибудь Атлантиду, и там – небывалые города-лабиринты, люди, парящие в воздухе без помощи крыльев, или аэро, камни, подымаемые вверх си-

лою взгляда, – словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете сноболезнью. Вот так же и я вчера. Потому что – поймите же – никто и никогда из нас со времени Двухсотлетней Войны не был за Стеною – я уже говорил вам об этом.

Я знаю: мой долг перед вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожиданном мире, открывшемся мне вчера. Но пока я не в состоянии вернуться к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий, и меня не хватает, чтобы собрать все: я подставляю полы, пригоршни – и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли...

Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса – и узнал ее голос, I, упругий, металлический – и другой, почти негнувшийся – как деревянная линейка – голос Ю. Затем дверь разверзлась с треском и выстрелила их обеих ко мне в комнату. Именно так: выстрелила.

I положила руку на спинку моего кресла и через плечо, вправо – одними зубами улыбалась той. Я не хотел бы стоять под этой улыбкой.

– Послушайте, – сказала мне I, – эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня, как малого ребенка. Это – с вашего разрешения?

И тогда – другая, вздрагивая жабрами:

– Да он и есть ребенок. Да! Только потому он и не видит, что вы с ним все это – только затем, чтобы... что все это – комедия. Да! И мой долг...

На миг в зеркале – сломанная, прыгающая прямая моих бровей. Я вскочил и, с трудом удерживая в себе того – с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом протискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор – в самые жабры:

– С-сию же с-секунду – вон! Сию же секунду!

Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посерели. Она раскрыла рот что-то сказать и, ничего не сказав, – захлопнулась, вышла.

Я бросился к I:

– Я не прощу – я никогда себе этого не прощу! Она смела – тебя? Но ты же не можешь думать, что я думаю, что... что она... Это все потому, что она хочет записаться на меня, а я...

– Записаться она, к счастью, не успеет. И хоть тысячу таких, как она: мне все равно. Я знаю – ты поверишь не тысяче,

но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего – я перед тобой вся, до конца, как ты хотел. Я – в твоих руках, ты можешь – в любой момент...

– Что – в любой момент – и тотчас же понял – ч т о, кровь брызнула в уши, в щеки, я крикнул: – Не надо об этом, никогда не говори мне об этом! Ведь ты же понимаешь, что это – тот я, прежний, а теперь...

– Кто тебя знает... Человек – как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать...

I гладит меня по голове. Лица ее мне не видно, но по голосу слышу: смотрит сейчас куда-то очень далеко, зацепилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно, неизвестно куда...

Вдруг отстранила меня рукой – твердо и нежно:

– Слушай: я пришла сказать тебе, что может быть – мы уже последние дни... Ты знаешь: с сегодняшнего вечера отменены все аудиториумы.

– Отменены?

– Да. И я шла мимо – видела: в зданиях аудиториумов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом.

– Но что же это значит?

– Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже всего. Я только чувствую: включили ток, искра бежит – и не нынче, так завтра... Но, может быть, они не успеют.

Я уж давно перестал понимать: кто – они, и кто – мы. Я не понимаю, чего я хочу: чтобы успели – или не успели. Мне ясно только одно: I сейчас идет по самому краю – и вот-вот...

– Но это безумие, – говорю я. – Вы – и Единое Государство. Это все равно, как заткнуть рукою дуло – и думать, что можно удержать выстрел. Это – совершенное безумие!

Улыбка:

– "Надо всем сойти с ума – как можно скорее сойти с ума". Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там...

Да, это у меня записано. И следовательно, это было на самом деле. Я молча смотрю на ее лицо: на нем сейчас особенно явственно – темный крест.

– I, милая, – пока еще не поздно... Хочешь – я брошу все, забуду все – и уйдем с тобою туда, за Стену – к этим... я не знаю, кто они.

Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз – там, внутри у ней, я видел, пылает печь, искры, языки огня вверх, навалены горы сухих, смоляных дров. И мне ясно: поздно уже, мои слова уже ничего не могут...

Встала – сейчас уйдет. Может быть – уже последние дни, может быть – минуты... Я схватил ее за руку.

– Нет! Еще хоть немного – ну, ради... ради...

Она медленно поднимала вверх, к свету, мою руку – мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел выдернуть, но она держала крепко.

– Твоя рука... Ведь ты не знаешь – и немногие это знают, что женщинам отсюда, из города, случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и – –

Пауза – и как странно: от паузы, от пустоты, от ничего – так несется сердце. И я кричу:

– Ага! Ты еще не уйдешь! Ты не уйдешь – пока мне не расскажешь о них – потому что ты любишь... их, а я даже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина, какую мы потеряли, H_2 и O – а чтобы получилось H_2O – ручьи, моря, водопады, волны, бури – нужно, чтобы половины соединились...

Я отчетливо помню каждое ее движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник и все время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке – на щеке выступал белый рубец, потом наливался розовым, исчезал. И удивительно: я не могу вспомнить ее слов – особенно вначале – и только какие-то отдельные образы, цвета.

Знаю: сперва это было – о Двухсотлетней Войне. И вот – красное на зелени трав, на темных глинах, на синеве снегов – красные, непросыхающие лужи. Потом желтые, сожженные солнцем травы, голые, желтые, всклокоченные люди – и всклокоченные собаки – рядом, возле распухшей падали, собачьей, или, может быть, человечьей... Это конечно – за стенами: потому что город – уже победил, в городе уже наша теперешняя – нефтяная пища.

И почти с неба донизу – черные, тяжелые складки, и складки колышутся: над лесами, над деревнями медленные столбы, дым. Глухой вой: гонят в город черные бесконечные вереницы – чтобы силою спасти их и научить счастью.

– Ты все это почти знал?

– Да, почти.

— Но ты не знал и только немногие знали, что небольшая часть их все же уцелела и осталась жить там, за Стенами. Голые — они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую, красную кровь. С вами хуже: вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мефи, — мы хотим...

— Нет, подожди — а "Мефи"? Что такое "Мефи"?

— Мефи? Это — древнее имя, это — тот, который... Ты помнишь: там, на камне — изображен юноша... Или нет: я лучше на твоем языке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии — наши или, вернее, — ваши предки, христиане, поклонялись как Богу. А мы, антихристиане, мы...

И вот момент — чуть слышный, шепотом, стук в дверь — и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобученным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от I.

Он подбежал к нам, остановился, сопел — как воздушный насос — и не мог сказать ни слова: должно быть, бежал во всю мочь.

— Да ну же! Что случилось? — схватила его за руку I.

— Идут — сюда... — пропыхтел, наконец, насос. — Стража... и с ними этот — ну, как это... вроде горбатенького...

— S?

— Ну да! Рядом — в доме. Сейчас будут здесь. Скорее, скорее!

— Пустое! Успеется... — смеялась, в глазах — искры, веселые языки.

Это — или нелепое, безрассудное мужество — или тут было что-то еще непонятное мне.

— I, ради Благодетеля! Пойми же — ведь это...

— Ради Благодетеля, — острый треугольник — улыбка.

— Ну... ну, ради меня... Прошу тебя.

— Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле... Ну, все равно: завтра...

Она весело (да: весело) кивнула мне; кивнул и тот — высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса. И я — один.

Скорее – за стол. Развернул свои записи, взял перо – чтобы о н и нашли меня за этой работой на пользу Единого Государства. И вдруг – каждый волос на голове живой, отдельный и шевелится: "А что если возьмут и прочтут хотя бы одну страницу – из этих, из последних?"

Я сидел за столом, не двигаясь, – и я видел, как дрожали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сливаясь, буквы...

Спрятать? Но куда: все – стекло. Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат – увидят. И потом я уже не могу, не в силах истребить этот мучительный – и может быть самый дорогой мне – кусок самого себя.

Издали – в коридоре – уже голоса, шаги. Я успел только схватить пачку листов, сунуть их под себя – и вот теперь прикованный к колеблющемуся каждым атомом креслу, и пол под ногами – палуба, вверх и вниз...

Сжавшись в комочек, забившись под навес лба – я както исподлобья, крадучись, видел: они шли из комнаты в комнату, начиная с правого конца коридора, и все ближе. Одни сидели застывшие, как я; другие – вскакивали им навстречу и широко распахивали дверь – счастливцы! Если бы я тоже...

– "Благодетель – есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме Единого Государства никакая перистальтика..." – я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу и нагибался над столом все ниже, а в голове – сумасшедшая кузница, и спиною я слышал – брякнула ручка двери, опахнуло ветром, кресло подо мною заплясало...

Только тогда я с трудом оторвался от страницы и повернулся к вошедшим (как трудно играть комедию... ах, кто мне сегодня говорил о комедии?). Впереди был S – мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во мне, в моем кресле, во вздрагивающих у меня под рукой листках. Потом на секунду – какие-то знакомые, ежедневные лица на пороге, и вот от них отделилось одно – раздувающиеся, розово-коричневые жабры...

Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса назад, и мне было ясно, что она сейчас – – Все мое существо билось и пульсировало в той (к счастью, непрозрачной) части тела, какою я прикрыл рукопись.

Ю подошла сзади к нему, к S, осторожно тронула его за рукав – и негромко сказала:

– Это – Д-503, Строитель "И н т е г р а л а". Вы, наверное, слышали? Он – всегда вот так, за столом... Совершенно не щадит себя!

...А я-то? Какая чудесная, удивительная женщина.

S заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо – над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул:

– Прошу сейчас же показать мне, что у вас там!

Я, весь полыхая от стыда, подал ему листок. Он прочитал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком, присела где-то в правом углу рта...

– Несколько двусмысленно, но все-таки... Что же, продолжайте: мы больше не будем вам мешать.

Он зашлепал – как плицами по воде – к двери, и с каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги, руки, пальцы – душа снова равномерно распределялась по всему телу, я дышал...

Последнее: Ю задержалась у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху – и шепотом:

– Ваше счастье, что я...

Непонятно: что она хотела этим сказать?

Вечером, позже, узнал: они увели с собой троих. Впрочем, вслух об этом, равно как и о всем происходящем, никто не говорит (– воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде Хранителей). Разговоры – главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.

Запись 29-ая.
Конспект:

НИТИ НА ЛИЦЕ. РОСТКИ. ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ КОМПРЕССИЯ.

Странно: барометр идет вниз, а ветра все еще нет, тишина. Там, наверху, уже началась – еще неслышная нам – буря. Во весь дух несутся тучи. Их пока мало – отдельные зубчатые

обломки. И так: будто наверху уже низринут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен, растут на глазах с ужасающей быстротой – все ближе – но еще дни им лететь сквозь голубую бесконечность, пока не рухнут на дно, к нам, вниз.

Внизу – тишина. В воздухе – тонкие, непонятные, почти невидимые нити. Их каждую осень приносят оттуда, из-за Стены. Медленно плывут – и вдруг вы чувствуете: что-то постороннее, невидимое у вас на лице, вы хотите смахнуть – и нет: не можете, никак не отделаться...

Особенно много этих нитей – если идти около Зеленой Стены, где я шел сегодня утром: I назначила мне увидеться с нею в Древнем Доме – в той, нашей "квартире".

Я уже миновал громаду Древнего Дома, когда сзади услышал чьи-то мелкие, торопливые шаги, частое дыхание. Оглянулся – и увидал: меня догоняла О.

Вся она была как-то по-особенному, законченно, упруго кругла. Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас прорвет тонкую материю – и наружу, на солнце, на свет. Мне представляется: там, в зеленых дебрях, весною так же упрямо пробиваются сквозь землю ростки – чтобы скорее выбросить ветки, листья, скорее цвести.

Несколько секунд она молчала, сине сияла мне в лицо.

– Я видела вас – тогда, в День Единогласия.

– Я тоже вас видел... – И сейчас же мне вспомнилось, как она стояла внизу, в узком проходе, прижавшись к стене и закрыв живот руками. Я невольно посмотрел на ее круглый под юнифой живот.

Она, очевидно, заметила – вся стала кругло-розовая, и розовая улыбка:

– Я так счастлива – так счастлива... Я полна – понимаете: вровень с краями. И вот – хожу и ничего не слышу, что кругом, а все слушаю внутри, в себе...

Я молчал. На лице у меня – что-то постороннее, оно мешало – и я никак не мог от этого освободиться. И вдруг неожиданно, еще синее сияя, она схватила мою руку – и у себя на руке я почувствовал ее губы... Это – первый раз в моей жизни. Это была какая-то неведомая мне до сих пор древняя ласка, и от нее – такой стыд и боль, что я (пожалуй, даже грубо) выдернул руку.

– Слушайте – вы с ума сошли! И не столько это – вооб-

ще вы... Чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет? Не сейчас – так все равно через месяц, через два месяца...

Она – потухла; все круги – сразу прогнулись, покоробились. А у меня в сердце – неприятная, даже болезненная компрессия, связанная с ощущением жалости (сердце – не что иное, как идеальный насос; компрессия, сжатие – засасывание насосом жидкости – есть технический абсурд; отсюда ясно: насколько в сущности абсурдны, противоестественны, болезненны все "любви", "жалости" и все прочее, вызывающее такую компрессию).

Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены – слева. Темно-красная громада – впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей – как мне кажется, блестящую идею.

– Стойте! Я знаю, как спасти вас. Я избавлю вас от этого: увидать своего ребенка – и затем умереть. Вы сможете выкормить его – понимаете – вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться, как плод...

Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня.

– Вы помните ту женщину... ну, тогда, давно, на прогулке. Так вот: она сейчас здесь, в Древнем Доме. Идемте к ней, и ручаюсь: я все устрою немедля.

Я уже видел, как мы вдвоем с I ведем ее коридорами – вот она уже там, среди цветов, трав, листьев... Но она отступила от меня назад, рожки розового ее полумесяца дрожали и изгибались вниз.

– Это – та самая, – сказала она.

– То есть... – я почему-то смутился. – Ну да: та самая.

– И вы хотите, чтобы я пошла к ней – чтобы я просила ее – чтобы я... Не смейте больше никогда мне об этом!

Согнувшись, она быстро пошла от меня. Будто еще что-то вспомнила – обернулась и крикнула:

– И умру – да, пусть! И вам никакого дела – не все ли вам равно?

Тишина. Падают сверху, с ужасающей быстротой растут на глазах – куски синих башен и стен, но им еще часы – может быть дни – лететь сквозь бесконечность; медленно плывут невидимые нити, оседают на лицо – и никак их не стряхнуть, никак не отделаться от них.

Я медленно иду к Древнему Дому. В сердце – абсурдная, мучительная компрессия...

Запись 30-ая.
Конспект:

ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО. ОШИБКА ГАЛИЛЕЯ. НЕ ЛУЧШЕ ЛИ?

Вот мой разговор с I – там, вчера, в Древнем Доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума – красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета... И все время – под застывшей на мраморе улыбкой курносого древнего поэта.

Я воспроизвожу этот разговор буква в букву – потому что он, как мне кажется, будет иметь огромное, решающее значение для судьбы Единого Государства – и больше: Вселенной. И затем – здесь вы, неведомые мои читатели, быть может найдете некоторое оправдание мне...

I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:

– Я знаю: послезавтра у вас – первый, пробный полет "И н т е г р а л а". В этот день – мы захватим его в свои руки.

– Как? Послезавтра?

– Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен, наудачу взятых вчера Хранителями, – попало 12 Мефи. И упустить два-три дня – они погибнут.

Я молчал.

– Чтобы наблюдать за ходом испытания – к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в 12 – запомни – когда прозвонят к обеду и все пройдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой – и "И н т е г р а л" наш... Ты понимаешь: это нужно во что бы то ни стало. "И н т е г р а л" в наших руках – это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэро... ха! Это будет просто ничтожная мошкара против коршуна. И потом: если уж это будет неизбежно – можно будет направить вниз дула двигателей и одной только их работой...

Я вскочил:

– Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете – это революция?

– Да, революция! Почему же это нелепо?

– Нелепо – потому что революции не может быть. Потому что наша – это не ты, а я говорю – наша революция была

последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...

Насмешливый, острый треугольник бровей:

– Милый мой: ты – математик. Даже – больше: ты философ – от математики. Так вот: назови мне последнее число.

– То есть? Я... я не понимаю: какое – последнее?

– Ну – последнее, верхнее, самое большое.

– Но, I, – это же нелепо. Раз число чисел – бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

– А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней – нет, революции – бесконечны. Последняя – это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо – чтобы дети спокойно спали по ночам...

– Но какой смысл – какой же смысл во всем этом – ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы?

– Положим... Ну хорошо: пусть даже так. А что дальше?

– Смешно! Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи что-нибудь детям – все до конца, а они все-таки непременно спросят: а дальше, а зачем?

– Дети – единственно смелые философы. И смелые философы – непременно дети. Именно так, как дети, всегда и надо: а что дальше?

– Ничего нет дальше! Точка. Во всей вселенной – равномерно, повсюду – разлито...

– Ага: равномерно, повсюду! Вот тут она самая и есть – энтропия, психологическая энтропия. Тебе, математику, – разве не ясно, что только разности – разности – температур, только тепловые контрасты – только в них жизнь. А если всюду, по всей вселенной, одинаково теплые – или одинаково прохладные тела... Их надо столкнуть – чтобы огонь, взрыв, геенна. И мы – столкнем.

– Но, I, – пойми же, пойми: наши предки – во время Двухсотлетней Войны – именно это и сделали...

– О, и они были правы – тысячу раз правы. У них только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть последнее число – какого нет в природе, нет. Их ошибка – ошибка Галилея: он был прав, что земля движется вокруг солнца, но он не знал, что вся солнечная система – движется еще вокруг какого-то центра, он не знал, что настоящая, не относительная, орбита земли – вовсе не наивный круг...

– А вы?

— А мы — пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет: даже наверное — забудем, когда состаримся — как неминуемо старится все. И тогда мы — тоже неизбежно вниз — как осенью листья с дерева — как послезавтра вы... Нет, нет, милый, — не ты. Ты же — с нами, ты — с нами!

Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая — я никогда еще не видел ее такой — она обняла меня собою, вся. Я исчез...

Последнее — глядя прочно, твердо в глаза мне:

— Так помни же: в 12.

И я сказал:

— Да, я помню.

Ушла. Я один — среди буйного, разноголосого гама — синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых...

Да, в 12... — и вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо — чего никак не смахнуть. Вдруг — вчерашнее утро, Ю — и то, что она кричала тогда в лицо I... Почему? Что за абсурд.

Я поторопился выйти наружу — и скорее домой, домой...

Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над Стеной. А впереди, в закатном солнце — из малинового кристаллизованного огня — шары куполов, огромные пылающие кубы-дома, застывшей молнией в небе — шпиц аккумуляторной башни. И все это — всю эту безукоризненную, геометрическую красоту — я должен буду сам, своими руками... Неужели — никакого выхода, никакого пути?

Мимо какого-то аудиториума (нумер его не помню). Внутри — грудой сложены скамьи; посредине — столы, покрытые простынями из белоснежного стекла; на белом — пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто какое-то неведомое — потому жуткое — завтра. Это противоестественно: мыслящему — зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных, иксов. Вот если бы вам завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, спотыкаться, и вы знаете, что где-то тут вот совсем близко — край, один только шаг — и от вас останется только сплющенный, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же самое?

...А что если не дожидаясь — самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?

Запись 31-ая.
Конспект:

ВЕЛИКАЯ ОПЕРАЦИЯ. Я ПРОСТИЛ ВСЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ.

Спасены! В самый последний момент, когда уже казалось – не за что ухватиться, казалось – уже все кончено...

Так: будто вы по ступеням уже поднялись к грозной Машине Благодетеля, и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни, – скорее – глотаете глазами синее небо...

И вдруг: все это – только "сон". Солнце – розовое и веселое, и стена – такая радость погладить рукой холодную стену – и подушка – без конца упиваться ямкой от вашей головы на белой подушке...

Вот приблизительно то, что пережил я, когда сегодня утром прочитал Государственную Газету. Был страшный сон, и он кончился. А я, малодушный, я, неверующий, – я думал уже о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас читать последние, написанные вчера, строки. Но все равно: пусть, пусть они останутся, как память о том невероятном, что могло быть – и чего уже не будет... да, не будет!..

На первой странице Государственной Газеты сияло:

"Радуйтесь,

Ибо отныне вы – совершенны! До сего дня ваши же детища, механизмы – были совершеннее вас.

Чем?

Каждая искра динамо – искра чистейшего разума; каждый ход поршня – непорочный силлогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас?

Философия у кранов, прессов и насосов – закончена и ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия менее циркульна?

Красота механизма – в неуклонном и точном, как маятник, ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тэйлора, – не стали маятниково-точны?

И только одно:

У механизмов нет фантазии.

Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра – расплывалась далекая, бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали?

Нет!

А у вас – краснейте! – Хранители все чаще видят эти улыбки и вздохи. И – прячьте глаза – историки Единого Государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий.

Но это не ваша вина – вы больны. Имя этой болезни:

фантазия.

Это – червь, который выгрызает черные морщины на лбу. Это – лихорадка, которая гонит вас бежать все дальше – хотя бы это "дальше" начиналось там, где кончается счастье. Это – последняя баррикада на пути к счастью.

И радуйтесь: она уже взорвана.

Путь свободен.

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии – жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка X-лучами – и вы излечены от фантазии –

навсегда.

Вы – совершенны, вы – машиноравны, путь к стопроцентному счастью – свободен. Спешите же все – стар и млад – спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите в аудиториумы, где производится Великая Операция. Да здравствует Великая Операция! Да здравствует Единое Государство, да здравствует Благодетель!"

...Вы – если бы вы читали все это не в моих записях, похожих на какой-то древний, причудливый роман, – если бы у вас в руках, как у меня, дрожал вот этот еще пахнущий крас-

кой газетный лист – если бы вы знали, как я, что все это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя – разве не чувствовали бы вы то же самое, что я? Разве – как у меня сейчас – не кружилась бы у вас голова? Разве – по спине и рукам – не бежали бы у вас эти жуткие, сладкие ледяные иголочки? Разве не казалось бы вам, что вы – гигант, Атлас – и если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок?

Я схватил телефонную трубку:

– I-330... Да, да: 330, – и потом, захлебываясь, крикнул: – Вы дома, да? Вы читали – вы читаете? Ведь это же, это же... Это изумительно!

– Да... – долгое, темное молчание. Трубка чуть слышно жужжала, думала что-то... – Мне непременно надо вас увидеть сегодня. Да, у меня после 16. Непременно.

Милая! Какая-какая милая! "Непременно"... Я чувствовал: улыбаюсь – и никак не могу остановиться, и так вот понесу по улице эту улыбку – как фонарь, высоко над головой...

Там, снаружи на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой – все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи – пусть: вам не затемнить солнца – мы навеки приковали его цепью к зениту – мы, Иисусы Навины.

На углу – плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипши лбами в стекло стены. Внутри на ослепительно белом столе уже лежал один. Виднелись из-под белого развернутые желтым углом босые подошвы, белые медики – нагнулись к изголовью, белая рука – протянула руке наполненный чем-то шприц.

– А вы – что ж не идете, – спросил я – никого, или вернее, всех.

– А вы, – обернулся ко мне чей-то шар.

– Я – потом. Мне надо еще сначала...

Я, несколько смущенный, отошел. Мне действительно сначала надо было увидеть ее, I. Но почему "сначала" – я не мог ответить себе...

Эллинг. Голубовато-ледяной, посверкивал, искрился "И н т е г р а л". В машинном гудела динамо – ласково, одно и то же какое-то слово повторяя без конца – как будто мое, знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную холодную трубу двигателя. Милая... какая – какая милая. Завтра ты – ожи-

вешь, завтра – первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоем чреве...

Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы все оставалось как вчера? Если бы я знал, что завтра в 12 – я предам его... да, предам...

Осторожно – за локоть сзади. Обернулся: тарелочное, плоское лицо Второго Строителя.

– Вы уже знаете, – сказал он.

– Что? Операция? Да, не правда ли? Как – все, все – сразу...

– Да нет, не то: пробный полет отменили, до послезавтра. Все из-за Операции этой... Зря гнали, старались...

"Все из-за Операции"... Смешной, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что не будь Операции – завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену...

У меня в комнате, в 15.30. Я вошел – и увидел Ю. Она сидела за моим столом – костяная, прямая, твердая – утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже давно: потому что когда вскочила навстречу мне – на щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев.

Одну секунду во мне – то самое несчастное утро, и вот здесь же, возле стола – она рядом с I, разъяренная... Но только секунду – и сейчас же смыто сегодняшним солнцем. Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рассеянности повернули выключатель – лампочка загорелась, но как будто ее и нет – такая смешная, бедная, ненужная...

Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил все – она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их и, взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, щеками, – сказала:

– Я ждала... я только на минуту... я только хотела сказать: как я счастлива, как я рада за вас! Вы понимаете: завтра-послезавтра – вы совершенно здоровы, вы заново – родились...

Я увидел на столе листок – последние две страницы вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера – так и лежали. Если бы она видела, что я писал там... Впрочем все равно: теперь это – только история, теперь это – до смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль...

– Да, – сказал я, – и знаете: вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек, и от него – тень на мостовой. И

понимаете: тень – светится. И мне кажется – ну вот я уверен – завтра совсем не будет теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце – сквозь все...

Она – нежно и строго:

– Вы – фантазер! Детям у меня в школе – я бы не позволила говорить так...

И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, повела на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что "любить – нужно беспощадно, да беспощадно", и что она, кажется, наконец решится...

Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, быстро – обклеила всего меня улыбкой, ушла.

И – к счастью, солнце сегодня еще не остановилось, солнце бежало, и вот уже 16, я стучу в дверь – сердце стучит...

– Войдите!

На пол – возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голову вверх, смотреть в глаза – поочередно, в один и в другой – и в каждом видеть себя – в чудесном плену...

А там, за стеною, буря, там – тучи все чугуннее: пусть! В голове – тесно, буйные – через край – слова, и я вслух вместе с солнцем лечу куда-то... нет, т е п е р ь мы уже знаем, куда – и за мною планеты – планеты, брызжущие пламенем и населенные огненными, поющими цветами – и планеты немые, синие, где разумные камни объединены в организованные общества – планеты, достигшие, как наша земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья...

И вдруг – сверху:

– А ты не думаешь, что вершина – это именно объединенные в организованное общество камни?

И все острее, все темнее треугольник:

– А счастье... Что же? Ведь желания – мучительны, не так ли? И ясно: счастье – когда нет уже никаких желаний, нет ни одного... Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед счастьем – ставили знак плюс, перед абсолютным счастьем – конечно, минус – божественный минус.

Я – помню – растерянно пробормотал:

– Абсолютный минус – 273°...

– Минус 273 – именно. Немного прохладно, но разве это-то самое и не доказывает, что мы – на вершине.

Как тогда, давно – она говорила как-то за меня, мною – развертывала до конца мои мысли. Но было в этом что-то

такое жуткое – я не мог – и с усилием вытащил из себя "нет".

– Нет, – сказал я. – Ты... ты шутишь...

Она засмеялась, громко – слишком громко. Быстро, в секунду, досмеялась до какого-то края – оступилась – вниз... Пауза.

Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно смотрела. Потом притянула к себе – и ничего нет: только ее острые, горячие губы.

– Прощай!

Это – издалека, сверху, и дошло до меня нескоро – может быть, через минуту, через две.

– Как так "прощай"?

– Ты же болен, ты из-за меня совершал преступления, – разве тебе не было мучительно? А теперь Операция – и ты излечишься от меня. И это – прощай.

– Нет, – закричал я.

Беспощадно-острый, черный треугольник на белом:

– Как? Не хочешь счастья?

Голова у меня расскакивалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали...

– Ну что же, я жду – выбирай: Операция и стопроцентное счастье – или...

– "Не могу без тебя, не надо без тебя", – сказал я или только подумал – не знаю, но I слышала.

– Да, я знаю, – ответила мне. И потом – все еще держа у меня на плечах свои руки и глазами не отпуская моих глаз:

– Тогда – до завтра. Завтра – в 12: ты помнишь?

– Нет. Отложено на один день... Послезавтра...

– Тем лучше для нас. В 12 – послезавтра...

Я шел один – по сумеречной улице. Ветер крутил меня, нес, гнал – как бумажку, обломки чугунного неба летели, летели – сквозь бесконечность им лететь еще день, два... Меня задевали юнифы встречных – но я шел один. Мне было ясно: все спасены, но мне спасенья уже нет, я не хочу спасенья...

Запись 32-ая.
Конспект:

Я НЕ ВЕРЮ. ТРАКТОРЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЩЕПОЧКА.

Верите ли вы в то, что вы у м р е т е? Да, человек смертен, я — человек: следовательно... Нет, не то: я знаю, что вы это знаете. А я спрашиваю: случалось ли вам п о в е р и т ь в это, поверить окончательно, поверить не умом, а т е л о м, почувствовать, что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу — будут желтые, ледяные...

Нет: конечно, не верите — и оттого до сих пор не прыгнули с десятого этажа на мостовую, оттого до сих пор едите, перевертываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пишете...

То же самое — да, именно то же самое — сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелка на часах сползет вот сюда, вниз, к полночи, снова медленно подымется вверх, перешагнет какую-то последнюю черту — и настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот все же как-то н е в е р ю — или может быть мне кажется, что двадцать четыре часа — это двадцать четыре года. И оттого я могу еще что-то делать, куда-то торопиться, отвечать на вопросы, взбираться по трапу вверх на "И н т е г р а л". Я чувствую еще, как он покачивается на воде, и понимаю — что надо ухватиться за поручень — и под рукою холодное стекло. Я вижу, как прозрачные живые краны, согнув журавлиные шеи, вытянув клювы, заботливо и нежно кормят "И н т е г р а л" страшной взрывной пищей для двигателей. И внизу на реке — я вижу ясно синие, вздувшиеся от ветра водяные жилы, узлы. Но так: все это очень отдельно от меня, посторонне, плоско — как чертеж на листе бумаги. И странно, что плоское, чертежное лицо Второго Строителя — вдруг говорит:

— Так как же: сколько берем топлива для двигателей? Если считать три... ну, три с половиной часа...

Передо мною — в проекции, на чертеже — моя рука со счетчиком, логарифмический циферблат, цифра 15.

— Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите... да: возьмите сто...

Это потому, что я все-таки ведь знаю, что завтра — —

И я вижу со стороны — как чуть заметно начинает дрожать моя рука с циферблатом.

– Сто? Да зачем же такую уйму? Ведь это – на неделю. Куда – на неделю: больше!

– Мало ли что... кто знает...

– Я знаю...

Ветер свистит, весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху. Мне трудно дышать, трудно идти – и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду, – ползет стрелка на часах аккумуляторной башни, там в конце проспекта. Башенный шпиц – в тучах – тусклый, синий и глухо воет: сосет электричество. Воют трубы Музыкального Завода.

Как всегда – рядами, по четыре. Но ряды – какие-то непрочные, и, может быть, от ветра – колеблются, гнутся. И все больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлынули, и уже сплошной, застывший, тесный, с частым дыханием комок, у всех сразу – длинные, гусиные шеи.

– Глядите! Нет, глядите – вон там, скорей!

– Они! Это они!

– ...А я – ни за что! Ни за что – лучше голову в Машину...

– Тише! Сумасшедший...

На углу, в аудиториуме – широко разинута дверь, и оттуда – медленная, грузная колонна, человек пятьдесят. Впрочем, "человек" – это не то: не ноги – а какие-то тяжелые, скованные, ворочающиеся от невидимого привода колеса; не люди – а какие-то человекообразные тракторы. Над головами у них хлопает по ветру белое знамя с вышитым золотым солнцем – и в лучах надпись: "Мы первые! Мы – уже оперированы! Все за нами!"

Они медленно, неудержимо пропахали сквозь толпу – и ясно, будь вместо нас на пути у них стена, дерево, дом – они все так же, не останавливаясь, пропахали бы сквозь стену, дерево, дом. Вот – они уже на середине проспекта. Свинтившись под руку – растянулись в цепь, лицом к нам. И мы – напряженный, ощетинившийся головами комок – ждем. Шеи гусино вытянуты. Тучи. Ветер свистит.

Вдруг крылья цепи, справа и слева, быстро загнулись – и на нас – все быстрее – как тяжелая машина под гору – обжали кольцом – и к разинутым дверям, в дверь, внутрь...

Чей-то пронзительный крик:

– Загоняют! Бегите!

И все ринулось. Возле самой стены – еще узенькие живые воротца, все – туда, головами вперед – головы мгновенно за-

острились клиньями, и острые локти, ребра, плечи, бока. Как струя воды, стиснутая пожарной кишкой, разбрызнулись веером, и кругом сыплются топающие ноги, взмахивающие руки, юнифы. Откуда-то на миг в глаза мне – двоякоизогнутое, как буква S, тело, прозрачные крылья-уши – и уж его нет, сквозь землю – и я один – среди секундных рук, ног – бегу...

Передохнуть в какой-то подъезд – спиною крепко к дверям – и тотчас же ко мне, как ветром прибило маленькую человеческую щепочку.

– Я все время... я за вами... Я не хочу – понимаете – не хочу. Я согласна...

Круглые, крошечные руки у меня на рукаве, круглые синие глаза: это она, О. И вот, как-то вся скользит по стене и оседает наземь. Комочком согнулась там, внизу, на холодных ступенях, и я – над ней, глажу ее по голове, по лицу – руки мокрые. Так: будто я очень большой, а она – совсем маленькая – маленькая часть меня же самого. Это совершенно другое, чем к I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям.

Внизу – сквозь руки, закрывающие лицо, – еле слышно:

– Я каждую ночь... Я не могу – если меня вылечат... Я каждую ночь – одна, в темноте думаю о нем – какой он будет, как я его буду... Мне же нечем тогда жить – понимаете? И вы должны – вы должны...

Нелепое чувство – но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое – потому что этот мой долг – еще одно преступление. Нелепое – потому что белое не может быть одновременно черным, долг и преступление – не могут совпадать. Или нет в жизни ни черного, ни белого, и цвет зависит только от основной логической посылки. И если посылкой было то, что я противозаконно дал ей ребенка...

– Ну хорошо – только не надо, только не надо... – говорю я. – Вы понимаете: я должен повести вас к I – как я тогда предлагал – чтобы она...

– Да... (– тихо, не отнимая рук от лица).

Я помог встать ей. И молча, каждый о своем – или, может быть, об одном и том же – по темнеющей улице, среди немых свинцовых домов, сквозь тугие, хлещущие ветки ветра...

В какой-то прозрачной, напряженной точке – я сквозь свист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывающие, как

по лужам, шаги. На повороте оглянулся – среди опрокинуто несущихся, отраженных в тусклом стекле мостовой туч – увидел S. Тотчас же у меня – посторонние, не в такт размахивающие руки, и я громко рассказываю O – что завтра... да, завтра – первый полет "И н т е г р а л а", это будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое.

O – изумленно, кругло, сине смотрит на меня, на мои громко, бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю сказать ей слова – я говорю, говорю. А внутри, отдельно – это слышно только мне – лихорадочно жужжит и постукивает мысль: "Нельзя... надо как-то... Нельзя вести его за собою к I – ..."

Вместо того, чтобы свернуть влево – я сворачиваю вправо. Мост подставляет свою покорно, рабски согнутую спину – нам троим: мне, O – и ему, S, сзади. Из освещенных зданий на том берегу сыплются в воду огни, разбиваются в тысячи лихорадочно прыгающих, обрызганных бешеной белой пеной, искр. Ветер гудит – как где-то невысоко натянутая канатно-басовая струна. И сквозь бас – сзади все время – –

Дом, где живу я. У дверей O остановилась, начала было что-то:

– Нет! Вы же обещали...

Но я не дал ей кончить, торопливо втолкнул в дверь – и мы внутри, в вестибюле. Над контрольным столиком – знакомые, взволнованно-вздрагивающие, обвислые щеки; кругом – плотная кучка нумеров – какой-то спор, головы, перевесившиеся со второго этажа через перила, – по одиночке сбегают вниз. Но это – потом, потом... А сейчас я скорее увлек O в противоположный угол, сел спиною к стене (там, за стеною, я видел: скользила по тротуару взад и вперед темная, большеголовая тень), вытащил блокнот.

O – медленно оседала в своем кресле – будто под юнифой испарялось, таяло тело, и только одно пустое платье и пустые – засасывающие синей пустотой – глаза. Устало:

– Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули?

– Нет... Тише! Смотрите туда: видите – за стеной?

– Да. Тень.

– Он – все время за мной... Я не могу. Понимаете – мне нельзя. Я сейчас напишу два слова – вы возьмете и пойдете одна. Я знаю: он останется здесь.

Под юнифой – снова зашевелилось налитое тело, чуть-

чуть закруглел живот, на щеках – чуть заметный рассвет, заря.

Я сунул ей в холодные пальцы записку, крепко сжал руку, последний раз зачерпнул глазами из ее синих глаз.

– Прощайте! Может быть, еще когда-нибудь...

Она вынула руку. Согнувшись, медленно пошла – два шага – быстро повернулась – и вот опять рядом со мной. Губы шевелятся – глазами, губами – вся – одно и то же, одно и то же мне какое-то слово – и какая невыносимая улыбка, какая боль...

А потом согнутая человеческая щепочка в дверях, крошечная тень за стеной – не оглядываясь, быстро – все быстрее...

Я подошел к столику Ю. Взволнованно, негодующе раздувая жабры, она сказала мне:

– Вы понимаете – все как с ума сошли! Вот он уверяет, будто сам видел около Древнего Дома какого-то человека – голый и весь покрыт шерстью...

Из пустой, ощетинившейся головами кучки – голос:

– Да! И еще раз повторяю: видел, да.

– Ну, как вам это нравится, а? Что за бред!

И это "бред" – у нее такое убежденное, негнущееся, что я спросил себя: "Не бред ли и в самом деле все это, что творится со мною и вокруг меня за последнее время?"

Но взглянул на свои волосатые руки – вспомнилось: "В тебе, наверно, есть капля лесной крови... Может быть, я тебя оттого и..."

Нет: к счастью – не бред. Нет: к несчастью – не бред.

Запись 33-я.
Конспект:

(ЭТО БЕЗ КОНСПЕКТА, НАСПЕХ, ПОСЛЕДНЕЕ.)

Этот день – настал.

Скорей за газету: быть может – там... Я читаю газету глазами (именно так: мои глаза сейчас – как перо, как счетчик, которые держишь, чувствуешь, в руках – это постороннее, это инструмент).

Там – крупно, во всю первую страницу:

– "Враги счастья не дремлют. Обеими руками держитесь за счастье! Завтра приостанавливаются работы – все нумера явятся для Операции. Неявившиеся – подлежат Машине Благодетеля".

Завтра! Разве может быть – разве будет какое-нибудь завтра?

По ежедневной инерции, я протянул руку (инструмент) к книжной полке – вложил сегодняшнюю газету к остальным, в украшенный золотом переплет. И на пути:

– "Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту комнату – я уже никогда больше, никогда..."

И газета из рук – на пол. А я стою и оглядываю кругом всю, всю, всю комнату, я поспешно забираю с собою – я лихорадочно запихиваю в невидимый чемодан все, что жалко оставить здесь. Стол. Книги. Кресло. На кресле тогда сидела I – а я внизу, на полу... Кровать...

Потом минуту, две – нелепо жду какого-то чуда, быть может – зазвонит телефон, быть может, она скажет, чтоб...

Нет. Нет чуда...

Я ухожу – в неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте – вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил столько страниц, кому я, заболевший душой,– показал всего себя, до последнего смолотого винтика, до последней лопнувшей пружины...

Я ухожу.

Запись 34-ая.
Конспект:

ОТПУЩЕННИКИ. СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ. РАДИО-ВАЛЬКИРИЯ.

О, если бы я действительно разбил себя и всех вдребезги, если бы я действительно – вместе с нею – оказался где-нибудь за Стеной, среди скалящих желтые клыки зверей, если бы я действительно уже больше никогда не вернулся сюда. В тысячу – в миллион раз легче. А теперь – что же? Пойти и задушить эту – – Но разве это чему-нибудь поможет?

Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя на крепкую логическую ось – хоть ненадолго навались изо всех сил на рычаг – и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов – пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось...

Когда я вошел на "И н т е г р а л" – все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского, стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палуб – крошечные муравьиные люди внизу – возле телеграфов, динамо, трансформаторов, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей, помп, труб. В кают-компании – какие-то над таблицами и инструментами – вероятно командированные Научным Бюро. И возле них – Второй Строитель с двумя своими помощниками.

У всех троих головы по-черепашьи втянуты в плечи, лица – серые, осенние, без лучей.

– Ну, что? – спросил я.

– Так... Жутковато... – серо, без лучей улыбнулся один. – Может придется спуститься неизвестно где. И вообще – неизвестно...

Мне было нестерпимо смотреть на них – на них, кого я, вот этими самыми руками через час навсегда выкину из уютных цифр Часовой Скрижали, навсегда оторву от материнской груди Единого Государства. Они напомнили мне трагические образы "Трех Отпущенников" – история которых известна у нас любому школьнику. Эта история о том, как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от работы: делай что хочешь, иди куда хочешь*. Несчастные слонялись возле места привычного труда и голодными глазами заглядывали внутрь; останавливались на площадях – и по целым часам проделывали те движения, какие в определенное время дня были уже потребностью их организма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами побрякивали, бухали в невидимые болванки. И наконец, на десятый день не выдержали: взявшись за руки вошли в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока вода не прекратила их мучений...

Повторяю: мне было тяжело смотреть на них, я торопился уйти.

– Я только проверю в машинном, – сказал я, – и потом – в путь.

* Это давно, еще в III веке после Скрижали.

О чем-то меня спрашивали – какой вольтаж взять для пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта в кормовую цистерну. Во мне был какой-то граммофон: он отвечал на все вопросы быстро и точно, а я, не переставая, – внутри, о своем.

И вдруг в узеньком коридорчике – одно попало мне туда, внутрь – и с того момента, в сущности, началось.

В узеньком коридорчике мелькали мимо серые юнифы, серые лица, и среди них на секунду одно: низко нахлобученные волосы, глаза исподлобья – тот самый. Я понял: они здесь, и мне не уйти от всего этого никуда, и остались только минуты – несколько десятков минут... Мельчайшая, молекулярная дрожь во всем теле (она потом не прекращалась уже до самого конца) – будто поставлен огромный мотор, а здание моего тела – слишком легкое, и вот все стены, переборки, кабели, балки, огни – все дрожит...

Я еще не знаю: здесь ли она. Но сейчас уже некогда – за мной прислали, чтобы скорее наверх, в командную рубку: пора в путь... Куда?

Серые, без лучей, лица. Напруженные синие жилы внизу, на воде. Тяжкие, чугунные пласты неба. И так чугунно мне поднять руку, взять трубку командного телефона.

– Вверх – 45°!

Глухой взрыв – толчок – бешеная бело-зеленая гора воды в корме – палуба под ногами уходит – мягкая, резиновая – и все внизу, вся жизнь, навсегда... На секунду – все глубже падая в какую-то воронку, все кругом сжималось – выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни. Потом – мгновенная ватная занавесь туч – мы сквозь нее – и солнце, синее небо. Секунды, минуты, мили – синее быстро твердеет, наливается темнотой, каплями холодного серебряного пота проступают звезды...

И вот – жуткая, нестерпимо-яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что ревут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было – немое – солнце.

Это было естественно, этого и надо было ждать. Мы вышли из земной атмосферы. Но так как-то все быстро, врасплох – что все кругом оробели, притихли. А мне – мне показалось даже легче под этим фантастическим, немым солнцем: как

будто я, скорчившись последний раз, уже переступил неизбежный порог – и мое тело где-то там, внизу, а я несусь в новом мире, где все и должно быть непохожее, перевернутое...

– Так держать, – крикнул я в машину, – или не я, а тот самый граммофон во мне – и граммофон механической, шарнирной рукой сунул командную трубку Второму Строителю. А я, весь одетый тончайшей, молекулярной, одному мне слышной дрожью, – побежал вниз, искать...

Дверь в кают-компанию – та самая: через час она тяжко звякнет, замкнется... Возле двери – какой-то незнакомый мне, низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в толпе лицом, и только руки необычайно длинные, до колен: будто по ошибке наспех взяты из другого человеческого набора.

Длинная рука вытянулась, загородила:

– Вам куда?

Мне ясно: он не знает, что я знаю все. Пусть: может быть – так нужно. И я сверху, намеренно резко:

– Я Строитель "И н т е г р а л а". И я – распоряжаюсь испытаниями. Поняли?

Руки нет.

Кают-компания. Над инструментами, картами – объезженные серой щетиной головы – и головы желтые, лысые, спелые. Быстро всех в горсть – одним взглядом – и назад, по коридору, по трапу, вниз, в машинное. Там жар и грохот от раскаленных взрывами труб, в отчаянной пьяной присядке сверкающие мотыли, в неперестающей ни на секунду, чуть заметной дрожи – стрелки на циферблатах...

И вот – наконец – возле тахометра – он, с низко нахлобученным над записной книжкой лбом...

– Послушайте... (грохот: надо кричать в самое ухо). – Она здесь? Где она?

В тени – исподлобья – улыбка:

– Она? Там. В радиотелефонной...

И я – туда. Там их – трое. Все – в слуховых крылатых шлемах. И она – будто на голову выше, чем всегда, крылатая, сверкающая, летучая – как древние валькирии, и будто огромные, синие искры наверху, на радиошпице – это от нее, и от нее здесь – легкий, молнийный, озонный запах.

– Кто-нибудь... нет, хотя бы – вы... – сказал я ей, задыхаясь (от бега). – Мне надо передать вниз, на землю, на эллинг... Пойдемте, я продиктую...

Рядом с аппаратной – маленькая коробочка-каюта. За столом, рядом. Я нашел, крепко сжал ее руку:

– Ну, что же? Что же будет?

– Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно: не зная – лететь – все равно куда... И вот скоро 12 – и неизвестно что? И ночь... где мы с тобой будем ночью? Может быть – на траве, на сухих листьях...

От нее – синие искры и пахнет молнией, и дрожь во мне – еще чаще.

– Запишите, – говорю я громко и все еще задыхаясь (от бега). – Время 11.30. Скорость: 6 800...

Она – из-под крылатого шлема, не отрывая глаз от бумаги, тихо:

– ...Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской... Я знаю – я все знаю: молчи. Но ведь ребенок – твой? И я ее отправила – она уже там, за стеною. Она будет жить...

Я – снова в командной рубке. Снова – бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь; медленно с одной минуты на другую перехрамывающая стрелка часов на стене; и все, как в тумане, одето тончайшей, чуть заметной (одному мне) дрожью.

Почему-то показалось: лучше, чтоб все это произошло не здесь, а где-то внизу, ближе к земле.

– Стоп, – крикнул я в машину.

Все еще вперед – по инерции – но медленней, медленней. Вот теперь "И н т е г р а л" зацепился за какой-то секундный волосок, на миг повис неподвижно, потом волосок лопнул – и "И н т е г р а л", как камень, вниз – все быстрее. Так в молчании, минуты, десятки минут – слышен пульс – стрелка перед глазами все ближе к 12. И мне ясно: это я – камень, I – земля, а я – кем-то брошенный камень – и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться оземь, чтоб вдребезги... А что если... – внизу уже твердый, синий дым туч... – а что если...

Но граммофон во мне – шарнирно, точно, взял трубку, скомандовал "малый ход" – камень перестал падать. И вот устало пофыркивают лишь четыре нижних отростка – два кормовых и два носовых – только, чтобы парализовать вес "И н т е г р а л а", и "И н т е г р а л", чуть вздрагивая, прочно как на якоре – стал в воздухе, в каком-нибудь километре от земли.

Все высыпали на палубу (сейчас – 12, звонок на обед) и,

перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо, залпом глотали неведомый, застенный мир – там, внизу. Янтарное, зеленое, синее: осенний лес, луга, озеро. На краю синего блюдечка – какие-то желтые, костяные развалины, грозит желтый, высохший палец – должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви.

– Глядите, глядите! Вон там – правее!

Там – по зеленой пустыне – коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механически поднес его к глазам: по грудь в траве, взвеяв хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них – те, караковые, белые, вороные...

Сзади меня:

– А я вам говорю: – видел – лицо.

– Подите вы! Рассказывайте кому другому!

– Ну нате, нате бинокль...

Но уже исчезли. Бесконечная зеленая пустыня...

И в пустыне – заполняя всю ее, и всего меня, и всех – пронзительная дрожь звонка: обед, через минуту – 12.

Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки – мир. На ступеньках – чья-то звонкая золотая бляха – и это мне все равно: вот теперь она хрустнула у меня под каблуком. Голос: "А я говорю – лицо!" Темный квадрат: открытая дверь кают-компании. Стиснутые, белые, остро-улыбающиеся зубы...

И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого, начали бить часы, и передние ряды уже двинулись – квадрат двери вдруг перечеркнут двумя знакомыми, неестественно длинными руками:

– Стойте!

В ладонь мне впились пальцы – это I, это она рядом:

– Кто? Ты знаешь его?

– А разве... а разве это не...

Он – на плечах. Над сотнею лиц – его сотое, тысячное и единственное из всех лицо:

– От имени Хранителей... Вам – кому я говорю, те слышат, каждый из них слышит меня – вам я говорю: мы знаем. Мы еще не знаем ваших нумеров – но мы знаем все. "И н т е г р а л" – вашим не будет! Испытание будет доведено до конца, и вы же – вы теперь не посмеете шевельнуться, – вы же, своими руками, сделаете это. А потом... Впрочем, я кончил...

Молчание. Стеклянные плиты под ногами – мягкие, ватные, и у меня мягкие, ватные ноги. Рядом у нее – совершенно белая улыбка, бешеные, синие искры. Сквозь зубы – на ухо мне:

– А, так это вы? Вы – "исполнили долг"? Ну, что же...

Рука – вырвалась из моих рук, валькирийный, гневнокрылый шлем – где-то далеко впереди. Я – один застыло, молча, как все, иду в кают-компанию...

– "Но ведь не я же – не я! Я же об этом ни с кем, никому кроме этих белых, немых страниц..."

Внутри себя – неслышно, отчаянно, громко – я кричал ей это. Она сидела через стол, напротив – и она даже ни разу не коснулась меня глазами. Рядом с ней – чья-то спело-желтая лысина. Мне слышно (это – I):

– "Благородство"? Но, милейший профессор, ведь даже простой филологический анализ этого слова – показывает, что это предрассудок, пережиток древних, феодальных эпох. А мы...

Я чувствовал: бледнею – и вот сейчас все увидят это... Но граммофон во мне проделывал 50 установленных жевательных движений на каждый кусок, я заперся в себе, как в древнем непрозрачном доме – я завалил дверь камнями, я завесил окна...

Потом – в руках у меня командная трубка, и лет – в ледяной, последней тоске – сквозь тучи – в ледяную, звездносолнечную ночь. Минуты, часы. И очевидно во мне все время лихорадочно, полным ходом – мне же самому неслышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то точке синего пространства: мой письменный стол, над ним – жаберные щеки Ю, забытый лист моих записей. И мне ясно: никто кроме нее, – мне все ясно...

Ах, только бы – только бы добраться до радио... Крылатые шлемы, запах синих молний... Помню – что-то громко говорил ей, и помню – она, глядя сквозь меня, как будто я был стеклянный, – издалека:

– Я занята: принимаю снизу. Продиктуйте вот ей...

В крошечной коробочке-каюте, минуту подумав, я твердо продиктовал:

– Время – 14.40. Вниз! Остановить двигатели. Конец всего.

Командная рубка. Машинное сердце "И н т е г р а л а" остановлено, мы падаем, и у меня сердце – не поспевает па-

дать, отстает, подымается все выше к горлу. Облака – и потом далеко зеленое пятно – все зеленее, все явственней – вихрем мчится на нас – сейчас конец – –

Фаянсово-белое, исковерканное лицо Второго Строителя. Вероятно это он – толкнул меня со всего маху, я обо что-то ударился головой и, уже темнея, падая, – туманно слышал:

– Кормовые – полный ход!

Резкий скачок вверх... Больше ничего не помню.

Запись 35-ая.
Конспект:

В ОБРУЧЕ. МОРКОВКА. УБИЙСТВО.

Всю ночь не спал. Всю ночь – об одном...

Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами. И так: это не бинты, а обруч; беспощадный, из стеклянной стали, обруч наклепан мне на голову, и я – в одном и том же кованом кругу: убить Ю. Убить Ю, – а потом пойти к той и сказать: "Теперь – веришь?" Противней всего, что убить как-то грязно, древне, размозжить чем-то голову – от этого странное ощущение чего-то отвратительно-сладкого во рту, и я не могу проглотить слюну, все время сплевываю ее в платок, во рту сухо.

В шкафу у меня лежал лопнувший после отливки тяжелый поршневой шток (мне нужно было посмотреть структуру излома под микроскопом). Я свернул в трубку свои записи (пусть она прочтет всего меня – до последней буквы), сунул внутрь обломок штока и пошел вниз. Лестница – бесконечная, ступени – какие-то противно скользкие, жидкие, все время – вытирать рот платком...

Внизу. Сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток – к контрольному столику – –

Но Ю там не было: пустая, ледяная доска. Я вспомнил: сегодня – все работы отменены; все должны на Операцию, и понятно: ей незачем, некого записывать здесь...

На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит. И так, как это было в какой-то момент вчера: весь мир разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки, и каждый

из них, падая стремглав, на секунду останавливался, висел передо мной в воздухе – и без следа испарялся.

Как если бы черные, точные буквы на этой странице – вдруг сдвинулись, в испуге расскакались какая куда – и ни одного слова, только бессмыслица: пуг--скак--как-- На улице – вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа – прямо, назад, наискось, поперек.

И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, застыло: вон, во втором этаже, в стеклянной, повисшей на воздухе, клетке – мужчина и женщина – в поцелуе, стоя – она всем телом сломанно отогнулась назад. Это – навеки, последний раз...

На каком-то углу – шевелящийся колючий куст голов. Над головами – отдельно, в воздухе, – знамя, слова: "Долой Машины! Долой Операцию!" И отдельно (от меня) – я, думающий секундно: "Неужели у каждого такая боль, какую можно исторгнуть изнутри – только вместе с сердцем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем – –" И на секунду – ничего во всем мире, кроме (моей) звериной руки с чугунно-тяжелым свертком...

Теперь – мальчишка: весь – вперед, под нижней губой – тень. Нижняя губа – вывернута, как обшлаг засученного рукава, – вывернуто все лицо – он ревет – и от кого-то со всех ног – за ним топот...

От мальчишки: "Да, Ю – должна быть теперь в школе, нужно скорей". Я побежал к ближайшему спуску подземки.

В дверях кто-то бегом:

– Не идут! Поезда сегодня не идут! Там –

Я спустился. Там был – совершенный бред. Блеск граненых хрустальных солнц. Плотно утрамбованная головами платформа. Пустой, застывший поезд.

И в тишине – голос. Ее – не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос – и где-нибудь там вздернутый к вискам острый треугольник бровей... Я закричал:

– Пустите же! Пустите меня туда! Я должен –

Но чьи-то клещи меня – за руки, за плечи, гвоздями. И в тишине – голос:

– ...Нет: бегите наверх! Там вас – вылечат, там вас до отвала накормят сдобным счастьем, и вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая, – разве вы не

слышите этой великой симфонии храпа? Смешные: вас хотят освободить от извивающихся, как черви, мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков. А вы здесь стоите и слушаете меня. Скорее – наверх – к Великой Операции! Что вам за дело, что я останусь здесь одна? Что вам за дело – если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, а хочу хотеть сама, – если я хочу невозможного...

Другой голос – медленный, тяжелый:

– Ага! Невозможного? Это значит – гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они чтоб перед носом у тебя вертели хвостом? Нет: мы – за хвост, да под себя, а потом...

– А потом – слопаете, захрапите – и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное: осел. Чтобы заставить его идти все вперед, все вперед – перед мордой к оглобле привязывали морковь так, чтоб он не мог ухватить. И если ухватил, слопал...

Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где говорила она – и в тот же момент все посыпалось, стиснулось – сзади крик: "Сюда, сюда идут!" Свет подпрыгнул, погас – кто-то перерезал провод – и лавина, крики, хрип, головы, пальцы...

Я не знаю, сколько времени мы катились так в подземной трубе. Наконец: ступеньки – сумерки – все светлее – и мы снова на улице – веером, в разные стороны...

И вот – один. Ветер, серые, низкие – совсем над головой – сумерки. На мокром стекле тротуара – очень глубоко – опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры. И невероятно тяжелый сверток в руке – тянет меня вглубь, ко дну.

Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, темная – ее комната.

Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем виски стучали, я ходил – закованный все в одном и том же кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол, белый сверток... В комнате слева опущены шторы. Справа: над книгой – шишковатая лысина, и лоб – огромная желтая парабола. Морщины на лбу – ряд желтых неразборчивых строк. Иногда мы встречаемся глазами – и тогда я чувствую: эти желтые строки – обо мне.

...Произошло ровно в 21. Пришла Ю – сама. Отчетливо осталось в памяти только одно: я дышал так громко, что

слышал, как дышу, и все хотел как-нибудь потише – и не мог.

Она села, расправила на коленях юнифу. Розово-коричневые жабры трепыхались.

– Ах, дорогой, – так это правда, вы ранены? Я как только узнала – сейчас же...

Шток передо мною на столе. Я вскочил, дыша еще громче. Она услышала, остановилась на полслове, тоже почему-то встала. Я видел уже это место на голове, во рту отвратительно-сладко... платок, но платка нет – сплюнул на пол.

Тот, за стеной справа, – желтые, пристальные морщины – обо мне. Нужно, чтобы он не видел, еще противней – если он будет смотреть... Я нажал кнопку – пусть никакого права, разве это теперь не все равно, – шторы упали.

Она очевидно почувствовала, поняла, метнулась к двери. Но я опередил ее – и громко дыша, ни на секунду не спуская глаз с этого места на голове...

– Вы... вы с ума сошли! Вы не смеете... – она пятилась задом – села, вернее, упала на кровать – засунула, дрожа, сложенные ладонями руки между колен. Весь пружинный, все так же крепко держа ее глазами на привязи, я медленно протянул руку к столу – двигалась только одна рука – схватил шток.

– Умоляю вас! День – только один день! Я завтра – завтра же – пойду и все сделаю...

О чем она? Я замахнулся – –

И я считаю: я убил ее. Да, вы, неведомые мои читатели, вы имеете право назвать меня убийцей. Я знаю, что спустил бы шток на ее голову, если бы она не крикнула:

– Ради... ради... Я согласна – я... сейчас.

Трясущимися руками она сорвала с себя юнифу – просторное, желтое, висячее тело опрокинулось на кровать... И только тут я понял: она думала, что я шторы – это для того, чтобы – что я хочу...

Это было так неожиданно, так глупо, что я расхохотался. И тотчас же туго закрученная пружина во мне – лопнула, рука ослабела, шток громыхнул на пол. Тут я на собственном опыте увидел, что смех – самое страшное оружие: смехом можно убить все – даже убийство.

Я сидел за столом и смеялся – отчаянным, последним смехом – и не видел никакого выхода из всего этого нелепо-

го положения. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы развивалось естественным путем – но тут вдруг новая, внешняя, слагающая: зазвонил телефон.

Я кинулся, стиснул трубку: может быть она? – и в трубку чей-то незнакомый голос:

– Сейчас.

Томительное, бесконечное жужжание. Издали – тяжелые шаги, все ближе, все гулче, все чугунней – и вот...

– Д-503? Угу... С вами говорит Благодетель. Немедленно ко мне!

Динь, – трубка повешена, – динь.

Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, кинул на нее – сквозь зубы:

– Ну! Скорее – скорее!

Она приподнялась на локте, груди сплеснулись на бок, глаза круглые, вся повосковела.

– Как?

– Так. Ну – одевайтесь же!

Она – вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос вплющенный.

– Отвернитесь...

Я отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном, мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет: это – я, это – во мне... Зачем Он меня? Неужели Ему уже известно о ней, обо мне, обо всем?

Ю, уже одетая, у двери. Два шага к ней – стиснул ей руки так, будто именно из ее рук сейчас по каплям выжму то, что мне нужно:

– Слушайте... Ее имя – вы знаете, о ком, – вы ее называли? Нет? Только правду – мне это нужно... мне все равно – только правду...

– Нет.

– Нет? Но почему же – раз уж вы пошли туда и сообщили...

Нижняя губа у ней – вдруг наизнанку, как у того мальчишки – и из щек, по щекам капли...

– Потому что я... я боялась, что если ее... что за это вы можете... вы перестанете лю... О, я не могу – я не могла бы!

Я понял: это – правда. Нелепая, смешная, человеческая правда! Я открыл дверь.

Запись 36-ая.
Конспект:

ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ. ХРИСТИАНСКИЙ БОГ. О МОЕЙ МАТЕРИ.

Тут странно — в голове у меня как пустая, белая страница: как я туда шел, как ждал (знаю, что ждал) — ничего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста. Как будто были перерезаны все провода между мною и миром.

Очнулся — уже стоя перед Ним, и мне страшно поднять глаза: вижу только Его огромные, чугунные руки — на коленях. Эти руки давили Его самого, подгибали колени. Он медленно шевелил пальцами. Лицо — где-то в тумане, вверху, и будто вот только потому, что голос Его доходил ко мне с такой высоты — он не гремел как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос.

— Итак — вы тоже? Вы — Строитель "И н т е г р а л а"? Вы — кому дано было стать величайшим конквистадором. Вы — чье имя должно было начать новую, блистательную главу истории Единого Государства... Вы?

Кровь плеснула мне в голову, в щеки — опять белая страница: только в висках — пульс, и вверху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда он замолк, я очнулся, я увидел: рука двинулась стопудово — медленно поползла — на меня уставился палец.

— Ну? Что же вы молчите? Так или нет? Палач?

— Так, — покорно ответил я. И дальше ясно слышал каждое Его слово.

— Что же? Вы думаете — я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних, — самая трудная, самая важная. Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освистаны темной толпой: но ведь за это автор трагедии — Бог — должен еще щедрее вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных — разве Он не палач? И разве сожженных христи-

анами на кострах меньше, чем сожженных христиан? А все-таки – поймите это, все-таки этого Бога веками славили как Бога любви. Абсурд? Нет, наоборот: написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда – дикий, лохматый – он понимал: истинная, алгебраическая любовь к человечеству – непременно бесчеловечна, и непременный признак истины – ее жестокость. Как у огня – непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь? Ну, – доказывайте же, спорьте!

Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это были (прежде) мои же мысли – только я никогда не умел одеть их в такую кованую, блестящую броню. Я молчал...

– Если это значит, что вы со мной согласны, – так давайте говорить, как взрослые, когда дети ушли спать: все до конца. Я спрашиваю: о чем люди – с самых пеленок – молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье – и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там – блаженные, с оперированной фантазией (только потому и блаженные) – ангелы, рабы Божьи... И вот, в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так (– Его рука сжалась: если бы в ней был камень – из камня брызнул бы сок), когда уже осталось только освежевать добычу и разделить ее на куски, – в этот самый момент вы – вы...

Чугунный гул внезапно оборвался. Я – весь красный, как болванка на наковальне под бухающим молотом. Молот молча навис, и ждать – это еще... страш...

Вдруг:

– Вам сколько лет?

– Тридцать два.

– А вы ровно вдвое – шестнадцатилетне наивны! Слушайте: неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им – мы еще не знаем их имен, но уверен, от вас узнаем, – что им вы нужны были только как Строитель "И н т е г р а л а" – только для того, чтобы через вас...

– Не надо! Не надо, – крикнул я.

...Так же, как заслониться руками и крикнуть это пуле: вы еще слышите свое смешное "не надо", а пуля – уже прожгла, уже вы корчитесь на полу.

Да, да: Строитель "И н т е г р а л а"... Да, да... и тотчас же: разъяренное, со вздрагивающими кирпично-красными жабрами лицо Ю – в то утро, когда они обе вместе у меня в комнате...

Помню очень ясно: я засмеялся – поднял глаза. Передо мною сидел лысый, сократовски-лысый человек, и на лысине – мелькие капельки пота.

Как все просто. Как все величественно-банально и до смешного просто.

Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот ладонью и опрометью кинулся вон.

Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц, и на бегу: "Нет! Увидеть ее! Только еще раз увидеть ее!"

Тут – снова пустая, белая страница. Помню только: ноги. Не люди, а именно – ноги: нестройно топающие, откуда-то сверху падающие на мостовую сотни ног, тяжелый дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня, и крик – должно быть мне: "Эй! Эй! Сюда, к нам!"

Потом – пустынная площадь, доверху набитая тугим ветром. Посредине – тусклая, грузная, грозная громада: Машина Благодетеля. И от нее – во мне такое, как будто неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов... И все это как-то нелепо, ужасно связано с Машиной – я знаю как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух – не хочу, не надо.

Я закрыл глаза, сел на ступенях, идущих наверх, к Машине. Должно быть шел дождь: лицо у меня мокрое. Где-то далеко, глухо – крики. Но никто не слышит, никто не слышит, как я кричу: спасите же меня от этого – спасите!

Если бы у меня была мать – как у древних: моя – вот именно – мать. И чтобы для нее – я не Строитель "И н т е г р а л а", и не нумер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок – кусок ее же самой – истоптанный, раздавленный, выброшенный... И пусть я прибиваю или меня прибивают – может быть это одинаково – чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами губы –

Запись 37-ая.
Конспект:

ИНФУЗОРИЯ. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ. ЕЕ КОМНАТА.

Утром в столовой – сосед слева испуганно шепнул мне:

– Да ешьте же! На вас смотрят!

Я – изо всех сил – улыбнулся. И почувствовал это – как какую-то трещину на лице: улыбаюсь – края трещины разлезаются все шире – и мне от этого все больнее...

Дальше – так: едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о тарелку – и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда, воздух, и снаружи – какой-то огромный, до неба, железный круглый гул – через головы, через дома – и далеко замер чуть заметными, мелкими, как на воде, кругами.

Я увидел во мгновение слинявшие, выцветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замершие в воздухе вилки.

Потом все спуталось, сошло с вековых рельс, все вскочили с мест (не пропев гимна) – кое-как, не в такт, дожевывая, давясь, хватались друг за друга: "Что? Что случилось? Что?" И – беспорядочные осколки некогда стройной великой Машины – все посыпались вниз, к лифтам – по лестнице – ступени – топот – обрывки слов – как клочья разорванного и взвихренного ветром письма...

Так же сыпались изо всех соседних домов, и через минуту проспект – как капля воды под микроскопом: запертые в стеклянно-прозрачной капле инфузории растерянно мечутся вбок, вверх, вниз.

– Ага, – чей-то торжествующий голос – передо мною затылок и нацеленный в небо палец – очень отчетливо помню желто-розовый ноготь и внизу ногтя – белый, как вылезающий из-за горизонта, полумесяц. И это как компас: сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к небу.

Там, спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи – и окрашенные тучами темные аэро Хранителей с свисающими черными хоботами труб – и еще дальше – там, на западе, что-то похожее – –

Сперва никто не понимал, что это – не понимал даже и я, кому (к несчастью) было открыто больше, чем всем другим.

Это было похоже на огромный рой черных аэро: где-то в невероятной высоте — еле заметные быстрые точки. Все ближе; сверху хриплые, гортанные капли — наконец, над головами у нас птицы. Острыми, черными, пронзительными, падающими треугольниками заполнили небо, бурей сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы.

— Ага-а, — торжествующий затылок повернулся — я увидел того, исподлобного. Но в нем теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие, он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него — около глаз, около губ — пучками волос росли лучи, он улыбался.

— Вы понимаете, — сквозь свист ветра, крыльев, карканье, — крикнул он мне. — Вы понимаете: Стену — Стену взорвали! По-ни-ма-ете?

Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фигуры — головы вытянуты — бегут скорее внутрь, в дома. Посредине мостовой — быстрая и все-таки будто медленная (от тяжести) лавина оперированных, шагающих туда — на запад.

...Волосатые пучки лучей около губ, глаз. Я схватил его за руку:

— Слушайте: где она — где I? Там, за Стеной — или... Мне нужно — слышите? Сейчас же, я не могу...

— Здесь, — крикнул он мне пьяно, весело — крепкие, желтые зубы... — Здесь она, в городе, действует. Ого — мы действуем!

Кто — мы? Кто — я?

Около него — было с полсотни таких же, как он — вылезших из своих темных подлобий, громких, веселых, крепкозубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смирными и нестрашными электрокуторами (где они их достали?), — они двинулись туда же, на запад, за оперированными, но в обход — параллельным, 48-м проспектом...

Я спотыкался о тугие, свитые из ветра канаты и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался, пустые улицы, чужой, дикий город, неумолчный, торжествующий птичий гам, светопреставление. Сквозь стекло стен — в нескольких домах я видел (врезалось): женские и мужские нумера бесстыдно совокуплялись — даже не спустивши штор, без всяких талонов, среди бела дня...

Дом — ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь. Внизу, за контрольным столиком — пусто. Лифт застрял посере-

дине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. Быстро – как колесные спицы – цифры на дверях: 320, 326, 330... I-330, да!

И сквозь стеклянную дверь: все в комнате рассыпано, перепутано, скомкано. Впопыхах опрокинутый стул – ничком, всеми четырьмя ногами вверх – как издохшая скотина. Кровать – как-то нелепо, наискось отодвинутая от стены. На полу – осыпавшиеся, затоптанные лепестки розовых талонов.

Я нагнулся, поднял один, другой, третий: на всех было Д-503 – на всех был я – капли меня, расплавленного, переплеснувшего через край. И это все, что осталось...

Почему-то нельзя было, чтобы они так вот, на полу, и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил на стол, разгладил осторожно, взглянул – и... засмеялся.

Раньше я этого не знал – теперь знаю, и вы это знаете: смех бывает разного цвета. Это – только далекое эхо взрыва внутри вас: может быть – это праздничные, красные, синие, золотые ракеты, может быть – взлетели вверх клочья человеческого тела...

На талонах мелькнуло совершенно незнакомое мне имя. Цифр я не запомнил – только букву: Ф. Я смахнул все талоны со стола на пол, наступил на них – на себя каблуком – вот так, так – и вышел...

Сидел в коридоре на подоконнике против двери – все чего-то ждал, тупо, долго. Слева зашлепали шаги. Старик: лицо – как проколотый, пустой, осевший складками пузырь – и из прокола еще сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно, смутно понял: слезы. И только когда старик был уже далеко – я спохватился и окликнул его:

– Послушайте – послушайте, вы не знаете: нумер I-330...

Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше...

В сумерках я вернулся к себе, домой. На западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой – и оттуда глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны черными потухшими головешками: птицы.

Я лег на кровать – и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон...

Запись 38-ая.
Конспект:

(НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ. МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСЬ КОНСПЕКТ – ОДНО: БРОШЕННАЯ ПАПИРОСКА.)

Очнулся – яркий свет, глядеть больно. Зажмурил глаза. В голове – какой-то едучий синий дымок, все в тумане. И сквозь туман:

"Но ведь я не зажигал свет – как же..."

Я вскочил – за столом, подперев рукою подбородок, с усмешкой глядела на меня I...

Затем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять-пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас закрылась за ней дверь, и еще можно догнать ее, схватить за руки – и может быть она засмеется и скажет...

I сидела за столом. Я кинулся к ней.

– Ты, ты! Я был – я видел твою комнату – я думал, ты – –

Но на полдороге наткнулся на острые, неподвижные копья ресниц, остановился. Вспомнил: так же она взглянула на меня тогда, на "Интеграле". И вот надо сейчас же все, в одну секунду, суметь сказать ей – так, чтобы поверила – иначе уж никогда...

– Слушай, I, – я должен... я должен тебе все... Нет, нет, я сейчас – я только выпью воды...

Во рту – сухо, все как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду – и не могу: поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками.

Теперь я увидел: синий дымок – это от папиросы. – Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым – так же, как я воду, и сказала:

– Не надо. Молчи. Все равно – ты видишь: я все-таки пришла. Там, внизу – меня ждут. И ты хочешь, чтоб эти наши последние минуты...

Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась через ручку кресла назад (там в стене кнопка, и ее трудно достать) – и мне запомнилось, как покачнулось кресло и поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы.

Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье – медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд...

И вдруг... Бывает: уж весь окунулся в сладкий и теплый сон – вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты... Так сейчас: на полу в ее комнате затоптанные розовые талоны, и на одном: буква Ф и какие-то цифры... Во мне они – сцепились в один клубок, и я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула...

Еще одна минута – из этих десяти или пятнадцати, на ярко-белой подушке – закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов. И это все время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас – не надо. И я все нежнее, все жесточе сжимаю ее – все ярче синие пятна от моих пальцев...

Она сказала (не открывая глаз – это я заметил):

– Говорят, ты вчера был у Благодетеля? Это правда?

– Да, правда.

И тогда глаза распахнулись – и я с наслаждением смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо: одни глаза.

Я рассказал ей все. И только – не знаю почему... нет, неправда, знаю – только об одном промолчал – о том, что Он говорил в самом конце, о том, что я им был нужен только...

Постепенно, как фотографический снимок в проявителе, выступило ее лицо: щеки, белая полоска зубов, губы. Встала, подошла к зеркальной двери шкафа.

Опять сухо во рту. Я налил себе воды, но пить было противно – поставил стакан на стол и спросил:

– Ты за этим и приходила – потому что тебе нужно было узнать?

Из зеркала на меня – острый, насмешливый треугольник бровей, приподнятых вверх, к вискам. Она обернулась что-то сказать мне, но ничего не сказала.

Не нужно. Я знаю.

Проститься с ней? Я двинул свои – чужие – ноги, задел стул – он упал ничком, мертвый, как там – у нее в комнате. Губы у нее были холодные – когда-то такой же холодный был пол вот здесь, в моей комнате возле кровати.

А когда ушла – я сел на пол, нагнулся над брошенной ее папиросой. –

Я не могу больше писать – я не хочу больше!

Запись 39-ая.
Конспект:

КОНЕЦ.

Все это было, как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор: быстро, колючась иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все решено – и завтра утром я с д е л а ю э т о. Было это то же самое, что убить себя – но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть.

На западе, ежесекундно в синей судороге содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами кровли...

Проснулся: уже десять (звонка сегодня, очевидно, не было). На столе – еще со вчерашнего – стоял стакан с водой. Я жадно выглотал воду и побежал: мне надо было все это скорее, как можно скорее.

Небо – пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха – тонкое – страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью. И такое – во мне: нельзя думать, не надо думать, не надо думать, иначе – –

И я не думал, даже, может быть, не видел по-настоящему, а только регистрировал. Вот на мостовой – откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот наверху – перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот – головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть все это орет, каркает, жужжит...

Потом – пустые, как выметенные какой-то чумой, улицы. Помню: споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп. Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо...

Я узнал толстые, негрские, и как будто даже сейчас еще брызжущие смехом губы. Крепко зажмуривши глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда – я перешагнул через него и побежал – потому что я уже не мог, мне надо было сделать все скорее, иначе – я чувствовал – сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс...

К счастью – это было уже в двадцати шагах, уже вывес-

ка — золотые буквы "Бюро Хранителей". На пороге я остановился, хлебнул воздуху, сколько мог — и вошел.

Внутри, в коридоре — бесконечной цепью, в затылок, стояли нумера, с листками, с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг, на два — и опять останавливались.

Я заметался вдоль цепи, голова расскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их — как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундной острейшей мукой сразу перерубило бы все.

Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо выпячены два седалищных полушара, и она все время поводила ими по сторонам, как будто именно там у нее были глаза. Она фыркнула на меня:

— У него живот болит! Проводите его в уборную — вон, вторая дверь направо...

И на меня — смех: и от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или... или...

Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся: прозрачные, крылатые уши. Но они были не розовые, как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал — вот-вот прорвет тонкий чехол.

— Зачем вы здесь? — спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.

Я так и вцепился в него:

— Скорее — к вам в кабинет... Я должен все — сейчас же! Это хорошо, что именно вам... Это может быть ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо...

Он тоже знал е е, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эту последнюю мою секунду...

Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка и заскребла на полу, когда дверь закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово — все равно какое — самое пустяковое слово, я бы все сдвинул сразу. Но он молчал.

И весь напрягшись до того, что загудело в ушах, — я сказал (не глядя):

— Мне кажется — я всегда ее ненавидел, с самого начала. Я боролся... А впрочем — нет, нет, не верьте мне: я мог и не

хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне дороже всего... то есть не погибнуть, а чтобы она... И даже сейчас – даже сейчас, когда я уже все знаю... Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал Благодетель?

– Да, знаю.

– Но то, что Он сказал мне... Поймите же – это вот все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол – и вы со всем, что вот тут на столе – с бумагой, чернилами... чернила выплеснутся – и все в кляксу...

– Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.

И тогда я – захлебываясь, путаясь – все что было, все, что записано здесь. О себе настоящем и о себе лохматом, и то, что она сказала тогда о моих руках – да, именно с этого все и началось, – и как я тогда не хотел исполнить свой долг, и как обманывал себя, и как она достала подложные удостоверения, и как я ржавел день ото дня, и коридоры внизу, и как там – за Стеною...

Все это – несуразными комьями, клочьями – я захлебывался, слов не хватало. Кривые, двоякоизогнутые губы с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова – я благодарно кивал: да, да... И вот (что же это?) – вот уже говорит за меня он, а я только слушаю: "Да, а потом... Так именно и было, да, да!"

Я чувствую: как от эфира – начинает холодеть вот тут, вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:

– Но как же – но этого вы ниоткуда не могли...

У него усмешка – молча – все кривее... И затем:

– А знаете – вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного забыли. Вы говорите – нет? А не помните ли вы, что там мельком, на секунду, – вы видели там... меня? Да, да: меня.

Пауза.

И вдруг – мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он – он тоже их... И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил принес сюда, как подвиг – все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам – весь в холодном поту – уже замахнулся ножом над своим сыном – над собою – вдруг сверху голос: "Не стоит! Я пошутил..."

Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с

креслом отъехал, потом сразу – себя всего – схватил в охапку – и мимо криков, ступеней, ртов – опрометью.

Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь – по чьей-то иронии – все оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это – осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом – будут только "мифы"...

Я громко застонал. И в тот же момент чувствую – кто-то ласково поглаживает меня по плечу.

Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб – огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые строки морщин. И эти строки обо мне.

– Я вас понимаю, вполне понимаю, – сказал он. – Но все-таки успокойтесь: не надо. Все это вернется, неминуемо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бесконечности нет!

Я дико посмотрел на него.

– Да, да, говорю вам: бесконечности нет. Если мир бесконечен – то средняя плотность материи в нем должна быть равна нулю. А так как она не нуль – это мы знаем – то, следовательно, Вселенная – конечна, она – сферической формы и квадрат вселенского радиуса, y^2 = средней плотности, умноженной на... Вот мне только и надо – подсчитать числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете: все – конечно, все просто, все – вычислимо; и тогда мы победим философски, – понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы – кричите...

Не знаю, чем я больше был потрясен: его открытием или его твердостью в этот апокалипсический час: в руках у него (я увидел это только теперь) была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, любимые) – оставить свои записки в законченном виде.

Я попросил у него бумаги – и здесь я записал эти последние строки...

Я хотел уже поставить точку – так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев...

– Слушайте, – дергал я соседа. – Да слушайте же, говорю

вам! Вы должны – вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная Вселенная? Что там – дальше?

Ответить он не успел; сверху – по ступеням – топот – –

Запись 40-ая.
Конспект:

ФАКТЫ. КОЛОКОЛ. Я УВЕРЕН.

День. Ясно. Барометр 760.

Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал – или воображал, что чувствую это?

Почерк – мой. И дальше – тот же самый почерк, но – к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь – я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка – есть нормальное состояние нормального человека).

Факты – таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность Вселенной, и меня, и всех, кто был с нами – взяли как не имеющих удостоверения об Операции – и отвезли в ближайший аудиториум (нумер аудиториума – почему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты Великой Операции.

На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа).

Вечером в тот же день – за одним столом с Ним, с Благодетелем – я сидел (впервые) в знаменитой Газовой Комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво.

Затем ее ввели под Колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие – то это было

очень красиво. Когда из-под Колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, — смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля.

Откладывать нельзя — потому что в западных кварталах — все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество нумеров, изменивших разуму.

Но на поперечном, 40-ом проспекте удалось сконструировать временную Стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить.

1920

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

А.П. ЧЕХОВ

В городе Таганроге – тихая, поросшая травой Монастырская улица. Как и во всех русских уездных городах – бесконечные заборы. Двухэтажный уездный домик; в нижнем этаже – вывеска: "Колониальная торговля П.Е. Чехова". П.Е. Чехов – это Павел Егорович Чехов, отец писателя; и за этими унылыми заборами, в стенах за этой вывеской прошло детство Антона Павловича Чехова.

Род Чеховых – коренной крестьянский. Дед писателя был еще крепостным – у помещика Воронежской губернии Черткова, отца известного толстовца Черткова. Упорным трудом Егор Чехов скопил три с половиной тысячи, за эту сумму купил у барина вольную для всей своей семьи – по семьсот рублей за душу – и переселился с семьей на юг. Тут, недалеко от Таганрога, он долгое время был управляющим в имениях графа Платова, героя войны 1812 года.

Отец писателя, Павел Егорович, служил в Таганроге конторщиком. Откладывая, по мелочам, с тем же самым мужицким упорством, как и отец, Павел Егорович сколотил, наконец, немного денег и открыл на Монастырской улице собственную торговлю. К этому времени он уже был женат на Евгении Яковлевне Морозовой, дочери таганрогского купца-суконщика. 19 января 1860 г. у Евгении Яковлевны родился сын Антон.

Кроме Антона Павловича – у П.Е. Чехова было еще четверо сыновей и дочь. Жизнь в домике на Монастырской улице шла по-старинному, крепким, суровым укладом. Детей Павел Егорович воспитывал в строгости, "в страхе Божием", старался сызмалолетства приучить их к церкви. Мальчики должны были строго соблюдать все посты, выстаивать длинные церковные службы. Возвращались из церкви домой – дома хором пели что-нибудь божественное, читали акафист. Павел

Егорович был большой любитель и знаток церковного пения; позже, когда сыновья подросли, он составил из них настоящий хор и пел с ними на клиросе в церкви.

Все эти молитвенные повинности действовали на мальчиков совершенно иначе, чем этого хотел отец. "Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, – писал впоследствии Антон Павлович, – то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Когда, бывало, я и мои два брата среди церкви пели "Да исправится" или "Архангельский глас", на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям – мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками".

Во всем этом была, быть может, только одна хорошая сторона: с детства запавшие в душу прекрасные слова и образы церковных поэм – положили крепкий фундамент для того удивительного знания и чутья русского языка, какие позже сказались в произведениях Чехова.

Начальной грамоте А.П. Чехов обучался в церковно-приходской школе на окраине Таганрога. Вместе с ним тут учились дети мелких ремесленников, матросов, портовых грузчиков. Учитель был из таганрогских греков, человек малообразованный и грубый; учеников своих он частенько бил. Учиться тут было невесело. "В детстве – у меня не было детства", – не раз говаривал потом А.П. близким друзьям.

По окончании приходской школы – мальчика отдали в гимназию. Учился он здесь неважно: два раза, в третьем и в пятом классе, оставался на второй год; в последнем классе из 23-х учеников Чехов был одиннадцатым. По-видимому, так же, как это было и с Пушкиным, Чехов развивался медленно.

Был он в эту пору мальчик неуклюжий, неповоротливый, большеголовый; товарищи дразнили его "бомбой" и "головастиком". Держался он как-то особняком, в одиночку, ни с кем особенно близко не сходился. И все же, неизвестно за что, "головастика" товарищи любили: может быть, за это его неизменное ленивое добродушие, за ямочки на щеках, за улыбку.

В старших классах гимназии Чехов изменился и внешне, и внутренне: теперь это был живой, остроумный юноша, большой мастер на всякие веселые выдумки и затеи. Смех, юмор – то, что потом окрасило собой целую полосу в творчестве Чехова, – забили буйным ключом уже в эти годы. В библиоте-

ке Чехов умудрялся выкапывать какие-то особенно забавные рассказы и так мастерски читал их, что весь класс покатывался со смеху. Очень искусно умел он гримироваться и мог до неузнаваемости изменять голос. Один раз он нарядился нищим, написал очень забавное просительное письмо, через весь город отправился к своему дяде и вручил ему это письмо. Дядя не узнал А.П. и подал ему милостыню – три копейки. С годами этот юмористический дар развился в Чехове еще больше. Во времена студенчества и позже – Чехов дома по вечерам вместе с братьями разыгрывал целые сцены собственного сочинения – и зрители смеялись до колотья в боках. То он изображал старого профессора, еле шамкающего лекцию, то афонского монаха, собирающего подаяния на елей, то деревенского дьячка, экзаменующегося перед архиереем на дьякона. Многие из этих, разыгранных в семейном кругу сцен, были впоследствии воспроизведены в рассказах А.П.

К тому времени, когда Чехов был в старших классах гимназии, относятся также его первые литературные попытки. В гимназии издавался журнал "Звездочка" – А.П. писал в этом журнале. Позже он самостоятельно, один, составил несколько номеров рукописного юмористического журнала "Заика". Гимназистом седьмого класса он написал водевиль "Недаром курица пела" и драму "Безотцовщина". Все это были, конечно, только более или менее удачные детские попытки.

Тем временем в семье Чеховых обстоятельства изменились. Торговые дела Павла Егоровича шли все хуже и хуже. В 1876 г. П.Е. окончательно прогорел; пришлось продать дом и магазин. Павел Егорович вместе с семьей перебрался в Москву, где в это время уже проживали два его старших сына: Александр учился в университете, Николай – в художественном училище. Антон П. остался один в Таганроге – кончать гимназию.

По приезде в Москву Павел Егорович поступил на службу конторщиком в один из амбаров в Торговых рядах. Жалованье он получал грошовое – пятьдесят рублей в месяц; еле хватало, чтобы содержать меньших, а о том, чтобы помогать одному из старших, Антону П., – нечего было и думать. Так, шестнадцати лет А.П. Чехов начал самостоятельную жизнь, полную труда и забот о куске хлеба.

Кое-как перебиваясь уроками, в 1879 г. А.П. кончил гимназию и приехал в Москву. Здесь он поступил на медицин-

ский факультет Московского университета, и здесь же, когда он был студентом 2-го курса, началась его литературная поденщина.

Это была именно поденщина. Писать заставляла нужда, писать было нужно – для того, чтобы семья не голодала, потому что, разумеется, на пятьдесят рублей, жалованье отца, всю семью нельзя было прокормить. И Чехов писал – писал на заданные темы, писал по заказу, о дачных мужьях, о тещах, о мартовских котах – обо всем, что не запрещалось писать цензурой, обо всем, что требовалось для тогдашних юмористических журналов, рассчитанных на послеобеденное чтение обывателя.

Жили тогда Чеховы на Драчевке, в полуподвальном этаже. Работать А.П. приходилось в самой неподходящей обстановке. "Пишу в самых гнусных условиях, – говорит он в одном из писем, относящихся к этому времени. – Передо мной моя нелитературная работа, хлопающая немилосердно по совести; в соседней комнате кричит детеныш приехавшего погостить родича; в другой комнате отец читает матери вслух "Запечатленного ангела". Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. Обстановка бесподобная".

"Передо мной моя нелитературная работа, хлопающая немилосердно по совести..." Уже эта одна фраза показывает, что тяжелее всего для Чехова была не обстановка, в которой приходилось писать, а то, как и о чем приходилось писать, то, что приходилось продавать свой талант, потрафлять вкусу покупателя; покупателями же его в эту пору были исключительно пошлые бульварные юмористические журнальчики, вроде "Развлечения", "Будильника", "Стрекозы". Начал печататься Чехов именно в "Стрекозе" в 1880 г. (набросок "Письмо к ученому соседу") и затем в течение двух лет занимался этой "нелитературной работой" – писал, по собственному его признанию, "и повести, и рассказы, и водевили, и всякую ерунду, включая сюда "комаров и мух" для "Стрекозы". Большая часть этого печаталась за подписью "А.Чехонте". "Чехонте" – это была гимназическая кличка Чехова в старших классах, выдуманная законоучителем гимназии; кличку эту Чехов и взял себе в виде псевдонима.

В 1882 г. издатель журнала "Осколки" Н.А. Лейкин пригласил Чехова работать в этом журнале. "Осколки" тоже были юмористическим журналом, но все же этот журнал был ближе к настоящей литературе и задавался кой-какими идейными целями. "Глупостями мы будем захватывать читателей, а умными статьями – учить их: ведь с глупостями они и умное прочтут", – писал Чехову Лейкин. Да и сам Лейкин был настоящий писатель, не без вкуса и таланта, близко знакомый с Глебом Успенским, Решетниковым, Помяловским. Понятно, что приглашение работать в "Осколках" и завязавшаяся дружба с Лейкиным очень ободрили Чехова. Чехов перестает думать о том, чтобы только смешить читателей, иной раз из-под пера его выходят рассказы, в которых сквозь "Чехонте" чувствуется уже будущий Чехов. Но такие его попытки поощрения не встречали: Чехову приходилось оправдываться и извиняться, если он забывал о своей обязанности – шутить. "Вы замечаете, что мои "Верба" и "Вор" серьезны для "Осколков", – писал он Лейкину в 1883 г. – Но мне думается, что серьезная вещица, маленькая, строк в 100, не будет сильно резать глаз... Вещичка – легонькая, в духе журнала, содержащая в себе фабулу и подобающий протест..."

Серьезный Чехов был еще никому не нужен, но весельчака Чехонте юмористические журналы печатали охотно, его талант был замечен, его сотрудничества добивались – и все же жил он в большой нужде. Вдвоем с отцом – Антону Павловичу приходилось содержать всю семью, а платили ему за рассказы гроши, да и те подчас приходилось чуть не вымаливать у издателей. Случалось, придет А.П. получить три рубля, а издатель ему предлагает вместо денег: "А может быть, билет в театр хотите? Или брюки новые? Так сходите к такому-то портному и возьмите у него брюки за мой счет..." Приходилось перехватывать в долг по пять, по десять рублей, нести в ломбард вещи. "Болезнь, которая мучит меня, как зубная боль – это безденежье," – жаловался приятелям Чехов.

Еще труднее было потому, что в то же самое время Чехову приходилось урывать время и для ученья, а учился он на одном из самых серьезных и трудных факультетов – медицинском. От очередного рассказа – к учебнику, из редакции – в анатомический театр; свободного времени, чтобы остаться одному, подумать, поглядеть на жизнь откуда-то сверху – времени для этого не было. Вероятно, главным образом этим

надо объяснить, что студент Чехов совершенно как будто и не приметил общественного движения конца семидесятых — начала восьмидесятых годов; во всяком случае нигде — ни в письмах Чехова, ни в его произведениях, ни в воспоминаниях о нем — нигде нельзя найти указаний на то, что он услышал взрыв бомбы 1-го марта 1881 года.

Весна 1884 года была для Чехова особенно тяжела: пришлось, не прерывая литературной работы, сдавать выпускные экзамены в университете. Но вот, наконец, в мае этого года — экзамены кончены, в кармане — диплом на звание врача, и молодой врач отправляется вместе с семьей на отдых в уездный городок Воскресенск, недалеко от Москвы (один из братьев А.П. был в это время в Воскресенске учителем приходского училища). Веселая компания молодежи, оставшиеся позади экзамены, красивая местность — все это настраивало А.П. самым жизнерадостным образом, и к этой поре относятся лучшие из его юмористических рассказов. В это же время А.П. начал работать и как врач: в течение нескольких месяцев он заведовал земской больницей в городе Звенигороде — верстах в 20-ти от Воскресенска. А.П. приходилось принимать больных в больницах, ездить на вскрытия, выступать в качестве медицинского эксперта в суде, приходилось непосредственно сталкиваться с жизнью уездного городка, уездных людей. Все это давало ему богатый бытовой материал, нашедший себе отражение в целом ряде его произведений. Между прочим, именно в Воскресенске А.П. имел случай ближе приглядеться к жизни тогдашнего офицерства. В Воскресенске в это время стояла батарея; с офицерами ее и особенно с командиром, полковником Маевским, А.П. был близко знаком. Впоследствии это послужило ему материалом для одной из лучших его пьес — "Три сестры".

В 1885–86 гг. Чехову удалось, наконец, вырваться из принижавшего его талант круга "Будильников" и "Развлечений" и выйти на широкую дорогу настоящей литературы. Мечтал он об этом уже давно. Еще в 1883 году он писал брату о своей работе в юмористических журналах: "Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя... Оным не умру. Это временно..."

В 1885 г. Чехов, благодаря содействию Лейкина, был приглашен в "Петербургскую Газету" и здесь напечатал несколь-

ко рассказов; в числе их были и вошедшие в настоящий том* "Налим", "Лошадиная фамилия", "Егерь". Рассказы эти, особенно "Егерь", обратили на себя внимание одной из тогдашних литературных знаменитостей Д.В. Григоровича. Весной 1886 г. Григорович написал Чехову письмо, где между прочим говорил: "У вас настоящий талант, талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения". Письмо это произвело на Чехова очень большое впечатление, сразу же подняло его в собственных глазах и заставило серьезней относиться к своему творчеству.

"Я едва не заплакал, разволновался... Я как в чаду, – писал Чехов в ответном письме Григоровичу. – Если у меня есть дар, то каюсь... я доселе не уважал его. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали советовать мне не менять настоящее дело на бумагомарание. За пять лет моего шатания по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость... Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом. Теперь я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз". "Выбраться оттуда, куда завяз" очень помогло Чехову то, что как раз в эту же пору он получил от А.С. Суворина, издателя "Нового Времени", приглашение работать в этой газете. Какова бы ни была политическая физиономия "Нового Времени", во всяком случае это была одна из крупнейших и популярных тогда газет, и в литературном отношении она стояла гораздо выше тех бульварных изданий, где раньше печатали Чехова. А главное, Суворин уже не требовал от А.П. смешных – во что бы то ни стало смешных – рассказов. С этого момента А.П. решительно сбрасывает с себя шутовскую маску "Антоши Чехонте" и печатает рассказы уже за своей подписью "А.Чехов"; рассказы его становятся все серьезней, и сквозь прежний смех в них все чаще слышится тоска о том, что люди живут убогой и пошлой жизнью, живут не так, как надо.

---

* Этот очерк Е.И. Замятина являлся вступительной статьей к книге: Антон П. Чехов. Избранные сочинения в 3 тт. Редакция, вступ. статья и примечания Евг. Замятина. Том 1. Берлин – Петербург – Москва, изд. З.И. Гржебина, 1922. Примечания в наше издание не включены (р е д.).

Работа в "Новом Времени" дала, наконец, Чехову возможность выкроить из своего бюджета несколько десятков рублей на поездку в Петербург. В Петербурге Чехов попал в самый центр тогдашней литературной жизни; познакомился с Михайловским, Глебом Успенским, Лесковым, Короленко, с поэтами Плещеевым и Полонским. "Старшие богатыри" русской литературы – приняли Чехова очень ласково. "Я чувствую себя на седьмом небе, – писал он брату. – Умных и порядочных людей столько, что хоть выбирай, каждый день знакомлюсь. Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам". Все это должно было еще больше укрепить в Чехове веру в свой талант и заставить его серьезно работать над собой.

Около этого времени молодой талант был уже отмечен и в печати: появились рецензии о сборнике рассказов Чехова, изданном Лейкиным под заглавием "Пестрые рассказы". Первая из выпущенных Чеховым книжек ("Сказки Мельпомены", 1884 г.), где собраны были его юношеские, "лицейские", как он сам называл, рассказы – прошла незамеченной. О "Пестрых рассказах" уже появились отзывы в серьезных журналах – "Русская Мысль", "Вестник Европы", в газете "Русские Ведомости".

С этого времени известность Чехова росла очень быстро. В 1888 г. первая из больших вещей Чехова "Степь" была напечатана уже в одном из лучших журналов того времени – "Северном Вестнике", во главе которого стояли Михайловский, Глеб Успенский, Плещеев. В дальнейшем А.П. становится одним из ближайших сотрудников этого журнала, а еще позже повести и рассказы А.П. печатаются в "Русской Мысли", "Жизни", "Русских Ведомостях", сборнике "Знание".

После выхода двух следующих книг Чехова ("В сумерках" и "Хмурые люди") – Академия Наук присудила ему (в 1888 г.) Пушкинскую премию. Этот успех был для Чехова совершенно неожиданным. "Премия, телеграммы, поздравления, приятели – все это выбило меня из колеи. Я ошалел, прошлое туманится в голове", – писал он брату. Пушкинская премия над этим прошлым – над Антошею Чехонте – окончательно поставила крест. Талант Чехова был официально признан; имя его сразу стало известно широким массам читателей.

Слава далеко не сразу вылечила застарелую болезнь Чехова – безденежье. По-прежнему приходилось вечно думать

о завтрашнем дне, по-прежнему приходилось работать без отдыха. ”Утомился... Жду гонорара. Весь сентябрь я сидел без денег, кое-какие вещишки заложил и бился как рыба об лед”, – так писал Чехов Плещееву в 1888 году; такие же жалобы на нужду, в обычной для Чехова полушутливой форме, можно найти и во многих его позднейших письмах.

Работал теперь Чехов гораздо больше, гораздо напряженней, чем раньше: к этому обязывало его новое положение, новое отношение к себе и к своей работе. ”Прежде я, бывало, писал, как птица поет, – говорил Чехов. – Сяду и пишу. Не думаю, как и о чем. Само писалось. Я, как молодой теленок, выпущенный на простор, прыгал, скакал, брыкался, махал хвостом, мотал смешно головою. Смеялся сам и смешил окружающих.” Так писать больше уже было нельзя; творческая работа стала теперь для Чехова одновременно и радостной – и мучительной, как это бывало со всеми большими писателями; появилась большая требовательность к себе, постоянная неудовлетворенность написанным. ”Три недели выжимал из себя рассказ, пять раз начинал, столько же раз зачеркивал, плевал, рвал, метал, бранился...” ”Пишу медленно, с длинными антрактами; пишу и переделываю, и часто, не кончив, бросаю.” ”Пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю...” – такие признания часто теперь встречаются в письмах Чехова.

Эта напряженная работа и постоянная нужда не прошли бесследно: здоровье было надломлено, появился кашель, кровохарканье – все зловещие признаки чахотки. Как врач Чехов не мог не понимать, что это значило. Но верить не хотелось; а еще вернее – А. П. делал вид, что не верит, для того, чтобы не обеспокоить семью и особенно мать. Не раз бывало так: опять появится кровохарканье, кому-нибудь из близких друзей Чехов напишет об этом – и неизменно прибавит: ”матери не говорите”, ”мать не должна знать об этом”.

Долго А.П. не хотел ни лечиться, ни менять образа жизни и все так же много работал. Область его творчества в это время еще больше расширилась: от повестей и рассказов он перешел к пьесам. В 1887 г. была написана первая из его пьес ”Иванов”, где был изображен все тот же, часто встречающийся в его рассказах, тип российского Гамлета – расхлябанного, не способного к борьбе, к действию, к жизни интеллигента. Пьеса была поставлена сперва в Москве, затем в Петербурге в Александринском театре. ”Иванов” имел успех – и

скоро А.П. взялся за новую пьесу. Это был "Леший" (1890 г.) – впоследствии переделанный автором и хорошо известный публике в постановке Московского Художественного театра под заглавием "Дядя Ваня". "Леший" успеха не имел и после первого же представления был снят с репертуара. Эта неудача надолго отбила у Чехова охоту к драматургии, и в течение следующих 6–7 лет он не написал ни одной пьесы, если не считать нескольких водевилей ("Медведь", "Предложение" и др.).

Все больше, все глубже Чехов вглядывался в жизнь и задумывался над темными ее сторонами. Задумался над тем, что "мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски" – и это было одной из главных причин, побудивших его в 1890-91 гг. предпринять поездку на Сахалин. Железной дороги в Сибири тогда еще не было; чтобы добраться до Сахалина, А.П. пришлось ехать около трех месяцев – в самых тяжелых условиях: грязь, пыль, холод, жара, езда без отдыха на перекладных. Результатом этой поездки явилась известная его книга "Остров Сахалин". Книга произвела впечатление не только на общество, но пробила и толстую кожу тогдашнего правительства: вскоре после появления книги на о. Сахалине были произведены реформы, несколько улучшившие быт ссыльно-каторжных.

Из поездки на Сахалин Чехов вернулся как будто поздоровевшим и окрепшим. Но шумная жизнь в Москве, с неизбежными спутниками славы – бесчисленным количеством посетителей, постоянно осаждавших А.П., скоро утомила его, и Чехов стал думать о том, чтобы поселиться где-нибудь вне Москвы. Были тут еще и другие причины: "Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни..." Так писал он в это время одному из своих друзей. Денежные дела А. П. были теперь уже значительно лучше, чем раньше, и это позволило ему (в 1892 г.) купить небольшую усадьбу Мелихово в Московской губернии. Сюда теперь и переселился Чехов и здесь прожил вплоть до 1898 года, лишь изредка выезжая отсюда в Москву, в Петербург или за границу.

В Мелихове Чехов нашел тот "кусочек общественной и политической жизни", какого ему хотелось: несмотря на свою болезнь, он отдавал много сил и времени врачебной практике – лечил крестьян; он строил на свой счет школы в

окрестных деревнях; работал в Серпуховском земстве. Все это не помешало ему в течение шести лет, проведенных в Мелихове, написать лучшие свои вещи: "Палату № 6", "Рассказ неизвестного человека", "Бабье царство", "Дом с мезонином", "Человек в футляре", "Черный монах", "Моя жизнь". Близкое знакомство с темной и неприглядной изнанкой деревенской жизни дало ему материал для "Убийства" и "Мужиков".

О мужике много писали и до Чехова, но так, как написал Чехов – до него никто не писал. Тургенев и Григорович подходили к мужику с сентиментальностью кающихся дворян; у народников мужик всегда выходил более или менее иконным. Своим "Убийством", "Мужиками"и позднейшею повестью "В овраге" – Чехов первый сказал вслух голую, неприкрытую правду о русской деревне, сказал с такой прямотой, с какой после него говорили только Горький и Бунин. И в первый раз сказанная – правда эта произвела особенно сильное впечатление. Вокруг этих рассказов Чехова создалась целая литература; народники обвиняли Чехова в клевете на русского мужика, марксисты выступили на защиту Чехова; рассказы эти, почти тотчас же по напечатании их в России, были переведены за границей.

В Мелихове, после долгого промежутка, Чехов снова вернулся к пьесам: в 1895 г. он написал "Чайку". Пьеса была принята к постановке в Александринском театре в Петербурге. От постановки ее Чехов ждал очень многого, и сам отправился в Петербург, чтобы присутствовать на первом представлении. Играли лучшие силы, в том числе Давыдов, Варламов, Комиссаржевская. Пьеса шла в бенефис известной тогда комической актрисы Левкеевой – и это случайное обстоятельство решило судьбу пьесы. На первое представление собралась особенная, "левкеевская" публика: обыватели, охотники посмеяться – та самая публика, для которой когда-то писал смешные рассказы Антоша Чехонте. И когда перед этой публикой, вместо Чехонте, явился Чехов – она его, конечно, не поняла. Пьеса провалилась. А. П. в середине представления ушел из театра, всю ночь пробродил по Петербургу и рано утром уехал в Москву. "Вчерашнего вечера я никогда не забуду, – писал на другой день Чехов. – Проживу 700 лет, а не напишу больше ни одной пьесы". Несколько лет спустя "Чайка" вновь появилась на сцене – в исполнении артистов Мос-

ковского Художественного театра. Здесь "Чайка" имела огромный успех – и только после этого Чехов забыл о своей клятве больше никогда не писать пьес.

Весною 1897 г. Чехов приехал из Мелихова в Москву. Он уговорился с сестрою, что через несколько дней она тоже выедет из Мелихова и А.П. встретит ее на вокзале. Но на вокзале ее встретил не А.П., а знакомые, которые вручили ей билет на посещение клиники; на билете была надпись А.П.: "Пожалуйста, ничего не рассказывай матери и отцу". Но дольше скрывать от близких свою болезнь А.П. уже не удалось: положение оказалось слишком серьезно. Во время дружеского обеда в одном из московских ресторанов у него пошла горлом кровь, и так сильно, что врачи опасались за его жизнь. Две недели ему пришлось пролежать в клинике. В числе многих других А.П. навестил в клинике и Лев Толстой. Больному было запрещено разговаривать, но он не выдержал и часа два говорил с Толстым. Опять пошла кровь. Крепкий, унаследованный от отцов и дедов организм все-таки выдержал – и Чехов оправился.

С этой весны начинается невольное изгнание Чехова: весь остаток жизни ему суждено было провести вдали от Москвы и от настоящей, коренной России, которая была так близка его сердцу. Следующий год он, по настояниям врачей, должен был прожить за границей – главным образом в Ницце. А по возвращении в Россию ему пришлось почти безвыездно жить в Крыму – в Ялте.

В это время А.П. продал одному из крупнейших тогда издательств – Маркса – право на издание своих сочинений; это дало ему возможность купить в окрестностях Ялты небольшой участок земли и выстроить дом. Некоторое время постройка дома, южное море, южное солнце занимали Чехова, но потом его все больше стало тянуть в Москву. В Москве шла кипучая, шумная жизнь, которую он так любил; в Москве – в Художественном театре – с небывалым успехом шли его пьесы. А болезнь заставляла его жить вдали от всего этого, жить по рецептам врачей и вечно помнить о том, что он уже не врач, а пациент.

Болезнь он переносил необычайно терпеливо и мужественно. Его близкие никогда не слышали от него жалоб. Случалось, целый день он сидел в кресле с закрытыми глазами. "Тебе нездоровится, Антоша?" – спросят его. – "Мне? Нет,

ничего. Голова болит немного..." И долго еще никто не подозревал, насколько уже близок был его конец.

Всегда А.П. чуток был к чужой боли, к чужому горю. А теперь его собственные страдания – как-то еще удвоили эту чуткость. В Ялте он особенно много помогал неимущим больным – учителям, писателям, студентам, которые в надежде на целительное влияние южного солнца стремились сюда отовсюду. Вся читающая Россия знала Чехова, знала, что Чехов – в Ялте, и знала – или, быть может, чувствовала – его сердце. Знакомые и незнакомые засыпали его просьбами, иной раз самыми пустяковыми: сообщить о ценах на жизнь в Ялте, подыскать квартиру – и не было случая, что он кому-нибудь отказал.

Тихий ялтинский дом Чехова временами оживал: около А.П. собирались писатели, артисты, около него снова была любимая его Москва. На Пасхе 1900 г. в Ялту, по просьбе А.П., приехал Московский Художественный театр, и тут, наконец, А. П. увидел свою "Чайку" и "Дядю Ваню" в исполнении москвичей. В Ялте подолгу гостили молодые тогда еще писатели: – Бунин, Горький, Куприн, Телешов, Найденов. В 1901 г. около Ялты жил Толстой – Чехов часто навещал его. Все это на время помогало А.П. забыть о своем изгнании, а затем – опять тоска по северу, по Москве. И так ясно слышится голос самого Чехова, в этом постоянном припеве в "Трех сестрах" – "В Москву! В Москву!" Пьеса "Три сестры" была написана осенью 1900 г., а весною 1901 г. уже шла в Художественном театре. Московской публикой "Три сестры" были приняты восторженно; это был настоящий триумф Чехова.

Небывалый успех поставленных Художественным театром пьес Чехова, несомненно, был одним из поводов, заставивших Академию Наук избрать А. П. почетным членом Академии (январь 1900 г.). Известие об избрании застало Чехова как раз во время одного из обострений болезни – "и вся прелесть пропала, так как мне было все равно", – писал А. П. брату. Года через два после этого выбран был в почетные академики Горький, но затем, вследствие привлечения Горького к суду по политическому делу, выборы были объявлены недействительными. Тогда Короленко и Чехов заявили президенту Академии (вел. князю Константину Константиновичу), что они слагают с себя звание почетных академиков. Таким

образом академиком Чехов пробыл всего только два с половиной года.

Летом 1899 г. Чехов писал из Ялты артистке Московского Художественного театра Ольге Леонардовне Книппер: "Да, вы правы: писатель Чехов не забыл актрисы Книппер". С этого времени письма А.П. к Книппер становятся все чаще, и сквозь обычную его улыбку и шутку все яснее просвечивает большое чувство. В мае 1901 г. А.П. женился на О.Л. Книппер и вместе с нею уехал на кумыс, в Уфимскую губернию.

Осенью А.П. опять пришлось вернуться в Ялту, а О.Л. Книппер уехала в Москву, где уже начинались обычные работы Художественного театра. "Жена моя, к которой я привык и привязался, остается в Москве.., – писал в это время Чехов (В.С. Миролюбову). – Она плачет, а я не велю ей бросать театр. Одним словом, катавасия..." И снова для Чехова – одинокая, тоскливая зима в Ялте, снова то, о чем ему случалось говорить: "Я чувствую, как здесь я не живу, а засыпаю или все ухожу, ухожу куда-то, без остановки, бесповоротно, как воздушный шар..."

Болезнь делала свое дело, Чехов все дальше "уходил куда-то, без остановки, бесповоротно". Прежних сил уже не было; писал А.П. в это время уже мало. Но то, что писал – носило на себе печать зрелого и все богаче расцветавшего таланта. Осенью 1903 г. Чехов написал последнюю и, может быть, лучшую из своих пьес – "Вишневый сад". Два зимних месяца А.П. провел в Москве и принимал живое участие в работах по постановке "Вишневого сада". Работа захватила А.П. целиком, он писал друзьям, что здоров и чувствует себя хорошо, но в действительности – это была последняя вспышка энергии.

17 января 1904 г., в день именин А. П., состоялось первое представление "Вишневого сада". Представление это обратилось в торжественное чествование А.П.: публика устроила ему овацию; ему подносили цветы; выступали с приветственными речами представители литературы и театра. А виновник торжества, бледный и измученный, еле стоял на ногах, и из публики ему кричали: "Сядьте! Пусть Антон Павлович сядет!" Пододвинули кресло; он сел. И дальше во всем этом празднике чувствовалась печаль последнего целования.

Летом 1904 года здоровье А.П. настолько ухудшилось, что врачи заставили его отправиться за границу. В сопровождении О.Л. Книппер он уехал в германский курорт Баден-Вей-

лер. Здесь на короткое время ему стало лучше. В Россию, родным и друзьям, он писал, что "здоровье входит не золотниками, а пудами"; по обыкновению своему успокаивал мать: "Здоровье поправляется и, надо думать, через неделю я буду уже совсем здоров". Но многое говорит, что сам-то он, вероятно, уже чувствовал близость смерти и только скрывал это от окружающих.

2-го июля 1904 г. Чехов умер.

Тело его было доставлено из Германии на родину. Хоронили его в Москве. В молчании, без речей, гроб опустили в могилу – и живые вернулись к жизни, а Чехов остался один...

* * *

"Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким." Это – коротенькая, неизвестно к кому относящаяся, заметка из записной книжки Чехова, опубликованной после его смерти. И можно думать, что он написал это о себе: именно с ним было так, всю жизнь он прожил один. Приятелей у него было много, но друзей – таких, которым бы он настежь открыл двери в свою душу – таких друзей у него не было. Было в нем какое-то особое целомудрие, заставлявшее его тщательно прятать все, что глубоко, по-настоящему волновало его. Оттого так трудно установить линию внутреннего его развития, биографию его духа. И лишь путем "косвенных улик", учитывая некоторые малозаметные события внешней его биографии, внимательно прислушиваясь к тому, что говорят действующие лица его произведений – можно увидеть, в чем была его вера и каковы были его общественные взгляды.

Бога церковного, как это видно из биографии, Чехов потерял еще в юности. И без всякого Бога, без всякой веры, он жил долго. Первый период его литературной работы, вплоть до середины 80-х годов, прошел в том, что он "скакал, как молодой теленок, выпущенный на простор, смеялся сам, смешил других". И только во второй половине 80-х годов происходит в нем резкий переворот, только тут он впервые серьезно задумывается над жизнью, над смыслом жизни, над смертью. Впервые в том, что он пишет, появляется острый привкус горечи, тоски, неудовлетворенности. Уже в "Счастье" и в "Степи" залитая солнцем ширь омрачается по временам,

как тенью от крыльев летящей птицы – мыслью о смерти, и тогда "сущность жизни представляется отчаянной, ужасной". В "Скучной истории" эта легкая, мелькающая тень вырастает уже в темную, безнадежную, давящую тучу.

И не только эту смерть увидел теперь Чехов: увидел он и другую, быть может, еще более мучительную, медленную смерть – увидел тысячи заживо погребенных в болоте пошлой и мелкой обыденной жизни. С искусством опытного врача, по тончайшим, почти неуловимым признакам открывающего в пациенте смертельную болезнь – отыскивает Чехов пошлость там, где на первый взгляд жизнь идет как будто мирно и благополучно ("Учитель словесности", "Попрыгунья", "Моя жизнь", "Ионыч"; позже – "Невеста"). В "Черном монахе" – он определенно решает: смерть лучше обыденной тусклой жизни.

В эту же пору, в 90-х годах, он явно выходит из своего прежнего равнодушия к вопросам общественности. Чехонте, не задумываясь, начал работу в реакционном "Новом Времени"; Чехов уже говорит о нововременских публицистах, Буренине и Жителе: "они мне просто гадки; по убеждениям своим я стою на 7375 верст от Жителя и К°"; "после чтения Жителя-Буренина и прочих судей человечества у меня остается во рту вкус ржавчины, и день мой бывает испорчен"; Чехов оставляет, наконец, работу в "Новом Времени". По мотивам главным образом общественного характера Чехов предпринимает поездку на Сахалин; в поисках хотя бы "кусочка общественной деятельности" Чехов переселяется в деревню, в Мелихово. Еще позже, в 1898 г., в письмах к Суворину он определенно и резко высказывается об отношении "Нового Времени" к поднятой в ту пору во Франции антисемитской травле (в связи с известным делом Дрейфуса). И наконец, в 1902 году, после отмены выборов Горького в академики, Чехов, вместе с Короленко, слагает с себя звание академика. Этим актом Чехов определенно записывает себя в ряды "неблагонадежных"; становится уже вполне ясным, с кем он бы шел, если бы дожил до 1905 года.

В то же самое время в своих повестях и рассказах Чехов все чаще затрагивает темы социального порядка. Это начинается с "Припадка", где он с небывалой остротой и резкостью ставит вопрос о проституции; в "Убийстве", "Мужиках", "В овраге" – он по-новому подходит к вопросу о мужике;

одно время увлекается толстовскими идеями ("Моя жизнь"). Все чаще он начинает задумываться вообще о несправедливости такого социального порядка, когда одни живут в нищете и невежестве, а другие – в богатстве. "Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых; кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улице – тишина, спокойствие; из живущих в городе – ни одного, который бы выкрикнул, громко возмутился... Протестует только одна немая статистика: столько-то с ума сошло; столько-то ведер выпито; столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча"... Это из рассказа Чехова "Крыжовник". Герой другого рассказа "Дом с мезонином" намечает даже и путь к лечению социальных болезней: "Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно... Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни – и – я уверен в этом – правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти".

Так Чехов писал в 1895 году. Как непохоже это на безнадежность в "Степи", когда "сущность жизни" представлялась ему "отчаянной и ужасной". Сложным путем, глубоко заглянув в темный колодец человеческой души, полный грязи – там, где-то на самом дне, Чехов нашел, наконец, свою веру. И эта вера оказалась верой в человека, в силу человеческого прогресса; и богом – оказался человек. Такие как будто разные и такими разными путями – Чехов и Горький пришли к одинаковой вере. "Человек – вот правда. В этом – все начала и концы. Все в человеке, все для человека." "Истинный Шекинах (святая святых) – есть человек", – писал Горький. "Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и ка-

жется чудесным..." "Мы – высшие существа, и если бы в самом деле познали всю силу человеческого гения – мы стали бы, как боги." "Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте," – писал Чехов. И чем ближе к концу жизни, тем крепче становится его вера в "великое, блестящее будущее" человека, в "царство вечной правды" ("Черный монах"). "О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, веселым, свободным," – писал он уже совсем незадолго до смерти, в 1903 году (рассказ "Невеста").

Как и раньше, на всем, что он написал в последние годы, лежит тихий и печальный свет сумерек. Но эти сумерки – уже не прежние: это не вечерние сумерки, следом за которыми – ночь; это сумерки – предрассветные, и сквозь них – издали все ярче заря.

Было бы грубой ошибкой сделать из сказанного вывод, что Чехов был писатель тенденциозный, что он ставил себе какие-нибудь посторонние искусству политические задачи. От тенденции, от проповеди – он был дальше, чем кто-нибудь из русских писателей. "Тенденциозность имеет в своем основании неуменье людей возвышаться над частностями..." "Художник должен быть только беспристрастным свидетелем..." "Я не либерал, не консерватор, не постепеновец... Я хотел бы быть свободным художником." Такие мысли можно найти во многих его письмах. В жизни Чехов был врач, но в его повестях, рассказах и пьесах – нет ни одного политического рецепта; с полным правом он мог применить к себе слова Герцена: "Мы не врачи, мы – боль".

Тенденция для художника – это цветные очки; для писателя тенденциозного – все в жизни непременно окрашивается в цвет стекол очков: действительных, реальных красок жизни он никогда не увидит и не узнает. Чехов смотрел на жизнь без этих очков – и это помогло ему стать подлинным писателем-р е а л и с т о м. "Беспристрастным свидетелем" прошел он через конец 19-го и начало 20-го века, и для изучения русской жизни в эту эпоху все написанное Чеховым – такой же документ, как летопись Нестора – для изучения начала Руси.

В рассказах Чехова – все имеет меру и вес, все можно видеть и осязать, все – на земле. Ничего фантастического, ничего таинственного, ничего потустороннего – нет у него ни

в одном рассказе. Если и появляется огненноглазый, пугающий мыслью о дьяволе пудель – то он, конечно, оказывается просто заблудившейся собакой приятеля (рассказ "Страх") ; если и появляется призрак Черного Монаха, то беседующий с призраком Коврин все время знает, что это – только призрак, галлюцинация, болезнь. Для душевных движений, казалось бы, самых неуловимых, самых тонких – Чехов находит реалистический, с весом и мерой, образ: слушать пение красивой женщины – это похоже на вкус холодной, спелой дыни ("Моя жизнь") ; оскорбленное авторское самолюбие – это "ящик с посудой, которую распаковать легко, но уложить опять, как она была, невозможно" ("Тяжелые люди") ; вечная насмешка, ирония петербуржца – "точно щит у дикаря" ("Рассказ неизвестного человека") ; человека ожесточило презрение – он "заржавел" (там же) .

И еще об одном говорят эти несколько наудачу взятых примеров: образы Чехова – оригинальны, смелы. "Волостной старшина и волостной писарь до такой степени пропитались неправдой, что самая кожа на лице у них была мошенническая" ("В овраге"). "Лицо Пимфова раскисает еще больше, вот-вот растает от жары и потечет вниз за жилетку" ("Мыслитель"). До Чехова – сказать так не рискнули бы. Тут Чехов выступает в роли новатора: он впервые начинает пользоваться приемами и м п р е с с и о н и з м а – течения, возникшего примерно в ту же эпоху во французской живописи.

Новостью была и необычайная, доведенная до крайних пределов сжатость и краткость рассказов Чехова. Он первый узаконил в русской литературе ту форму художественной прозы, которая на Западе давно уже существовала под именем н о в е л л. Величайшим мастером новелл во Франции был современник Чехова – Мопассан, и, несомненно, он влиял на Чехова. Недаром Чехов так любил и так высоко ставил искусство Мопассана; недаром мечтал он о том, чтобы взять и перевести Мопассана "как следует".

Определенное и сознательное стремление создать новые литературные формы было у Чехова и в его пьесах, особенно последних – "Три сестры" и "Вишневый сад". Он намеренно отступал от общепринятых правил драматургии. По окончании "Чайки" он писал: "Пьесу я уже кончил. Начал ее forte, кончил pianissimo – вопреки всем правилам..." "Пишу пьесу... Страшно вру против условий сцены... Мало действия, пять пу-

дов любви", – говорится в другом письме. Своими пьесами он дал образцы так называемой психологической драмы, т.е. такой драмы, где обычные, внешние, сценические эффекты отсутствуют, где вся драма происходит под поверхностью жизни – в душе человека.

Как новатор и большой художник Чехов оказал несомненное влияние на целый ряд позднейших русских писателей. У Чехова учились Иван Бунин, Шмелев, Тренев и другие писатели младшего поколения. Все это одна группа, одно созвездие реалистов.

По созвездиям моряки находят путь; по литературным, объединяющим более или менее близких писателей, группам приходится искать пути в широком море русской литературы. Но чтобы найти созвездие, нужно сначала опереться глазом на какую-нибудь особенно яркую и крупную звезду. В созвездии реалистов такая опора для разума и глаза – Чехов.

1921

РОБЕРТ МАЙЕР

I

Между новым и старым, между завтра и сегодня – вечная борьба. Борьба эта идет во всех областях человеческой жизни – в том числе и в науке; и в науке есть свое завтра и сегодня. Сегодняшнее – это все то, что уже устоялось, определилось, пользуется общим признанием, считается неоспоримым и непогрешимым. И вот эта-то вера в свою непогрешимость иной раз делает представителей "сегодняшней" науки элементом консервативным, задерживающим бесконечное движение науки вперед. Ведь чтобы сделать шаг вперед, нужно что-то оставить за собой позади, нужно отречься от того, что позади, нужно усомниться в истинности сегодняшнего – а как же усомниться, если оно непогрешимо, как признанный догмат церкви? И служители научной "католической церкви" часто не осмеливаются усомниться и не решаются шагнуть вперед, и топчутся на месте – пока не появится смелый научный еретик, научный революционер, носитель научного "завтра".

Судьба научных еретиков – такая же, как судьба еретиков религиозных: на еретика воздвигают гонение, еретика отлучают от непогрешимой почитаемой "научной церкви"; над еретиком издеваются. И часто только после смерти еретика – его идеи побеждают и оцениваются по достоинству. Еретиком был в 16-ом веке Коперник, положивший основание современной астрономии. Еретиком был и его продолжатель Галилей, осмелившийся учить, что земля вертится вокруг солнца – хотя астрономическая наука две тысячи лет твердила, что солнце движется, а земля – неподвижна. Еретиком был Джордано Бруно, провозглашавший бесконечность вселенной и множественность миров: его сожгли на костре. Еретиком был Фультон, заявивший, что он построил судно, которое движется без весел и паруса – пароход; над Фультоном смеялись. Но что

говорить о временах более или менее отдаленных; даже и теперь, когда наука усвоила правильный взгляд, что все, кажущееся непогрешимым, непогрешимо только относительно, непогрешимо только сегодня, – даже и теперь иной раз обнаруживаются следы прежнего преклонения перед догмой. Еще так недавно, на нашей памяти, открыты были чудесные свойства радия, опрокидывающие как будто непогрешимейшие научные законы, – и на нашей памяти не один правоверный ученый скептически посмеивался над еретиками, посягнувшими на эти недавно еще священные устои. А между тем только еретиками, только отрицателями сегодняшнего, такого как будто незыблемого и непогрешимого, – жив мир; только еретики – открывают новые горизонты в науке, искусстве, социальной жизни; только еретики, отрицающие сегодня во имя завтра, являются вечным бродилом жизни, обеспечивают бесконечное ее движение вперед. И в бесконечной веренице этих носителей живого мятежного духа – почетное место занимает Роберт Майер, один из величайших научных еретиков 19-го века.

В маленьком немецком городке Гейльбронне жил почтенный немецкий аптекарь Христиан Майер. Был он добросовестен, аккуратен и прилежен. Долго служил провизором в разных городах, кое-что заработал и обзавелся в Гейльбронне собственным участком земли, с собственным садиком и собственной аптекой. Аптека процветала – потому что Христиан Майер был добросовестен и аккуратен; Христиана Майера в Гейльбронне все уважали – потому что в Гейльбронне все были добросовестны и аккуратны. Это был маленький, захолустный немецкий городок. Обыватели мирно ходили по воскресеньям в кирку, мирно плодились и множились, мирно копили деньги. Здесь-то, в аптеке Христиана Майера, 28 ноября 1814 года родился Роберт Майер. И здесь Роберт Майер провел большую часть жизни.

О детских годах Роберта Майера до нас дошло мало сведений. Брат его, Фриц, был значительно старше его – и Роберту много времени приходилось проводить в одиночестве. Он толкался в отцовской аптеке, приглядывался к разным физическим и химическим приборам, пересматривал естественнонаучные книги в библиотеке отца, бродил по окрестностям Гейльбронна. В окрестностях, на реке Неккар – было много

фабрик и мельниц. Мальчик заходил туда, подолгу простаивал перед странными, живыми машинами. Потом сам стал мастерить водяные колеса, ставил их на реке, пристраивал к ним игрушечные жернова. Много будущих аптекарей, будущих учителей и будущих пасторов вместе с Робертом Майером забавлялись теми же водяными колесами. Но никому из них не пришло в голову такой сумасбродной идеи, какая явилась у Майера. Ему в ту пору было лет 10, и он задумался вот над чем: а что если к такому водяному колесу пристроить бесконечный винт? Ведь это увеличит силу колеса во много раз. Правда, при этом потеряется скорость движения, но эту скорость, пожалуй, можно восстановить, соединивши с бесконечным винтом зубчатые колеса. А если так – то ведь можно как угодно увеличивать силу маленького водяного колеса, и от маленького колеса – приводить в движение настоящую водяную мельницу. А отсюда, пожалуй, недалеко и до "вечного движения" – perpetuum mobile. Мальчик, конечно, упускал из виду потерю силы в передачах. Но стоит отметить, что уже в ту пору в голове у Майера возникали какие-то широкие идеи, был полет фантазии, недоступный обыкновенному, добропорядочному будущему гражданину Гейльбронна.

Люди выдающиеся, с оригинальным мышлением и характером – редко укладываются в тесные школьные рамки. Так было и с Робертом Майером: в школе он учился неважно. По древним языкам у него самыми обычными отметками были "плохо" и "весьма умеренно". Зато в математике его успехи оценивались как "хорошие", а по математической географии он имел даже "очень хорошо". С охотой и легкостью Роберт Майер заучивал наизусть стихи: память у него была превосходная. Кой-какое влияние на развитие Роберта Майера или, вернее, на направление его развития могли оказать его отец и особенно старший брат Фриц: сама профессия заставляла их интересоваться химией, новыми открытиями французских химиков; от отца Роберт Майер узнал кое-что о Лавуазье*. Майер с интересом читал книжки по физике и химии, но в гимназии дела у него по-прежнему шли очень туго. Все время, несмотря на свои успехи в математике – он шел последним или предпоследним учеником в классе. И отец отправил Роберта

* Знаменитый французский химик. См. его биографию.

Майера в духовную семинарию в городок Шэнталь, неподалеку от Гейльбронна.

О том, каков был Майер в эту пору – дает представление характеристика, сделанная впоследствии одним из его товарищей по семинарии: ”В Роберте Майере не было и тени притворства; из его уст не выходило ни единого слова неправды; он всегда охотно признавал чужие преимущества, но ни с кем не сходился близко. По характеру – его можно было назвать ”чистой душой”. Но все, что он делал, носило печать оригинальности. Ход мыслей у него был совершенно логичный, хотя он любил перескакивать через звенья промежуточные или связывающие одну мысль с другой. Он всегда был изумителен и часто озадачивал собеседника и ставил его в тупик какой-нибудь неожиданностью; когда тот успевал схватить нить рассуждения, Майер был уже далеко. А так как он, кроме того, отличался остроумием и юмором, то беседовать с ним всегда было приятно. Он был неистощим в цитатах из библии и церковных книг, из поэтов и древних авторов; он сыпал народными поговорками и умел преподнести их тогда, когда слушатели меньше всего этого ожидали. Многие смотрели на Майера с изумлением, все время ждали от него необыкновенного и смеялись всякому его слову. Многим, впрочем, такой фейерверк не нравился”.

Характеристика эта сделана уже тогда, когда Майер был знаменитым и признанным, – это, быть может, оказало влияние на автора характеристики, и он представил Роберта Майера несколько в прикрашенном свете. Но если даже и так, – все же из этой характеристики видно, что Роберт Майер был юношей не совсем заурядным.

Успехи его в казенной науке по-прежнему были неблестящими: способности его оценивались как ”довольно хорошие”; по языкам у него были отметки ”слабо” или ”посредственно”, и только по математике, как и в гимназии, он имел ”очень хорошо”.

В 1832 году Майер выдержал в семинарии выпускной экзамен и поступил в Тюбингенский университет; там он занялся изучением медицины. В то время в Тюбингенском университете как раз не было профессора по кафедре физики, так что правильного, систематического курса по физике Майеру не удалось пройти. Однако это, как мы увидим, не помешало ему создать впоследствии один из основных законов,

на котором построена современная физика и механика.

Еретический дух уже в эти студенческие годы начинал сказываться в Майере. Официальную физику того времени он пренебрежительно называл "полузнанием" и говорил, что "человеку, вступающему в область настоящего знания, – основные положения школьной физики нужно постараться забыть как можно скорее". В эти же годы наметилась и другая характерная особенность Майера: склонность к позитивному, положительному научному мышлению. Властителями умов тогдашней германской молодежи были такие вожди отвлеченной, умозрительной философии, как Кант, Шеллинг, Гегель. Роберт Майер не поддался общему увлечению: к отвлеченной философии, к метафизике относился весьма скептически и шел своим путем – путем точного, математически мыслящего ума. Вероятно, это внутреннее сопротивление господствовавшей тогда в Германии метафизической философии – было причиной того, что Майер без достаточного внимания отнесся также и к отвлеченной, не прикладной математике. Отсутствие серьезной и последовательной математической подготовки сказалось впоследствии на работах Майера; пополнять пробелы по высшей математике ему пришлось уже много времени спустя после окончания университетского курса. В университете же, кроме медицины, Майер успел приобрести солидные познания только в области химии – благодаря интересным лекциям профессора Гмелина.

Пребывание в Тюбингенском университете кончилось для Роберта Майера неблагополучно. Майер состоял членом одного из студенческих кружков – "Вестфалия". А так как эта эпоха – начало 19-го века – была эпохой общеевропейской реакции, то студенческие кружки и землячества, быть может даже и невинные, правительством строго преследовались. И вот Роберт Майер, за участие в "недозволенном сообществе", был арестован. Чтобы добиться освобождения, Майер применил то самое средство, которым, по выражению одного из биографов Майера – Евг. Дюринга, – так любят пользоваться "русские нигилисты": Майер объявил голодовку. На пятый день голодовки врач заявил, что дальнейшее заключение и голодовка могут вызвать у студента Майера душевное расстройство. На шестой день Майер был освобожден и посажен под домашний арест. А затем – результат, такой нам знако-

мый по русским образцам: Майер уволен из университета. Большинство профессоров Тюбингенского университета во время всей истории оказалось на стороне полицейской власти, и это, вероятно, уже положило в Майере начало его определенно-отрицательному отношению к консервативным профессорским кругам, с которыми он затем вел борьбу в течение всей своей жизни.

После исключения из Тюбингенского университета Майер отправился в Мюнхен, но здешний университет ему не пришелся по вкусу: вскоре он перевелся в Вену и здесь, наконец, закончил слушание курсов по медицине. В январе 1838 г. "неблагонадежному" Майеру разрешено было вернуться на родину – в Тюбинген. Тут Майер сдал экзамены и защитил диссертацию на степень доктора медицины. Диссертация была посвящена исследованию вопроса о лечебном действии незадолго перед тем открытого сантонина (содержащегося в цитварном семени). Любопытно, что в этой диссертации Майер отнюдь не проявил каких-нибудь выдающихся талантов, каких-нибудь способностей к широким научным обобщениям: диссертация не выделялась над обычным, средним уровнем. Не эта область, не медицина – была призванием Майера; великие идеи в ту пору еще только зрели в нем, неведомо для самого их носителя.

Закончив, после всех приключений, свое университетское образование, Майер на короткое время съездил в Швейцарию – отдохнуть. А затем ему предстояло стать одним из множества обывателей Гейльбронна или Тюбингена: повесить вывеску врача, обзавестись выгодной практикой, приобрести собственный дом с собственным садиком – словом, повторить карьеру добросовестного и аккуратного аптекаря Христиана Майера.

Но у молодого врача были какие-то неясные стремления к чему-то далекому, необычному. В своих письмах, относящихся к этому периоду, он прямо говорит, что "не хочет играть на родине жалкую роль докторишки". Майер ищет каких-то приключений, какой-то борьбы. Все это вместе взятое заставляет его тихому и мирному житию на родине предпочесть место врача на одном из кораблей, отправляющихся к острову Яве. Можно себе представить волнение почтенных родителей Роберта Майера и прочих почтенных гейльброннцев: "Как: на Яву? Зачем? Какой ужас! Ведь это опасно: ко-

рабль может утонуть, и там – на Вест-Индских островах – говорят, всякие лихорадки..." Но Майер сумел победить все препятствия и настоял на своем.

Место судового врача можно было получить только после особого экзамена. Майер не остановился и перед этим: в Гааге он с успехом выдержал экзамен. По каким-то причинам отплытие корабля было отложено на полгода. Эти полгода Майер использовал, чтобы еще больше подготовиться к практической врачебной работе, – и с этой целью отправился в Париж. Тут он работал по хирургии в разных парижских клиниках и ничем, кроме медицины, не занимался. В студенческом Латинском квартале Парижа Майеру приходилось сталкиваться со своими земляками – немцами; с одним из них, Карлом Бауром, впоследствии видным немецким математиком и физиком, Майер поселился даже на одной квартире. И вот, между прочим, Баур в своих воспоминаниях о Майере определенно указывает, что в Париже он не замечал у Майера никакого особенного интереса к математике, физике или механике. Это лишний раз показывает, насколько неожиданно, в каком-то вдохновении, в каком-то ослепительном взрыве возникла у Майера та идея, которая обессмертила его имя.

В феврале 1840 года Майер отплыл, наконец, из Роттердама на голландском корабле "Ява" в Батавию. Для Майера – сына гейльброннского аптекаря – это был момент значительный, и Майер решил вести во время путешествия дневник. С налетом немецкой сентиментальности, типичным для той эпохи, Роберт Майер так говорит о начале своего путешествия:

"Великолепное, безоблачное небо с сверкающими звездами, сияющая луна, румянец загорающегося дня, тихие воды широкого канала, открывавшаяся перед нами панорама города и великий момент отплытия – все это придавало воскресному утру какое-то возвышенное, трогательное значение".

Дальше в дневнике Майера мы находим заметки, что здоровье его в отличном состоянии; что такого-то месяца и числа он за обедом наелся досыта (кормили на корабле довольно скупо); такого-то числа – были зарезаны взятые с собой из Роттердама свиньи, и к столу вместо солонины, подавалось свежее мясо; такого-то числа, при взгляде на созвездие Весов – вспомнил о дорогом отце, Христиане Майере, которому это созвездие особенно нравилось, и о дорогом фатерлянде – Германии... Словом, ничто в дневнике не говорит, что в Майере

шла какая-то внутренняя подготовительная работа, завершившаяся в конце этого путешествия великим научным открытием. По-видимому, Майер просто вел растительную жизнь, наслаждался морским воздухом, тропической природой, и в организме его за это время только накоплялась энергия, которая затем – если пользоваться созданной Майером научной терминологией – "разрядилась" с такой молниеносной внезапностью и блеском.

Из всего дневника Майера заслуживают быть отмеченными как имеющие непосредственную связь с дальнейшей его деятельностью две записи. Одна гласит, что от старика штурмана Майер узнал вот о каком странном явлении: после сильных бурь вода в море всегда нагревается, становится теплее, чем была до бури. Никаких особенных размышлений и попыток объяснить это явление в дневнике Майера нет. Но, несомненно, именно этот момент, именно это мимоходом брошенное замечание старика штурмана пустили в ход дремавший в голове у Майера мощный логический механизм. Недаром уже в последующих своих работах Майер как на доказательство справедливости своих теорий неоднократно ссылался именно на это явление: нагревание воды в море после бури.

Другая ценная для нас запись в дневнике Майера относится к моменту прибытия его в Сурабайю – голландское поселение на острове Ява. Вот что записывает Майер об этом в своем дневнике:

"Во все время нашего стодневного плавания по морю никаких тяжелых болезней у нашей команды, состоявшей из 28 человек, не случалось. Но спустя несколько дней по прибытии на Батавский рейд началась эпидемия острого воспаления легких. При кровопусканиях, которые я делал, оказалось, что кровь, вытекавшая из вен на руке, была ярко-красная; если судить по цвету этой крови – можно было бы даже подумать, что это кровь не из вен, а из артерий..."

Как будто совершенно несущественное, ничтожное обстоятельство. И, конечно, десятки и сотни врачей уже видели это и обращали внимание на это. Но ни одному из них не приходили в голову те широчайшие и имеющие огромное значение для науки выводы и обобщения, к которым пришел Роберт Майер. Наблюдение, сделанное им относительно цвета венозной крови в тропических странах, послужило поводом для того,

чтобы вся скрытая, подсознательная работа его ума проявилась вовне, стала ясной для самого Майера. Батавский рейд на острове Яве был той гаванью, откуда корабль Роберта Майера с ценнейшим научным грузом отправился в далекое и бурное плавание. С этого момента мы будем иметь дело уже не с гейльбронnским обывателем Робертом Майером – сыном аптекаря Христиана Майера, и не с ленивым школьником, и не с бунтующим студентом, и не с молодым врачом, убегающим от скучной провинциальной жизни в далекое путешествие, – а с глубоким умом, с основателем современного учения о теплоте и энергии, с одним из величайших борцов против консерватизма в науке.

II

В глазах обывателя великие таланты и гении всегда являются чем-то вроде сумасшедших. Да так оно и есть: гений – это великое, божественное сумасшествие, когда человека целиком поглощает какая-нибудь одна художественная или научная идея, когда ради этой идеи он жертвует такими приемлемыми и понятными для всех наслаждениями и благами жизни, когда эта идея становится всем содержанием его бытия.

Так случилось и с Майером: с лета 1840 года история его жизни становится историей развития одной идеи, историей борьбы за эту идею. И естественно, что излагать дальше биографию Майера – это значит излагать биографию его идеи.

Мы уже проследили момент зарождения этой идеи. Остается указать, каково именно было ее содержание, как она развивалась и какое имела значение для науки.

Как известно, человеческий организм представляет собою подобие паровой машины. Желудочно-кишечный аппарат – это паровой котел; пища, попадающая в желудок и кишки, – это топливо, уголь. Горение угля в котле, если рассматривать этот процесс с точки зрения химии, – представляет собой соединение заключающегося в топливе углерода с кислородом воздуха. Точно так же и в человеческом организме происходит непрерывный процесс соединения заключающегося в крови кислорода с углеродом и водородом, содержащимися в пище, другими словами, тот же самый процесс горения, что и в котле паровой машины. Как котел паровой машины, так

и человеческий организм заимствуют необходимый для горения кислород из окружающего воздуха: котел забирает этот кислород через топку и колосниковую решетку, человеческий организм – через легкие. Самый процесс горения, соединения с кислородом – в человеческом организме совершается в крови, причем свежую, насыщенную кислородом кровь сердце гонит по артериям, а кровь, насыщенная ''дымом'', углекислотой, – отводится по венам; кровь свежая, протекающая по артериям, имеет ярко-красный цвет, а кровь отработавшая, венозная, имеет цвет темно-красный, и чем больше пищи приходится поглощать человеку, чем больше образуется в нем ''дыма'' – тем темнее в нем венозная кровь.

На острове Яве от местных врачей Майер узнал, что бросившаяся ему в глаза яркая окраска венозной крови – под тропиками обычное явление. Отсюда Майер сделал правильный логический вывод, что явление это стоит в непосредственной связи с климатом: раз внешняя температура здесь, под тропиками, значительно выше, чем в странах с умеренным климатом, то, естественно, человеческий организм затрачивает меньше теплоты на поддержание нормальной температуры человеческого тела, а стало быть, в жарком климате человеку требуется меньше пищи – в вены поступает меньше ''дыма'', т.е. венозная кровь меньше насыщена углекислотой; это и дает крови более светлую окраску.

Но на этом выводе – в сущности не таком уже важном и никаких особенно новых горизонтов в науке не открывающем, Майер не остановился. Он продолжал свое сравнение человеческого организма с паровой машиной. Горение угля в котле паровой машины и развивающаяся при этом теплота – служат источником энергии, пользуясь которой паровая машина производит ту или иную механическую работу. С другой стороны, известно, что процесс механической работы сопровождается повышением температуры, нагреванием: нагревается ось в колесе, нагревается холодная поковка под ударами молота. Ну а если кузнечная работа производится не паровым молотом, а вручную? Поковка все равно будет нагреваться. Но откуда же в этом случае берется теплота? Такой вопрос задал себе Майер и ответил на него: ясно, что источником теплоты в этом случае будет живой организм кузнеца. Кроме этой ''внешней'' теплоты, человеческий организм, как уже говорилось раньше, развивает еще и ''внутреннюю''

теплоту, необходимую для поддержания нормальной температуры тела.

Внутренняя теплота получается за счет поглощаемой человеком пищи и возникающих затем процессов горения, окисления в крови: это установил еще Лавуазье. Продолжая мысль Лавуазье, Майер пришел к естественному выводу, что и "внешняя" теплота, развиваемая живым организмом, имеет своим источником все тот же самый процесс горения, окисления в крови. Дальнейшие заключения Майера связывались одно с другим с такой логической неизбежностью, с какой брошенный вверх камень неизбежно падает вниз. То, что мы называли внешней теплотой, есть теплота, развиваемая организмом при совершении какой-то механической работы. Стало быть, теплота и работа как-то могут переходить одна в другую, между ними есть какая-то связь, потому что как теплота, так и работа – одинаково являются результатом сгорания (окисления) в живом организме топлива, пищевых веществ. Но ведь один фунт угля, где бы и как бы его ни сжечь, дает всегда одно и то же неизменное количество теплоты; и один фунт хлеба или другого топлива для человеческого организма также всегда дает одно и то же количество теплоты. А если так, то ясно, что *теплота и работа находятся между собой в одной и той же неизменной, выражаемой в цифрах, связи.*

Все эти выводы, как звенья хорошо пригнанной железной цепи, так естественно, неразрывно, крепко входят один в другой. И когда перебираешь эти звенья, кажется прямо непонятным: отчего же другие ученые, занимавшиеся теми же самыми вопросами (например, Румфорд и Дэви – в конце 18-го века), – остановились на полдороге и не дошли до конца логической цепи? Кажется непонятным: отчего такая простая как будто идея так долго должна была созревать в недрах научной мысли? Но так бывает всегда: задним числом все великие идеи кажутся поразительно просты. Может быть, именно этато простота и является причиной того, что человеческий ум с таким трудом открывает их: ведь часто мы не можем найти потерянную вещь именно потому, что она лежит где-нибудь совсем на виду перед глазами.

Когда Майер пришел к своим выводам о зависимости между теплотой и работой, он сразу же понял все значение своего открытия; он почувствовал себя совершенно новым,

переродившимся человеком. В одном из писем он так говорит об этом: "Я с такой страстью взялся за работу, что даже мало интересовался той далекой частью света; охотнее всего я оставался на судне, где мог беспрепятственно отдаваться своей работе и где по временам чувствовал в себе какое-то вдохновенье. Ни раньше, ни позже – ничего подобного я, насколько помню, не испытывал. Спокойная проверка говорила мне, что это – истина, и не только субъективная, но такая, которая может быть доказана объективным путем. Настанет день, когда будет совершенно ясно, что эта истина принесет пользу науке".

Как-то сразу Майер стал старше, серьезнее, вырос на целую голову. Обрывается его наивный, сентиментальный путевой дневник, и в течение всего обратного пути с острова Явы Майер был полон одним – все той же идеей, "поразившей его, подобно молнии", как он говорит в одном из относящихся к этому времени писем.

В феврале 1841 года Майер прибыл в Голландию, а оттуда направился на родину. И дальше – картина: Майер пытается втолковать гейльброннским бюргерам всю важность и все значение своего открытия, а бюргеры мирно посасывают сигару, потягивают пиво – и в бороду себе посмеиваются над чудаком-доктором, который горячится из-за каких-то пустяков. Да и откуда, в самом деле, ученость взялась у аптекарева сына, когда всем было известно: в гейльброннской гимназии он еле-еле плелся, в самом хвосте; из университета его исключили... Среди обывателей Гейльбронна едва ли не единственным поклонником Майера оказался старший брат его Фриц; правда, и у Фрица не хватало крыльев, чтобы с высоты в полном объеме увидеть значение открытого Майером мирового закона, но Фриц понял, по крайней мере, что открытие Майера представляет собою крупное завоевание в области физиологии.

Понимающего человека пришлось Майеру искать на стороне: он вспомнил о физике Бауре, с которым жил в Париже перед своим путешествием на Яву, и написал Бауру письмо. Баур медлил с ответом. Майер волновался: как можно медлить, когда речь идет о вопросе такой важности? Майер писал Бауру одно письмо за другим. Интересно, что в первом же письме Майер, как бы предчувствуя дальнейшую судьбу своего открытия, просил своего адресата пока держать это откры-

тие в секрете, чтобы другие ученые не стали оспаривать у него, Майера, право первенства.

К июлю 1841 года Майер изложил сущность открытого им закона о соотношении между теплотой и работой в статье "О количественном и качественном определении силы. Сочинение Ю.Р. Майера, доктора медицины и хирургии, практического врача в Гейльбронне". Статью эту Майер отправил для напечатания в "Анналы физики и химии", издававшиеся профессором Поггендорфом. Это была первая встреча гениальной ереси с косностью научной догмы. Поггендорф статьи Майера не напечатал и даже не удостоил его ответом.

Чтобы быть беспристрастным, надо, впрочем, сказать, что в этой первой статье идея Майера была облечена еще в очень мешковато, по-провинциальному сшитые научные одежды. В этой статье еще сказывался недостаток систематической научной подготовки у Майера, особенно в области математики и теоретической механики. Майер все время ошибочно говорит в этой статье о соотношении между теплотой и *движением* — вместо того, чтобы установить зависимость между теплотой и механической работой, как это он и сделал впоследствии. Нематематику легко смешать эти два понятия: движение и работу; между тем, если вдуматься, ясно, в чем разница. Вооруженная молотом рука движется и совершает механическую работу. Ясно: чтобы производить работу, нужно не только движение, но и рука с молотом, *не только движение, скорость, но и сила*. Поэтому-то в механике работой называется сила, помноженная на скорость, т.е. на расстояние, пройденное в какую-нибудь единицу времени. Теперь становится понятной ошибка Майера: он целое (работу) заменил частью (движением). И в этом основной недостаток его статьи "О количественном и качественном определении силы". Тем не менее и в этой, еще несовершенной, не вполне созревшей форме, человек со светлым, не закопченным рутиной умом мог бы увидеть зерно одной из величайших научных идей 19-го века.

Неудача с Поггендорфом не обескуражила Майера: настолько он был уверен в правильности и огромном научном значении своих выводов. Майер отправился в Тюбинген, к тамошним профессорам; но и тут рассуждение Майера слушали с улыбкой превосходства, рекомендовали ему выкинуть из головы еретические идеи и лучше почитать то, что написано

по этому вопросу в учебниках. Между прочим, один из профессоров (Норремберг) очень скептически отнесся к утверждению Майера, что от движения частиц воды – например, во время бурь на море – вода нагревается. Это не подходило ни под одну из одобренных учебниками теорий – и почтенного профессора не убедило даже заявление Майера, что он не раз проделывал этот опыт у себя дома и всегда с одним и тем же результатом: вода нагревалась.

Итак, новые идеи Майера, впоследствии вошедшие в науку в виде одной из основных, всеми признанных истин, в то время были встречены как ложные, еретические. Но Майер, как и все подлинные, прирожденные еретики, был упрям и настойчив: он продолжал упорно работать над окончательным оформлением и развитием своего учения. В начале 1842 года он закончил новую статью "Заметки о силах неодушевленной природы". В этой работе Майера мы находим два крупных шага вперед: первое – то, что теперь Майер уже совершенно правильно принимает количество теплоты пропорциональным работе, причем за единицу работы он принимает работу, потребную для подъема тяжести в один килограмм на высоту одного метра; второе – то, что от неопределенного указания на некоторую зависимость между теплотой и работой Майер переходит к математическому, цифровому определению этой зависимости. Для определения этой числовой зависимости (так называемого "механического эквивалента теплоты") Майер применил гениально простой и остроумный способ. Майер взял 1 куб. метр воздуха и нагрел его на один градус, причем воздух от нагревания свободно расширялся. Затем Майер тот же самый кубический метр воздуха поместил в сосуд, сверху прикрытый поршнем, и нагревал воздух, уже не позволяя ему расширяться, а для этого на поршень сверху все время накладывались грузы. Опыт был закончен, когда температура воздуха в сосуде с поршнем тоже поднялась на один градус. Как и ожидал Майер, оказалось, что в первом случае – для нагревания на один градус воздуха, свободно расширяющегося, потребовалось затратить меньше топлива, меньше теплоты, чем во втором случае, когда воздух совершал некоторую работу (удерживая грузы, наложенные сверху на поршень). Ясно, что потребовавшийся во втором случае излишек теплоты был затрачен именно на совершение этой механической работы –

поддержания наложенных на поршень грузов. В результате этого опыта Майер был первым из физиков и механиков, которому удалось установить числовое соотношение между теплотой и работой, величину "механического эквивалента теплоты"*. Теперь с величиной этой приходится иметь дело любому ученому, занимающемуся вопросами теоретической или прикладной механики, любому технику, проектирующему паровой котел, паровую машину, двигатель внутреннего сгорания. Так окончательно сложилась и оформилась великая идея Майера: сперва – неясно мелькнувшая в детстве детская мысль о perpetuum mobile, т.е. о возможности получения работы из ничего, без постоянной затраты какой-нибудь энергии; затем – поразившее пытливый ум Майера странное явление – нагревание воды в море после бури; потом – замеченная на острове Яве яркая окраска венозной крови и все сложное, стройное логическое здание, вырастающее из этого как будто такого незначительного факта; дальше – еще не вполне оформленное учение о зависимости между теплотой и работой, изложенное в статье "О количественном и качественном определении сил"; и наконец – точные, научные выводы, подтвержденные остроумным опытом и закрепленные в цифрах. Такова "биография идеи" Майера.

Упомянутую статью "Заметки о неодушевленных силах природы" Майер отправил знаменитому немецкому физиологу Либиху. Настоящий, большой ученый – Либих сразу же понял всю ценность изложенного в статье учения Майера и не только напечатал статью в своем журнале "Анналы химии и фармации", но кроме того написал Майеру письмо, где приветствовал его открытие и советовал ему продолжать работу.

В это время Майеру было 28 лет. Судьба как будто начинала улыбаться ему. С этим успехом Майера совпало то, что ему тогда казалось удачей и в личной жизни: он полюбил девушку, получил от нее согласие быть его женой и обвенчался с ней – в том же 1842 году, когда появилась в печати его работа. Этот год можно считать вершиной счастья Майера; и отсюда постепенно начинается для него спуск вниз, длительный и скорбный крестный путь пионера – пролагателя новых пу-

* Оказалось, что при затрате единицы – "калории" – можно поднять 424 килограмма на высоту одного метра, т.е. произвести работу, равную 424 килограммометрам – если говорить языком современной механики.

тей, крестный путь человека, своевременно не оцененного эпохой, не понятого близкими.

III

Странная судьба у большинства великих людей: они на диво неудачно выбирают себе жен: у Сократа была Ксантиппа, у Гейне – Матильда, глупая, как ее попугай Коко; у Майера была своя Ксантиппа-Матильда. Это была дочь мелкого, но сколотившего изрядный капиталец гейльброннского торговца Клосса. Вместе с деньгами она принесла с собой в дом Майера атмосферу тупого, благочестивого, уверенного в непогрешимости своих мнений мещанства. Брак и семья – на всю жизнь заперли Майера в затхлую провинциальную клетку и помешали его творческому духу во всю ширь расправить свои крылья. Жена, ее отец и многочисленные родственники скоро стали открытыми врагами Майера – научного романтика, Майера, чувствовавшего за собой право на мировое признание и славу, Майера – портившего себе карьеру врача какими-то сумасбродными фантазиями. Жене Майера и его тестю больше всего принадлежит заслуга обращения философа, стремившегося лучами своей неугомонной мысли проникнуть сквозь звездные туманы вселенной, – в тихого, мирного и набожного гейльброннского обывателя.

В пору своей женитьбы Майер был городским врачом в Гейльбронне, имел недурную практику. Кое-какие средства Майер получил в наследство от своего отца. Жить было можно. Но ведь товарищи Майера давно уже имели почетные звания разных "гофратов" и нажили себе практикой хорошие деньги, а Майер с годами – в глазах гейльброннского обывателя – все не становился умнее: по-прежнему возился с какими-то опытами и вычислениями, писал какие-то никому не нужные статьи и даже – смешно сказать – учился. В Гейльбронне поселился один из немногих друзей Майера, математик Баур, он занял место учителя в гейльброннской гимназии, и у него Майер брал уроки математики и механики, так как чувствовал, что по этой части в его образовании – большие пробелы.

Эти уроки несомненно сыграли свою роль и помогли Майеру так математически-ясно и стройно изложить свои мысли в новом сочинении "Органическое движение и обмен веществ".

Работа эта была закончена Майером в 1844 году. В ней Майер продолжает развивать, углублять свои прежние принципы и дает широкие философские обобщения, в которых мы можем найти все основы современных научных представлений о материи и энергии. Здесь Майер устанавливает единство различных видов энергии – теплоты, магнетизма, электричества, энергии механической, энергии химических процессов – и формулирует закон, именующийся в современной науке "законом сохранения энергии", закон, который говорит, что при всех химических и физических процессах данное количество энергии сохраняет постоянную величину – изменяется лишь форма энергии. Пытливость Майера заставляет его исчерпать всякую мысль до дна, и он задается вопросом: если существует закон сохранения энергии, если энергия не может получаться из ничего – так откуда же берется энергия, заключенная в угле, энергия, заключенная в съеденной человеком пище? Ответ на это Майер дает такой же, как и современная наука: источником энергии на земле является солнце. С углем – сжигаем отвердевшие куски солнечной энергии, с хлебом – мы съедаем солнечные лучи. Уголь в незапамятные времена зеленел на земле в виде растений; растения – это резервуары, вечно поглощающие тепловую энергию солнечных лучей. Так, сложным и длинным путем, проходя через организм растительный и животный, солнечные лучи превращаются в работу человеческих рук и мозга.

Этот свой новый труд – "Органическое движение и обмен веществ" – Майер тоже направил было для напечатания в Либиховские "Анналы химии и фармации", но получил отказ. Редакция рекомендовала Майеру передать эту статью в "Анналы" профессора Поггендорфа, но после неудачного опыта с первой статьей в 1841 году Майер к Поггендорфу, конечно, уже не мог обратиться. Так в официальных ученых журналах не нашлось места для этой работы Майера; он вынужден был напечатать ее отдельной брошюрой в Гейльбронне и выпустил в свет в 1845 году. Выводы Майера расходились с современной ему наукой – расходились, как быстро мчащийся поезд расходится с неуклюже плетущейся по шоссе телегой. Но такого расхождения было достаточно, чтобы и на этот раз ученые ремесленники попытались опорочить выводы Майера: известный в то время немецкий физиолог Мюллер считал вопрос о связи между процессом горения (окисления) и меха-

нической работой – еще недостаточно выясненным, чтобы о нем можно было говорить в печати; профессор физики и химии Пфафф просто указывал, что все выводы Майера основаны на странных заблуждениях и что ошибочен самый основной тезис Майера, так как "не теплота производит движение, а наоборот движение – теплоту..."

Если такое непонимание Майер встретил в среде людей науки, то чего же можно было ждать от гейльброннских мещан? В семье на Майера стали смотреть как на человека, у которого не все дома. Вдобавок ко всему странные занятия Майера оказывались прямо убыточными: на печатание своих "нелепых сочинений" он тратил деньги, вместо того чтобы эти деньги откладывать, как подобает доброму гейльброннскому обывателю. У Майера уже были дети; хороший отец семейства думал бы о детях, а он вместо этого сочинял статьи о какой-то никому не нужной теплоте, о солнце – Бог знает о чем...

Несмотря на такую семейную обстановку, несмотря на неудачу с предыдущей статьей, Майер упорно продолжал работать. Острым логическим ножом своей мысли он анатомировал вселенную все глубже, он переходил к решению все более широких, космических задач. Если в предыдущей своей работе он остановился на мысли, что вся энергия имеет источником своим солнце, то теперь перед ним естественно встал вопрос: откуда же черпает энергию само солнце? И верный своему учению о возникновении тепловой энергии из механической, о возникновении тепловой энергии в результате удара одного твердого тела о другое, – Майер создал теорию о том, что температура солнца поддерживается постоянно падающими на солнце кометами, мелкими небесными телами и осколками небесных тел. Попутно Майер строит остроумную гипотезу, объясняющую загадочное явление солнечных пятен, и высказывает ряд ценных для науки соображений относительно влияния приливов и отливов на вращение земли*, относительно общей суммы теплоты, заключающейся в солнце и в земле.

---

* Приливы и отливы имеют причиной притяжение водяных частиц луной. Главная волна прилива движется с востока на запад, а земля вращается в обратном направлении. Трение частиц воды о дно и удары волн прилива о берег вызывают замедление вращения земли.

Наученный прежним горьким опытом, Майер и эту свою работу предпочел издать отдельной книжкой, напечатанной за собственный счет, – и это, конечно, вызвало новые на него атаки со стороны "внутренних" семейных врагов. Работа под заглавием "Опыт небесной динамики в популярном изложении" появилась в 1848 году. Это был год, когда по всей Германии гремели громы революции, – и естественно, что голос чудака, вздумавшего в такой момент рассуждать о солнце и о кометах, не был услышан. Статья Майера о небесной динамике, со всеми ее глубокими философскими выводами, была обойдена молчанием.

Тем временем колесо революции вертелось все быстрее, забирало все глубже и задело, наконец, даже такие тихие, заплесневелые уголки, как Гейльбронн. Сам Майер был слишком далек от земли, чтобы принять в революции непосредственное участие, а может быть уже сказалось омещанивающее влияние семьи, – во всяком случае, Майер был в стороне от охватившего всю Германию движения. Но старший брат Майера с головой ушел в революцию и очутился в числе вожаков восстания в Бадене. По просьбе своей невестки, жены брата, Майер отправился в Баден, чтобы уговорить брата Фрица вернуться домой, в Гейльбронн, в лоно семьи. В Бадене, разыскивая брата, Майер попал на квартиру Зигеля, вождя баденских повстанцев; Майера заподозрили в шпионстве и чуть не застрелили: до научных заслуг Майера баденским повстанцам было так же мало дела, как мещанам Гейльбронна. Как-то Майеру все же удалось выбраться из этой передряги целым и невредимым.

Политические взгляды Майера в эти годы были, по-видимому, консервативными, и только позже, после целого ряда новых столкновений с разными бесталанными профессорами, настроение Майера стало гораздо более оппозиционным. А пока Майер оставался верен себе, верен главной задаче своей жизни: произвести революцию в науке. Нужно отметить, что во всех своих научных трудах, Майер шел в ногу с демократическим духом эпохи: свои работы он писал отнюдь не для узкого класса специалистов-ученых, а писал языком популярным и предназначал их для широких масс; недаром же в последней из своих работ к заглавию "Опыт небесной динамики" Майер прибавил: "в популярном изложении". И может быть это похищение прометеева огня науки, чтобы принести

его простым смертным, эти попытки говорить о своем учении с широкими массами чрез головы ученых чиновников, было одной из причин, что последние вскоре так набросились на Майера.

Кампания против Майера началась в мае 1849 года. Поводом послужило то, что в печати появились сведения о некоторых работах английского физика Джоуля, касающихся того же самого поднятого Майером вопроса о соотношении между работой и теплотой. О результатах своих опытов Джоуль впервые заявил публично (на собрании "Британской Ассоциации") в 1843 году, т.е. год спустя после появления в печати первой работы Майера. И тем не менее в докладе, представленном французской Академии и напечатанном в ее отчетах, Джоуль утверждал, что первенство открытия зависимости между теплотой и работой принадлежит ему, Джоулю, а никак не Майеру.

В нумере аугсбургской газеты "Allgemeine Zeitung" от 14 мая 1849 года Майер напечатал коротенькую заметку, в которой, ссылаясь на даты, доказывал, что ему по праву принадлежит честь открытия этого великого физического закона о соотношении между теплотой и работой.

В течение семи лет немецкие ученые упорно не замечали работ Майера, и только теперь, после заявления Джоуля и ответа Майера, в той же самой аугсбургской газете "Allgemeine Zeitung" появилась статья о Майере. Статья эта принадлежала перу доцента Тюбингенского университета Зейфферта, но за спиной Зейфферта несомненно скрывалась вся клика консервативных профессоров захудалого провинциального университета: тюбингенские профессора решили сбить, наконец, спесь с этого зазнавшегося гейльброннского докторишки, осмелившегося утверждать, что он знает больше их, профессоров, и своими открытиями расшатывающего устои их непогрешимой школьной науки. В статье Зейфферта Майер был выставлен как малосведущий дилетант; выходило так, что никаких научных заслуг у Майера нет, никаких открытий он не сделал, и в заключение публику предупреждали, чтобы она не очень-то доверяла фантазерам вроде Майера.

Уже большим ударом для Майера было упомянутое выступление английского физика Джоуля: у Майера отнимали право на любимое детище. Но на его стороне были такие верные союзники, как факты и даты; Майер был уверен, что од-

ного опубликования заметки в аугсбургской "Allgemeine Zeitung" будет совершенно достаточно, чтобы исчерпать вопрос и восстановить свои права. Можно себе представить, как на него подействовало появление статьи Зейфферта. Следует отметить, что Майер не принадлежал к числу тех исключительных натур, для которых достаточно собственного сознания правоты и для которых мнение других – ничто; следует вспомнить, что дома в Гейльбронне, в семье – Майер постоянно слышал одни только насмешки над своими занятиями наукой. И вот теперь – его имя было обесславлено по всей Германии: аугсбургская газетка пользовалась в ту пору большой популярностью.

Майер немедленно же написал статью, в которой возражал Зейфферту, и статью эту отправил в ту же самую аугсбургскую газету. Но редактор не хотел портить отношений с коллегией профессоров Тюбингенского университета и отказал Майеру в напечатании его статьи. Майеру оставалось единственное средство, к которому он уже и раньше прибегал для опубликования своих сочинений: он снова за собственный счет издал в Гейльбронне брошюру "Заметки о механическом эквиваленте теплоты". Пока брошюра была написана и напечатана, прошло около двух лет, и брошюра вышла только в 1851 году. В ученых кругах брошюры Майера не заметили – или сделали вид, что не заметили. В широкую публику специальная, научная брошюра Майера, естественно, не могла проникнуть: в глазах этой публики Майер должен был остаться каким-то малограмотным выскочкой и чуть ли не вором научных идей, как это выходило по статьям Джоуля и Зейфферта. Для Майера создавалось безвыходное положение: противники его не принимали открытого боя. Для справедливого гнева Майера не было естественного выхода – в статьях, в полемике; Майер вынужден был молчать, и вся энергия этого гнева – если использовать научные образы, созданные Майером, – вся энергия "обратилась вовнутрь", обратилась в злой огонь, медленно пожиравший силы духа Майера.

По целым дням Майер запирался у себя наверху, в комнате, расхаживал большими шагами и по временам давал выход раздражению в крепких словах по адресу обидчиков. А внизу к шагам Майера прислушивались его жена, и его почтенный тесть, и шурья, и дети: "Наш блаженный совсем спятил. Слышите: сам с собой разговаривает?"

Если Майер спускался вниз, его же собственные дети косились на него и пересмеивались: они целиком были под влиянием матери и от старших постоянно слышали, что их отец – дурачок, полоумный. Фрау Майер неустанно пилила мужа. Были мобилизованы все гейльброннские авторитеты, чтобы обратить Майера на путь истинный: ежедневно приходили гейльброннские коллеги Майера – врачи, гейльброннские пасторы и выливали на Майера целые ведра красноречивых, практических, убедительных, трезвых, набожных, разумных доводов.

Майер не выдержал. В темную весеннюю ночь 1850 года он выбросился из окна второго этажа на мостовую. До смерти он не убился – только повредил ногу и хромал потом всю остальную жизнь. В 1851 году Майер заболел воспалением мозга; прошло оно очень скоро. Но жена Майера и его тесть решили, наконец, принять энергичные меры, чтобы излечить Майера от его "мании величия" и сделать из него нормального, добропорядочного человека. Да вдобавок этими своими постоянными крепкими словами по адресу противников Майер мог развращающим образом подействовать на детей: нельзя же в самом деле такого человека держать в порядочном доме... В 1853 году против Майера были, наконец, приняты "энергичные меры", и меры эти, как увидим дальше, достигли своей цели: неугомонный дух Майера сложил свои орлиные крылья и уселся на мирном гейльброннском нашесте.

IV

Роберт Майер – это романтик науки, Дон-Кихот физики. Как Дон-Кихот, он всю жизнь был рыцарски верен одной Дульцинее; как Дон-Кихот, он всю жизнь сражался во имя ее; как над Дон-Кихотом, над ним потешались; как Дон-Кихота, его считали помешанным. И как в Дон-Кихоте, под латами благородного и бесстрашного рыцаря было тощее, неуклюжее тело захудалого ламанчского дворянина, так и в Майере, где-то глубоко под его героическим обликом, крылся другой Майер: Майер – обыватель заросшего дремучим провинциальным мхом Гейльбронна, Майер – сын доброго гейльброннского аптекаря Христиана Майера, Майер – праправнук почтенного пастора Христофора Майера. При всем мужестве, настойчивости, последовательности – в Роберте

Майере не хватало стали, лезвия. Для борьбы с его научными врагами нужны были выпады более резкие и жестокие, чем, например, написанная им для самозащиты брошюра; для борьбы с засасывавшим его провинциальным болотом нужны были средства хирургические, вплоть до разрыва с опутывавшей его, как кандалы, семьей. Но на это у Майера решительности не хватало. В натуре у него было чересчур много мягкости – это его погубило. Он был слишком силен духом и слишком высоко парил, чтобы стать подлинным рабом мещанства, но все же был недостаточно силен для того, чтобы разорвать решительно с этим мещанством. А с другой стороны – жена его была особа с характером по-мужски твердым и деспотическим, с миросозерцанием цельно-гейльброннским, без единой трещинки. Так же, как и для врагов Майера в другом, ученом лагере, – для фрау Майер в мире существовали только две категории: белое и черное, ее тупо-непогрешимые истины – и все остальное. Сомнений для нее не было никаких: это "все остальное" – заблуждения, и как таковое должно быть исправлено и подогнано под ранжир ее непогрешимых истин. Обычная судьба пророка в своем отечестве, обычная судьба романтика – быть побежденным грубой, практичной и трезвой жизнью. Такова была судьба Дон-Кихота; такова была и судьба Роберта Майера. Жена его и тесть сыграли роль бакалавра Карраска, во время шутовского турнира выбившего рыцаря ламанчского из седла, чтобы тем вернуть его в среду "нормальных" людей. Бакалавр Карраска несомненно желал Дон-Кихоту добра – того, что по его понятиям было "добром". Жена Майера и ее родственники, вероятно, тоже желали ему добра, своего "добра".

После того как Майер оправился от воспаления мозга – жена и ее родственники стали его уговаривать: "Ты болен. Тебе надо поехать посоветоваться с врачами, полечиться. Ты сам понимаешь..."

Майер – сам врач – конечно понимал, что нервы у него издерганы вконец, что ему хоть на время нужен покой, и понимал, что условия домашней жизни этого покоя ему ни в какой мере не могут обеспечить. И Майер сам добровольно (как он потом рассказывал одному из своих немногочисленных друзей – Дюрингу) отправился в Гэппинген.

Здесь была санатория и водолечебница для нервнобольных. Но врачи в Гэппингене были уже основательно подготов-

лены женой Майера и его тестем: врачам был приведен целый ряд убедительнейших доказательств, что Майер страдает тяжелой формой мании величия и по временам буйными припадками. Заправилы гэппингенской лечебницы очень ловко убедили Майера съездить в местечко Винненталь для совета с заведующим тамошней лечебницей доктором фон Целлером. Ничего не подозревая, Майер отправился в Винненталь. Но Винненталь был для него западней: немедленно же по прибытии сюда Майера доктор фон Целлер посадил его в одиночную камеру, в отделение для сумасшедших.

Доктор фон Целлер был человек образованный, он читал статью Майера "Органическое движение в связи с обменом веществ". И потому доктор фон Целлер начал с расспросов: настаивает ли пациент на своем нелепом утверждении, что теплоту можно измерять какими-то килограммометрами? Майер, конечно, настаивал и, конечно, продолжал горячо утверждать, что именно он, Майер, открыл этот великий закон физики. Для фон Целлера это было явным доказательством, что пациент страдает манией величия и что пациент – несомненно сумасшедший: ведь то, о чем говорит Майер – "бессмысленно, как квадратура круга", так определил это ученый психиатр. И дверь камеры прочно захлопнулась за упрямым еретиком.

Майеру все это представлялось странным недоразумением; он стал настаивать, чтобы к нему вызвали кого-нибудь из Гейльбронна, кто бы мог разъяснить, что он, Майер, вовсе не сумасшедший, – ну вот, хотя бы его жену. Но – странно – жена не приезжала, никто из Гейльбронна не приезжал. Майер вызывал к себе кого-нибудь из администрации лечебницы: никто не являлся, в коридоре тихо, только шаги служителей. В припадке отчаяния Майер стал колотить сапогом в дверь. Для фон Целлера этого было довольно, чтобы решить: пациент из камеры номер такой-то – буйный сумасшедший. Надеть на номер такой-то сумасшедшую рубаху и привязать его к "смирительному стулу". И номер такой-то скрутили и привязали.

Неизвестно, сколько времени держали Майера в сумасшедшей рубашке на этом самом "смирительном стуле". Вероятно долго, потому что сам он впоследствии рассказывал Дюрингу, что после этой процедуры у него жестоко болела спина и во многих местах на теле были ссадины и раны от ве-

ревок. Так просвещенный психиатр лечил одного из величай- ученых 19-го века от его "заблуждений" и мании величия. Лечение это продолжалось целый год. Целый год Майер высидел в одиночной камере сумасшедшего дома. Кто-то из посетителей лечебницы заинтересовался этим пациентом и попросил разрешения взглянуть на него. Разрешение было получено, и любопытный посетитель увидел человека, физически совершенно измученного, умирающего. Прошел слух, что Роберт Майер умер; об этом появилась заметка все в той же "Allgemeine Zeitung". Майера похоронили...

Известия о смерти Майера были преувеличены, именно преувеличены: он выдержал жестокое лечение доктора фон Целлера, он был еще жив; но живо было только его тело: дух Роберта Майера, непокорный дух исследователя сложнейших областей физики, дух неутомимого борца за научные истины – уже умер.

В 1854 году Майер был, наконец, выпущен из сумасшедшего дома и вернулся домой, в Гейльбронн, вернулся, к великой радости добрых своих родственников как будто уже излечившимся от своей "мании величия". Слава Богу: Роберт Майер стал жить по-человечески, как все. Он занимался врачебной практикой. Он перестал тратить время на эти свои нелепые вычисления и никчемное бумагомарание, перестал сидеть в затворе у себя наверху за письменным столом; как и все добрые люди, в свободное время он вместе с семейством отправлялся в гости и тут мирно беседовал – как и все, о том же, о чем и все. Подчас не прочь был и выпить. Он стал религиозен и по соображениям религиозным отзывался отрицательно об учении Дарвина. Роберт Майер излечился; Роберт Майер стал "нормальным" гейльброннским обывателем. Своей жизнью он говорил теперь то, что сказал излечившийся Дон-Кихот: "Полноте, друзья мои, какой же я рыцарь ламанчский: нет, я просто – Алонзо Добрый".

Так прошло пятнадцать лет. За это время Майер ничего не написал, если не считать незначительной статейки "О лихорадке", напечатанной им в 1862 году. В течение этих пятнадцати лет Майер безвыездно жил в Гейльбронне и не предпринимал никаких шагов для защиты или пропаганды своих идей. Но истина работает сама за себя и раньше или позже побеждает – обыкновенно позже. Так было и здесь. Открытые Майером научные истины мало-помалу пробивали себе

дорогу сквозь толщу научного консерватизма, мало-помалу завоевывали себе общее признание.

Началось это, как и следовало ожидать, не в Германии, не на родине Майера, а за границей. В 1858 году Майер был избран почетным членом швейцарского Общества естествоиспытателей в Базеле. В 1862 году, во время международной выставки в Лондоне, известный английский физик Тиндаль делал доклад о механической теории тепла и перед лицом собравшихся с разных концов света ученых торжественно провозгласил Майера творцом этой новой теории. ”Особенно приходится удивляться тому, что сделано Майером, если принять во внимание внешние условия его жизни и время, в течение которого он написал свои работы. Этот гениальный человек работал в неизвестности; исполненный любви к своему предмету, он достиг результатов более важных, чем другие, всю жизнь занимавшиеся исследованиями в области естествознания.” Такими словами заканчивался доклад Тиндаля.

Затем, наконец, заговорили о Майере и в Германии.

Около этого времени у Дон-Кихота-Майера появился верный оруженосец – доцент Берлинского университета Дюринг: Дюринг выпустил книгу под заглавием ”Критический обзор общих принципов механики”; в этой книге он отводил Майеру место в ряду величайших созидателей науки, каковы Галилей, Гюйгенс, Лагранж, и одновременно развенчивал многих чиновных представителей тогдашней немецкой науки, которые сами никаких новых путей не пролагают, а лишь идут по проторенной другими дорожке. Между прочим Дюринг осмелился задеть и знаменитого Гельмгольца: он провел параллель между научными заслугами Гельмгольца, этого признанного светила, и заслугами никем не признанного Майера – и пришел к выводу, что Майер для науки сделал едва ли не больше чем Гельмгольц. На оруженосца посыпались те же удары, что и на его рыцаря: профессора Берлинского университета, и в частности Гельмгольц, ополчились на Дюринга, и он был удален из университета.

Удаление Дюринга было грубым нарушением принципа свободы науки и вызвало большие толки в печати. Газетные статьи о Дюринге попали, наконец, в захолустный Гейльбронн: так узнал о выступлениях Дюринга и Майер. Между Майером и Дюрингом завязалась переписка, а позже, незадолго до смерти Майера, состоялось и личное знакомство.

В это время Дюринг жил в курортном местечке Вильдбаде, совсем недалеко от Гейльбронна. И тем не менее у Майера не было возможности пригласить Дюринга к себе в Гейльбронн, потому что жена Майера и ее родственники были против приезда Дюринга; позже Майер в одном из писем откровенно рассказал об этом Дюрингу: "Ведь всем известно, что я – дурак, и всякий считает себя вправе опекать меня", – писал он Дюрингу.

В назначенный день Майер не приехал в Вильдбад: этот день был днем рождения жены Майера, и потому Майер вынужден был остаться дома. "Это была, конечно, мелочь; но самый тон, в котором Майер рассказывал всю эту историю, сразу же очень ясно показал мне, каковы его семейные дела", – добавляет Дюринг. Прощаясь с Дюрингом, Майер назначал ему новое свидание уже в Гейльбронне, но опять-таки не на дому у Майера, а в отеле. Все эти факты, сами по себе незначительные, интересно отметить, потому что они определенно показывают, каково было положение Майера в семье, показывают, насколько он боялся своей жены и ее родственников.

Во время свидания с Дюрингом Майер лично подтвердил своему собеседнику, что главным виновником своего заключения в сумасшедший дом он считает герра Клосса, своего тестя, и что ближайшее отношение к этому делу имела также и его жена. "Женщины – это..." – тут Майер добавил по адресу женщин такое слово, что Дюринг не рискнул его привести и обозначил только многоточием...* Впоследствии Дюринг издал целую книгу под заглавием "Роберт Майер, Галилей девятнадцатого столетия", где подробно излагает всю историю борьбы Майера с косностью ученых ремесленников и с заедавшим его мещанством семьи.

Тем временем имя Майера приобретало все большую известность и в Германии и за границей. По представлению английского физика Тиндаля – лондонское Королевское Общество присудило Майеру медаль; в Париже – Майера сочли до-

* Другой из современников Майера, также лично знавший его, передает, что он слышал такой разговор Майера с женщиной-врачом: "А вы знаете, госпожа докторша, ведь женщин-то на небеса не пустят." – "Как? Почему?" – "В Откровении, в главе 8, стихе I-м сказано: 'и полчаса была в небесах тишина'. А если там будут женщины, ясно". Отношение Майера к женщинам становится очень понятным, если вспомнить, какую роль женщина сыграла в его жизни.

стойным премии имени Понселе и избрали его членом Парижской Академии; Туринская Академия прислала ему почетный диплом. В Германии издательство Котта выпустило полное собрание его сочинений и через несколько лет повторило это издание. Все эти внешние знаки запоздалого признания еще раз – последний раз – зажгли в Майере прежний творческий огонь. На съезде естествоиспытателей в Инсбруке в 1869 году – ровно через пятнадцать лет после "исцеления" Майера – он прочитал полный широких философских обобщений доклад "О необходимых следствиях и непоследовательностях механической теории теплоты". Еще раз Майер вырывается из тесной гейльброннской клетки и бросает взгляд на мир сверху, с какой-то огромной высоты, откуда одновременно видны и солнце, и дождем сыплющиеся на солнце метеоры, и земля, увенчанная коронами полярных сияний, и на земле – ничтожный и могущественный человек.

Возвращаясь к своей прежней теории о пополнении запасов солнечной теплоты механическим путем (удары падающих на солнце небесных тел), как одно из возможных следствий этой же теории – Майер отмечает явление так называемой "энтропии". Под энтропией разумеется стремление мировой энергии к покою – к смерти. И на земле, этой пылинке вселенной, постоянно происходит переход теплоты от тел более нагретых к телам менее нагретым. Энергия теплоты, согласно закону сохранения энергии, формулированному Майером, – при этом не теряется, но как бы понижается в качестве, стареет. Получается все более и более равномерное распределение теплоты, и это равномерное распределение является медленным умиранием вселенной, потому что при низких температурах, при отсутствии тепловых контрастов – даже большие количества теплоты неработоспособны: в ванне с теплой водой содержится гораздо большее количество тепловых единиц (калорий), чем в игрушечном паровом котелке, и тем не менее теплоту воды в ванне нельзя использовать для работы, а игрушечный паровой котелок дает энергию хотя бы для игрушечной паровой машины.

Учение об энтропии – один из глубочайших философских выводов всего современного учения об энергии – подробно развито было позднее другими учеными (Клаузиусом, Карно). Майер только в общих чертах наметил эту теорию. Оптимистическое миросозерцание Майера не могло примириться

с выводом о постепенном умирании мира и мировой энергии. В том же самом докладе Майер высказал мысль, что повторяющиеся время от времени столкновения крупных небесных тел обеспечивают непрерывное питание солнца падающими метеорами, а стало быть – всю солнечную систему тепловой энергией.

От солнца Майер обращается к земле. Земля представляется ему гигантской, непрерывно работающей электрической машиной. Постоянные течения воздуха в тропиках – так называемые пассатные ветры – непрерывно заряжают земную атмосферу электричеством, развивающимся вследствие трения воздуха о воду. Нагретые и заряженнные электричеством слои воздуха поднимаются вверх, текут к полюсам, и это, как полагает Майер, вызывает явление полярных сияний.

Человеку Майер отводит особое место среди всех явлений вселенной. Тело человека – эта живая машина – несомненно подчинено всем законам сохранения и превращения энергии. Но человеческую природу Майер считает состоящей из двух элементов: тела и духа, и дух, как формулирует Майер, "не подлежит исследованию физика и анатома". В этом умозаключении отразился последний период эволюции Майера – период его религиозности*.

В следующем, 1870 году, Майер разработал и прочитал доклад "О землетрясениях". Здесь Майер излагает простую и очень логичную теорию вулканических явлений, прямо вытекающую все из той же механической теории теплоты: вследствие беспрерывно продолжающегося охлаждения земного шара – земная кора стягивается и выдавливает наружу, на поверхность, огненно-жидкую массу, называемую лавой. Развитые в этом докладе мысли Майера послужили впоследствии основанием теории землятрясений Кордье.

Из других работ последнего периода деятельности Майера

---

* Уместно будет вспомнить, что в истории науки можно найти целый ряд ученых, занимавшихся точными науками и тем не менее религиозных. Таков был Ньютон, таков был Пирогов, таковы известные английские физики Уильям Крукс и Оливер Лодж, да и много других.

Относительно Майера – по крайней мере Майера в последний период его жизни – Дюринг, на основании слов самого Майера, отмечает, что он был равнодушен к внешней стороне религии. Религия выражала стремление глубины его духа привести всю "природу к какой-то божественной законченности и гармоничности", – говорит Дюринг.

– следует отметить статью, касающуюся явлений так называемого "разряда" энергии. Эта последняя из написанных Майером работа является необходимым дополнением к развитой Майером теории превращения энергии. Легкое трение спички вызывает пожар, ничтожная искра – страшный взрыв: тут нет равенства, эквивалентности между причиной и следствием. Такие явления ("разряды") имеют место в том случае, когда способная к превращению энергия (например, энергия взрывчатого вещества) была каким-нибудь способом удержана от этого превращения. Обращаясь к случаям физиологического разряда, т.е. разряда энергии в живом организме, Майер первый и последний раз печатно упомянул о страданиях, испытанных им в лечебнице доктора фон Целлера. "Я хотел бы отметить, – говорит Майер, – как противоестественна та рутина, которая при психических болезнях и умственных расстройствах подавляет столь необходимые разряды посредством самых жестоких приемов: сумасшедших рубашек, смирительных кресел и смирительных кроватей. Это, конечно, способ весьма удобный и не требующий решительно никакого искусства, но он причиняет несчастному громадный вред и в лучшем случае оставляет в нем чувство горечи. И тот, кто прибегает к этому бессмысленному способу, не смеет претендовать на звание добросовестного врача".

Ни признание научных заслуг Майера за границей, ни все возрастающая его популярность в самой Германии не спасали его от нападок со стороны его врагов. Попытки так или иначе подорвать репутацию Майера время от времени возобновлялись. Снова пускалась в ход басня о "мании величия", сумасшествии Майера, припоминались неточности в первых его работах. Появилась направленная против Майера статья профессора Карла Фогта. Выступил Гельмгольц с докладом, содержавшим целый ряд ядовитых выпадов против Майера. "Поверхностные аналогии находить легко, – говорил Гельмгольц. – Это занимательно, и такие остроумные выходки вскоре обеспечивают автору славу богато одаренного человека. Среди большого числа подобных мыслей неизбежно найдутся и такие, которые впоследствии окажутся наполовину, а может быть даже и целиком – верными; ведь постоянно делать одни только ложные догадки – это было бы сущим чудом. В этом счастливом случае можно провозгласить приоритет автора на открытие; в противном случае челове-

ческая забывчивость покрывает ошибочные выводы. Добросовестные труженики остерегаются выставлять свои мысли на рынок раньше чем эти мысли будут подвергнуты всестороннему испытанию, раньше чем будут устранены все сомнения и установлены незыблемые доказательства...”

Так люди, которые никак не могли примириться со все растущей славой какого-то гейльброннского лекаря, отравляли последние годы существования Майера и опять пытались в глазах широкой публики выставить его легкомысленным шарлатаном. Но, к счастью, в европейской науке имя Майера стояло уже слишком высоко, слишком твердо, чтобы его могли поколебать продиктованные недальновидностью или завистью выходки. И, к счастью, Майеру оставалось терпеть уже совсем немного: его трудный жизненный путь был близок к концу.

V

Из сумасшедшего дома Майера выпустили, когда ему было сорок лет. И затем целых пятнадцать лет, самые лучшие, зрелые годы, были вычеркнуты из его жизни: Майера – творца, Майера – рыцаря науки не было, был только гейльброннский обыватель Майер. Но с начала семидесятых годов 19-го века, пятидесятилетний Майер вдруг помолодел, как выпивший волшебного напитка гетевский доктор Фауст: этим волшебным напитком для Майера было признание его гениальных идей, признание его научных заслуг. Молодым и бодрым Майер оставался до самой смерти.

Совсем незадолго до смерти Майера несколько дней в его обществе провел уже упоминавшийся в предыдущей главе Дюринг, и, по его описанию, вот каким представлялся Майер в последние месяцы своей жизни:

”Всякому, кто его видел, должны были прежде всего броситься в глаза простота и скромность в его внешности, в самой его одежде. Ему шел седьмой десяток, и все же он, несмотря на то что в горах по утрам и по вечерам бывает довольно прохладно, был одет в простой легкий сюртук и круглую шляпу. Никто не мог бы узнать в нем ученого. В нем не было никаких признаков, типичных для этих людей; даже то, что он носил очки, не давало повода к такому заключению. В его внешности и манере держать себя совершенно не

было этой обычной чопорности ученых. Простолюдин счел бы его за кого угодно, только не за ученого. Говорил он на швабском народном диалекте, и говорил так быстро, что жителю другой области Германии, даже привычному, надо было слушать с напряженным вниманием, чтобы следить за его мыслями. Несомненно, только очень проницательный человек по его лицу мог бы угадать в нем ученого исследователя и мыслителя: человек обыкновенный не нашел бы в его речах ничего особенного и отметил бы только разве быстроту и легкость оборотов, да еще обилие простонародных выражений и прибауток. В нем не было ничего похожего на аффектацию или манерность. Роберт Майер был прост, как сама природа, на которой он основывался и об руку с которой он шел в тонко понятом им основном законе физики. Как и природа, он говорил тем естественным, без всяких ухищрений, языком мысли, который остается чужд только ученым кривлякам и тупой болтовне педантов. В словах Майера несомненно было то, что именуется остроумием, но кроме того в них было видно и богатство духа. Это более благородное качество – полнота и богатство духа, столь далекое от обычного остроумия, проявлялось во всей непроизвольности, естественности его речи. Не было ничего заранее придуманного, заранее подготовленного. Чувствовалась свободная игра умственных и духовных сил, и ее вызывал случайный предмет разговора в ту или иную минуту. Все это было так далеко от чего-нибудь заученного; не было и следа какой-нибудь преднамеренности или желания произвести эффект". "По внешнему виду он был еще очень крепок, а если принять во внимание его живость, то едва ли кто мог бы поверить, что он так близок к смерти. Он тоже далек был от этой мысли и мечтал о более серьезной работе по вопросу о "рязрядах" энергии. Правда, в разговоре он как-то между прочим вспомнил, что он уже не молод, много пережил и может скоро умереть. Однако он не ждал, что так скоро порвется нить его жизни, да и не было никаких причин ждать этого. По виду его никак нельзя было заподозрить в нем какую-нибудь болезнь. И юношеская живость его духа заставляла забывать о некоторой его телесной слабости. Правда, когда он шел, в походке его уже можно было заметить какую-то нетвердость – такая нетвердость бывает у людей, в которых время, жизнь и несчастья уже изрядно поубавили энергии. Но только и всего, да и это можно было

разглядеть лишь очень зорким взглядом. А с другой стороны, он, уже шестидесятилетний старик, взбежал ко мне по лестнице с такой быстротой, какая под силу только молодому, крепкому человеку – и это несмотря на то, что одна нога у него волочилась. И поэтому о близости его смерти я думал не больше, чем о моей собственной смерти".

Зимой 1878 года этот бодрый и полный сил старик вдруг стал слабеть. Началось с того, что на правой руке появилась какая-то опухоль. Жена спросила, что это значит и не опасно ли это? "Это знак, что в королестве Датском попахивает гнилью", – с печальным юмором отвечал Майер словами шекспировской трагедии.

Перед Рождеством Майер простудился, заболел воспалением легких, слег в постель и уже больше не вставал. Как врач Майер прекрасно сознавал свое положение и предвидел, каков будет исход его болезни. "Спокойно и тихо лежал он на одре болезни, – описывала впоследствии его дочь, – ласково и радостно встречал каждого посетителя; особенно рад он бывал, когда приходил его сын, которого он всегда ожидал с нетерпением." Сын Майера в эту пору был уже врачом и лечил своего отца.

"Во время болезни Майера его домашние были очень ласковы с ним, – с иронией отмечает Дюринг, говоря о последних днях Майера, – но это уже не могло помочь..." 20-го марта 1878 года Майер скончался.

Во время шествия осужденных инквизицией к месту сожжения можно было видеть странную картину: среди приговоренных к костру наряженных в шутовские колпаки еретиков – несли гробы, изукрашенные теми же самыми символическими языками красного адского пламени, что и колпаки осужденных. В этих гробах – были кости еретиков, которые преступно умерли, не дождавшись приговора Святейшего Трибунала; инквизиция не оставляла в покое и мертвых: кости мертвых сжигались на том же костре, который должен был исцелить зараженный ересью дух живых. То же случилось и с Майером: наиболее твердые и ревностные отцы научной церкви не оставили его в покое и после смерти.

Начало положил все тот же Тюбингенский университет, alma mater Роберта Майера, исключивший за политическую неблагонадежность Роберта Майера – студента, преследовав-

ший за научную неблагонадежность Роберта Майера — ученого. Костром, на котором пытались сжечь прах Роберта Майера, была все та же аугсбургская газета "Allgemeine Zeitung", на страницах которой травили Майера при жизни. В роли служителя инквизиции на сей раз выступило лицо очень почтенное — канцлер Тюбингенского университета профессор Рюмелин.

Вскоре после смерти Майера профессор Рюмелин напечатал в "Allgemeine Zeitung" ряд статей, где доказывал, что раз Майер был в лечебнице для душевнобольных, то — ясно — все его работы после выхода из лечебницы не имеют никакой ценности как написанные человеком психически ненормальным. Стоит только вспомнить заглавие одной из последних работ Майера: "О необходимых следствиях и непоследовательностях механической теории тепла". Банальный ум тюбингенского профессора не в состоянии был понять, как это могут быть "необходимые непоследовательности"? На основании личных впечатлений о Майере-студенте, Рюмелин пытался доказать, что и в студенческие годы Майер был уже ненормальным: ведь он вел себя вовсе не так, как подобает нормальному, добропорядочному студенту. Увлекшийся Рюмелин пошел и еще дальше: он припомнил родителей Майера, отыскал и в них какие-то признаки душевной болезни и утверждал, что Майер ненормален был от рождения. Так ненавистен был "нормальным людям", людям золотой середины, толпы, шаблона — "ненормальный" гений Майер.

Чтобы в полном объеме понять все значение выходок Рюмелина, надо отметить, что Рюмелин был близким родственником жены Майера и только от нее и ее родственников мог получить все материалы, из которых он пытался сшить инквизиционный колпак для Майера. И еще надо отметить, что со стороны семьи Майера по-видимому не было сделано ни малейшей попытки защитить имя покойного. Статьи Рюмелина перепечатывались в других немецких газетах; имя Майера трепалось на все лады. В юмористических листках появились ядовитые карикатуры на Майера, иллюстрировавшие его "манию величия". По следам, проложенным Рюмелином, пошел некий Мюльбергер — и в фельетоне , напечатанном во "Франкфуртской Газете", тоже лягнул мертвого льва: в фельетоне Майер изображался уже не только как человек психически ненормальный, но и как горький пьяница.

Однако ни рюмелинам, ни мюльбергерам не под силу было свалить Майера. За границей, где у Майера не было "друзей" вроде Рюмелина и родственников вроде его тестя, – уже поднялся вопрос о постановке памятника великому исследователю законов природы; в Лондоне уже организовался комитет для сбора денег на памятник. Прошло еще несколько лет – спохватились и гейльброннцы. Через четыре года после смерти Майера они поставили перед ратушей памятник его гению – и собственной тупости.

Но достойный Майера памятник не здесь, не в Гейльбронне, а в другом, подлинном, великом отечестве Майера: имя этому отечеству, не знающему границ, объемлющему все народы и страны, все человечество – имя ему наука. Здесь неизгладимыми письменами высечено имя Роберта Майера на одном из краеугольных камней той великой пирамиды, которая из века в век складывается неустанными усилиями человеческого духа.

В современной науке Роберт Майер справедливо считается основателем всего учения тепловой механики, так называемой термодинамики. В наши дни термодинамика является обязательным предметом в каждом высшем техническом учебном заведении: законы термодинамики кладутся в основу проектирования машин. Осветив самую сущность работы тепловых машин, термодинамика способствовала усовершенствованию двигателей; именно исходя из законов термодинамики, швейцарский инженер Рудольф Дизель пришел к созданию обессмертившего его имя "двигателя Дизеля".

Значение работ Майера не ограничивается одной только практической областью техники: в развитии философии естествознания работы его играют, быть может, еще большую роль. На язык формул и цифр, на язык научных фактов – Майер перевел мысль, которую больше чем за две тысячи лет до него высказывал греческий философ Демокрит. Этот философ учил, что количество всего существующего в мире неизменно – изменяется лишь форма; Майер закрепил это положение, формулировал закон сохранения энергии. Тем самым Майер заложил фундамент и для всего современного учения об энергии, так называемой энергетики.

В наши дни точная наука, целые столетия занимавшаяся кропотливой работой анатомирования вселенной, разложе-

ния ее на части, анализа, – все больше начинает переходить к широким философским обобщениям, к синтезу; философия все больше облекается плотью точных наук – механики, физики; и соединение это – развертывает в будущем все более широкие горизонты. Одним из первых, двинувших точную науку на этот путь, надо считать Роберта Майера. Его проницательный ум сумел заглянуть больше чем на полстолетия вперед: Майер высказал мысль о единстве материи и энергии – мысль, являвшуюся совершенно еретической с точки зрения тогдашней науки и составляющую одно из основных положений новейшей философии естествознания. Мысль эту, еще не вполне ясно формулированную, можно найти и в печатных трудах Майера, но она уже вполне определенно выражена в письме Майера к одному из ближайших его друзей Гризингеру (1842 г.). В этом письме Майер пишет: "Мое утверждение – следующее: сила падения, движение, теплота, свет, электричество и химическое различие весомых веществ – все это составляет один и тот же объект, только в различных формах его проявления". То, что Майер связывает силу (энергию) и весомые вещества (материю), с несомненностью говорит, что Майеру ясен был этот принцип – единства материи и энергии.

Из приведенного в предыдущих главах краткого обзора трудов Майера видно, насколько многогранен и разносторонен был его ум: свои идеи он сумел применить и в физиологии, и в физике, и в химии, и в механике, и в астрономии. Эта многогранность давала повод близоруким противникам Майера упрекать его в любительстве, в дилетантизме. Но если Майер и был дилетант, то дилетант гениальный, дилетант типа Леонардо да Винчи. Особенностью таких гениальных дилетантов является редкостное соединение в них способностей аналитических с синтетическими, т.е. способности разбираться с помощью научных методов в самых мелких фактах – с талантом к широким обобщениям. В Леонардо да Винчи аналитический ум математика соединялся с творческим даром великого живописца. В Роберте Майере жили одновременно физик и философ; он одновременно смотрел на мир и в микроскоп, и в телескоп, видел и атом, и вселенную. Майер не принадлежал к числу тех близоруких ученых специалистов, для которых весь горизонт замкнут в безнадежном четыреугольном пределе разложенной на письменном столе книги:

у научной мысли Майера были мощные крылья, у него была богатая научная фантазия. Для него наука была не ремеслом, а страстью. В свою научную идею он был влюблен; это была его Прекрасная Дама. И потому его биография – это не обычная биография ученого, сводящаяся к перечню научных работ, а целый роман, полный радостей и страданий, падений и подъемов, поражений и побед.

1921

Приложение первое

ШУТЕЙНЫЕ ТЕКСТЫ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
к 50-летнему юбилею М.Горького*

В Финляндии попал я в баню. Глядь – приступает ко мне банщица, вымеобразная этакая чухонка. Тут моет, тут поливает! Мне неловко, куда деваться, не знаю. А банщица – ни в одном глазу: она привычная.

Так должно быть и юбиляру. А тем, кто его поливает, – ничего: привычные.

Евг. Замятин

1.4.1919 СПб.

Из комментариев К. Чуковского:

"...Хотя Горький родился в 1868 году, датой его рождения в ту пору считали 1869 год.

Поэтому его 50-летний юбилей мы, работники "Всемирной литературы", собирались отпраздновать в 1919 году. К этой дате решено было выпустить сборник, посвященный юбиляру. Редактирование сборника поручили А.А. Блоку и мне. /.../ Молодому писателю Михаилу Слонимскому поручили собирать материалы для этого сборника. Сборник был частично готов, когда Горький заявил нам, что по зрелом размышлении он считает выход сборника несвоевременным.

Чествование Горького в нашем тесном кругу состоялось 30 марта 1919 года. Бокалы для шампанского были налиты чаем (без сахару), каждый участвующий получил по роскошной лепешке величиной с пятак. /.../

Написано (приветствие Замятина – р е д.) по поводу речей Ф.Д. Батюшкова и директора типографии "Копейка", где печатались книги "Всемирной литературы".

---

*"Чукоккала", М., 1979, стр. 198-199.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОТ ОСНОВАНИЯ И ДО СЕГО ДНЯ

(Публикация В. Троицкого) *

Публикуемый текст – это шуточная история одного из наиболее известных послереволюционных издательств. Напомним поэтому только самые основные факты из жизни "Всемирной литературы".

Договор о создании издательства был подписан 4 сентября 1918 Горьким (как представителем литературно-издательской группы – Горький, А.Н. Тихонов, И.П. Ладыжников, З.И. Гржебин) и Луначарским – наркомом просвещения РСФСР. Договор и смета (6,5 млн. руб.) были утверждены СНК, а ВСНХ передал в распоряжение издательства типографию газеты "Копейка". Заведующим издательством, политически ответственным за его работу и одновременно комиссаром типографии был назначен Горький. Первоначальный план состоял в издании за три года (срок договора) библиотеки классиков западных литератур – 800 томов "основной" серии (по 20 печ. л.) и 2000 брошюр "народной" серии (по 2-4 печ. л.). Формально издательство находилось в ведении Наркомпроса, по сути же было совершенно самостоятельным. Отбором книг для перевода, обсуждением структуры томов, выбором редакторов и переводчиков занималась специально образованная Коллегия экспертов, члены которой утверждались группой основателей издательства.

Весной 1919 Горький добился расширения и без того грандиозной программы: было постановлено издать все шедевры не только западных, но и восточных литератур, и для этого была создана Восточная коллегия экспертов. Одновременно почти вдвое (до 1500 томов) был увеличен предполагаемый объем "основной серии". При издательстве организуется подсобная библиотека (постепенно разросшаяся до 70 тыс. книг), студия для обучения мастерству перевода, которой руководили члены Коллегии экспертов; роскошные каталоги "Всемирной литературы" выходят на четырех языках**.

---

*"Память", кн. 5-ая, стр. 287-309.

**Каталоги были отправлены по почте многим иностранным писателям и политическим деятелям – "дабы пролетарии Запада, а также А.Франсы, Уэллсы и разные Шейдеманы видели воочию, что российский пролетариат не токмо не варвар, а понимает интернационализм гораздо шире, чем они, культурные люди, и что он в самых гнусных условиях, какие только можно представить себе, сумел сделать в год

Усилиями многих литераторов в короткий срок были переведены, отредактированы и снабжены квалифицированными предисловиями сотни книг. Но лишь немногие из них увидели свет. Уже к июню 1919 было полностью подготовлено к печати 3 тыс. печ. л., к августу 1920 – еще столько же (или даже несколько больше). Однако издала "Всемирная литература" за это время лишь 53 книги и брошюры общим объемом 476 печ. л. В 1921 рукописи продолжали интенсивно поступать, но за весь год не было издано ни одной книги. Традиционно указываемые причины провала гигантского горьковского предприятия: дефицит бумаги, непокупаемость классической литературы в условиях гражданской войны, ее "непригодность для целей агитации и пропаганды" – видимо, справедливы.

При такой низкой продуктивности даже у тех, кто взялся за работу в надежде на "небывалый расцвет культуры" и "важнейшую просветительную роль" "Всемирной литературы", все иллюзии должны были пропасть довольно быстро, не позднее чем к концу 1920 – началу 1921. Но смысл существования "Всемирной литературы" отнюдь не исчерпывался ни количеством выпущенных книг, ни "привлечением старой интеллигенции к сотрудничеству с Советской властью" (такова общепринятая в советской науке точка зрения. См., напр.: О.Д. Голубева. *ГОРЬКИЙ – ИЗДАТЕЛЬ*. М., 1968, стр. 112).

Главное заключалось в том, что в первое советское трехлетие, с его голодом и смертями, для множества писателей и переводчиков издательство стало средоточием духовной жизни, культурным убежищем. Здесь получали профессиональную работу, обсуждали сделанное со специалистами, спорили о характере комментариев – словом, здесь совершалось то, что только и могло заставить интеллигента-гуманитария поверить в реальность и ценность своего существования в мире хаоса и разрушения*.

И еще одно, не менее важное: "всемирные литераторы" пытались помочь своим авторам выжить физически. Горький откровенно заявлял Луначарскому, что издательство "является для огромного большинства сотрудников единственным источником их существования" ("Архив А.М. Горького", Т. XIV, М., 1976, стр. 98). Коллегия экспертов распределяла заказы независимо от репутации редакторов и переводчиков в глазах новой власти. Гонорары выплачивались не после издания книг, а частично после сдачи готовых рукописей и окончательно после подписания корректур. Благодаря этому правилу оказалось воз-

---

то, до чего им давно пора додуматься". (Из письма Горького Ленину в январе 1919. М. Горький. *СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ*. Т. 29, М., 1955, стр. 388.)

* Ср. в известном заявлении руководителей издательства в зарубежную прессу: "...все они (члены Коллегии экспертов – п у б л.) сходятся на убеждении, что в наше трудное и страшное время спасение духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде". – Цитируется по: *ЧУКОККАЛА*. М., 1979, стр. 195.

можным выплатить гонорары сотням литераторов*. Когда деньги почти перестали что-либо значить, издательство пыталось дополнить или вовсе заменить гонорар продовольственным пайком (обычно пшеном или рыбой). ("Удалось наладить одну очень хорошую операцию. Мы даем Мурманскому парткому РКП 50-60 комплектов наших изданий, а они взамен выдадут пудов 200 соленой рыбы (треска, пикша, сельди)"; – находим в редакционной переписке лета 1921.) Конечно, и гонорары, и пайки были недостаточны для нормального существования, но все-таки оказывались важным подспорьем во времена, когда закрытие независимых газет, журналов и издательств отрезало писателям почти все возможности заработков.

Идеологическая независимость "Всемирной литературы", ее самостоятельность в выборе того, что и как печатать, огромные суммы, затрачиваемые ею (при малом количестве изданных книг), приводит уже в 1920-21 к острым столкновениям с Госиздатом РСФСР, которому издательство формально подчинялось с лета 1919. Взаимные претензии "Всемирки"и Госиздата рассматривала весной 1921 комиссия ЦК РКП(б). В этот раз Горькому удалось отстоять автономность "Всемирной литературы" в рамках Госиздата (по этому поводу есть даже утвержденное Политбюро 19.3.1921 специальное Постановление), но осенью 1921 Горький уехал за границу, и в его отсутствие борьба разгорелась с новой силой.

С началом НЭПа деятельность издательства оживляется. Оно переходит на хозрасчет, приступает к печатанию популярных на книжном рынке современных зарубежных авторов. При издательстве начинают выходить пользующиеся спросом журналы "Современный Запад" и "Восток". Но все это, улучшив экономическое положение "Всемирной литературы", не может решить вечный конфликт с Госиздатом. В результате, в декабре 1924 издательство перестает существовать.

* * *

Уже с середины 1920-х появляются публикации (в основном связанные с именем К.И. Чуковского и подытоженные в 1979 изданием *ЧУКОККАЛЫ*), дающие представление об особой внутренней атмосфере "Всемирной литературы". Эта атмосфера определялась контрастом между грандиозностью планов и результатами работы, между горьковскими заявлениями об общечеловеческой культурной и гуманистической миссии "Всемирной литературы" и реальностью Петрограда времен военного коммунизма и красного террора. Контрасты порождали ощущение призрачности, экстерриториальности "Всемирки" в революционной России и, одновременно, ироническую самооценку "исторического значения" трудов и дней издательства.

---

* Известны случаи, когда оплачивались рукописи, вовсе не заказанные "Всемирной литературой" и не всегда имевшие шанс быть в ней изданными. Так, в мае 1919 были выданы гонорары Блоку, Кузмину, Мережковскому, Ремизову и др. за невышедшие сборники, принятые у них ранее редколлегией Союза деятелей художественной литературы.

Из текстов такого рода наиболее известна блоковская *СЦЕНА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ "ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"* (Александр Блок. *СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.* Т. 3. М.-Л., 1960, стр. 422-425). В нашем распоряжении – еще несколько образцов "домашней" литературы издательства. Из них полностью мы публикуем *КРАТКУЮ ИСТОРИЮ...*

К *ИСТОРИИ* Замятин обращался трижды: в 1921 и 1922 – во время традиционных празднований Рождества в издательстве – и в последний раз 16 декабря 1924 года, в день, когда все находившиеся тогда в Петрограде члены Коллегии экспертов сделали записи в *ЧУКОККАЛЕ* по случаю закрытия "Всемирной литературы". Этот лист воспроизведен в издании 1979 года. Здесь, среди прочих откликов (А.А. Смирнова, Н.О. Лернера, А.Л. Волынского, С.Ф. Ольденбурга, В.М. Жирмунского и других), над рисунком М.Л. Лозинского, изображающим кита (Госиздат), приготовившегося проглотить утлую лодчонку ("Всемирную литературу"), находим:

"История Всемирной литературы. Часть III и последняя.
Слопали!
По неграмотности ✝
Евг. З/амятин/"

Надо помнить, что прежде всего замятинская *ИСТОРИЯ* – произведение художественное, к тому же шуточное, и его нельзя, конечно, воспринимать как традиционный "исторический источник". Показательно в этом смысле, что, повествуя об "ужасных событиях" и "великих бедствиях", автор сознательно умалчивал о событиях истинно трагических – смерти Ф.Д. Батюшкова в марте 1920, А.А. Блока в августе 1921, о расстреле Н.С. Гумилева в том же месяце. Этих ушедших из жизни членов Коллегии экспертов автор в круг персонажей не вводит. Все же в *ИСТОРИИ* мы находим немало подлинных сюжетов, "кусочков жизни": голод, эмиграцию интеллигенции (за границу уехала почти половина членов Коллегии экспертов), борьбу с Госиздатом, аресты осени 1922 и многое другое.

Кого же мы видим среди действующих лиц *ИСТОРИИ?*

Зиновий – Зиновий Исаевич Гржебин (1869-1929), художник, занявшийся в 1905 издательским делом. Был близок к Горькому. Заведовал до лета 1919 техническим отделом "В.л.", отвечал за коммерческую сторону дела. В 1919 организовал собственное "Издательство З.И. Гржебина". Осенью 1921 выехал за границу, вел широкую издательскую деятельность, разорился, умер в нищете (будучи сотрудником советского торгпредства в Париже).

Август Максим – Максим Горький, инициатор создания "В.л." Благодаря его личным дружеским связям с Лениным и другими вождями большевиков, издательство смогло просуществовать первые три года. От руководства издательством фактически отошел задолго до своего отъезда за границу в октябре 1921.

Корний – Корней Иванович Чуковский (наст. имя Николай Васильевич Корнейчуков, 1882-1969), к моменту создания издательства

– блестящий язвительный критик, входил в Коллегию экспертов "В.л.", ведал изданием англо-американской литературы.

Цезарь Тихон – Александр Николаевич Тихонов (1880-1956), по образованию горный инженер, друг Горького, с 1915 главный его помощник в издательских делах (редактор-издатель журнала "Летопись" и газеты "Новая жизнь", владелец издательства "Парус", бессменный зав. редакцией "В.л."). По отзыву Чуковского, "единственный среди нас деловой человек, очень властный и требовательный" (*ЧУКОККАЛА*, стр. 205). После закрытия "В.л." был редактором альманахов "Круг", издательств "Федерация" и "Academia", возглавлял редакции серий "История фабрик и заводов", "Жизнь замечательных людей" и др. В составе архива Тихонова (хранится в ИМЛИ) – масса документов "В.л."

Браун – Федор Александрович Браун (1862-1942), профессор Петербургского университета с 1900, филолог-германист. В Коллегии экспертов руководил немецким отделом (вместе с А.А. Блоком). В 1920 по командировке Наркомпроса выехал в Германию, в 1923 стал профессором Лейпцигского университета, но еще долго сохранял советское гражданство.

Левин-сон, сын Левия – Андрей Яковлевич Левинсон (1887-1933), критик, знаток балета. Во "В.л." вел (вместе с Н.С. Гумилевым) отдел французской литературы. За границу уехал в начале 1921 (хлопотал с середины 1920) "для изучения текущей литературы" (из ходатайства Горького Луначарскому). Сразу после отъезда порвал с Советской Россией, резко нападал в эмигрантской печати на Горького.

"Зачатый под виноградной лозой" – Григорий Леонидович Лозинский (1889-1942), литературовед, переводчик, в Коллегии экспертов ведал испанской и португальской литературой. В советских публикациях упоминается глухо и иногда смешивается со своим братом Михаилом Леонидовичем, занявшим после эмиграции Г.Л. его место в Коллегии экспертов.

Сильверсван, он же *Серебряный Лебедь* – Борис Павлович Сильверсван (1883-1934), филолог-скандинавист, член Коллегии экспертов не ранее чем с начала сентября 1921. К этому же времени относится его знакомство с будущей женой Евдокией Петровной Струковой (она же *Прекрасная Евдокия*), секретарем "В.л.", давней сотрудницей А.Н. Тихонова (секретарствовала еще в "Летописи"). Обстоятельства неожиданного для окружающих их совместного отъезда за границу в конце 1921 нам неизвестны.

Василий – Василий Михайлович Алексеев (1881-1951), филолог-китаист, профессор Петроградского университета с 1918, член-корреспондент РАН с 1922, академик с 1929. Член Восточной Коллегии экспертов со времени ее основания (апрель 1919).

Иоаким бен-Леви – Аким Львович Волынский (Хаим Лейбович Флексер, 1863-1926), знаменитый критик-идеалист, искусствовед, страстный балетоман, руководитель Школы классического балета ("Хореографического техникума"). В Коллегии экспертов вел отдел итальянской литературы. Псевдоним намекает на страстную защиту Волынским (в статьях и докладах) значения иудаизма для мировой культуры.

Брауд – Евгений Максимович Браудо (1882-1939), критик, музыковед, "медоточиво-любезный профессор" (*ЧУКОККАЛА*, стр. 205). Вошел в Коллегию экспертов во второй половине 1919. После отъезда Ф.А. Брауна и смерти А.А. Блока руководил отделом немецкой литературы. Автор массы вступительных статей к книгам, издаваемым "В.л." (в издательстве бытовала шутка о специально изобретенном приборе для написания вступительных статей – Браудографе).

Эвгенес – автор *ИСТОРИИ*, Евгений Иванович Замятин (1884-1937), член Коллегии экспертов, руководил, вместе с К.И. Чуковским, изданием англо-американской литературы и Литературной студией при "В.л." В 1931 выехал за границу, сохранив советское гражданство.

Игнотус – Игнатий Юлианович Крачковский (1883-1951), арабист, член Восточной Коллегии экспертов с апреля 1919. В 1921 был избран действительным членом РАН.

Лукуллов друг Павел, именуемый также Елисеем – Павел Елисеевич Щеголев (1877-1931), историк и пушкинист, в начале 1920-х редактор-издатель журнала "Былое". Во "В.л." подрабатывал редактурой. В *ИСТОРИЮ* попал по причине своей солидной комплекции, являвшейся предметом постоянных шуток окружающих.

Пророк Божий Иона – Илья Ионович Ионов (Бернштейн, 1887-1942), старый большевик, руководивший издательским делом в Петрограде в первое десятилетие Советской власти. По характеристике Чуковского, "сварливый, бездарный и вздорный маньяк" (К.Чуковский. *СОВРЕМЕННИКИ.* М., 1967, стр. 433). Брат З.И. Лилиной – первой жены Зиновьева.

Фидея (верная) – Вера Александровна Сутугина-Кюнер (1892-1969), работала в издательстве с момента его основания, сначала техническим сотрудником (подсчитывала строчки для оплаты поэтических переводов), затем – после отъезда Е.П. Струковой – стала секретарем редакции. После закрытия "В.л." была переведена в ГИЗ, где работала до 1931. В 1935 была выслана из Ленинграда. Жила сначала в г. Данилове Ярославской области, затем в Куйбышеве и в Сенгилее Ульяновской области. В Ленинград вернулась после 1956. Пробовала писать воспоминания о "В.л." и о поэте В.А. Зоргенфрее, с которым была очень дружна, но, кажется, не закончила эту работу. В 1960-х она перепечатала сохранившиеся у нее образцы шуточной литературы "Всемирки" и один из экземпляров подарила писательнице Р.Зерновой. От нее эти тексты попали к нам. Возможно, что при перепечатке В.А. Сутугина допустила какие-то ошибки, но исправить их мы не можем, т.к. не имеем возможности сверить находящуюся в нашем распоряжении машинопись с исходным экземпляром.

Замятинская *ИСТОРИЯ* писалась для "внутреннего пользования", для "посвященных", поэтому для нынешнего читателя в ней немало темных мест. Объяснить некоторые из них мы пытались в примечаниях, остальные станут понятны при более полном изучении "Всемирной литературы".

Подобно многим царствам, Всемирная Литература возникла среди воинственных кликов, и дыма пожарищ, и мечного звона в дни, когда пред силою железа склонились многие могущественные властители[1]. Один из них, именем Зиновий, первым принес жертву богам завоевателей, после чего тотчас был поставлен ведать сокровищницей Августа Максима, но жертва его, как мы впоследствии узнаем, была не от сердца, и в душе своей он затаил месть.

Август Максим заложил основание царству на Невском, 64, и первый год его правления был явно благословлен богами. Из окрестных пустынь ежедневно притекали многочисленные караваны переводчиков и, раскинув пестрые шатры, торговали плодами своих земель, получая по 250 бумажных сиклей за лист, чего в те древние и изобильные времена с избытком хватало на приобретение одного фунта хлеба. Влекомые слухами об изобилии, стекались во множестве ученые мужи из готских, франкских, халдейских, вавилонских, индийских, египетских и иных стран[2].

Два юных менестреля, оставив тлетворный обычай писания стихов о прекрасных дамах, ежедневно составляли азбуки для просвещения покоренных Августом диких племен[3]. Два корифея Дионисовых плясок, забыв о жертвах неистовому и прекрасному Богу, явились во дворец Августа, смущая ученых мужей видом украшенных виноградными листьями тирсов[4]. И наконец пришел человек из страны, где удивленный чужеземец видит у граждан не языки, но смертоносные змеиные жала, что составляет там гордость равно старцев и юношей. Человек этот, именем Корний, пришедши на Невский, 64, знаком показал, что желает принести жало в жертву Богам, после чего всенародно изъято у него было жало, а в уста ему вложен был язык некоего благостного и доброго старца.

Так в первый год правления Августа Максима процветала земля Всемирной Литературы, добродетель и любовь к отечеству была велика, поля и жены равно плодородны.

Но уже три бледные Сестры, прядущие нити человеческих судеб, усталые, задремали, перепутались нити, и над благодатной страной нависла туча нежданных и ужасных событий. Первым же из них была жестокая месть сказанного выше Зиновия.

Был великий и светлый день: исполнилось 50 лет Августу Максиму, и все племена Всемирной Литературы, многоголосые и разноязычные, как весенний лес, собрались на Невском, 64, дабы оказать Августу надлежащие почести. Весь день звонили медные языки колоколов и людей. Мужи, жены и дети длинной чередой подходили и возлагали цветы и ветви у подножия статуи Августа и подносили ему для благословения младенцев обоего пола, и в золотых кадильницах курили ему фимиам. От синих благовонных дымов многие лишались сознания, но и лишенные сознания продолжали говорить, так что никому не заметно было странное действие этих волшебных курений, и никто не видел, как из-под тоги вынимал Зиновий исписанные арабскими цифрами кусочки папируса и клал их в кадильницы[5].

Когда же настало утро и дыхание розовоперстой Эос прогнало дым, то все изумленно увидели незнакомые стены, шкафы и диваны и спрашивали друг друга: "Где мы?" – и опоясанный мечом привратник Михаил отвечал: "На Моховой, 36". С воплями и рыданиями бросились на Невский, 64, но здесь в дверях встречал их Зиновий и, зло торжествуя, спрашивал: "Вам кого? Здесь издательство Гржебина". И с ужасом узнавали, что силою чар и волшебных курений пленен Август Максим[6].

С того дня уже не видели больше Августа Максима во Всемирной Литературе, и власть принял некий юноша, 35 лет или более, именем Тихон. Правление этого нового цезаря было обильно многими происшествиями и бедами. Юноша этот рожден был под знаком Скорпия, о рожденных же под Скорпием так сказано в гороскопе Брюса: "Сей есть природы и естества Скорпия, студен и мокр, наклонения же Марса, сиречь непрестанен и немирен, тело свое украшать охотник, и помышления его к великой любви жен, но не весьма плодороден; счастье имеет купить и продавать; смерть же его будет от дьявольского привидения или от деяний женских"[7].

Под темным знаком Скорпия – скорби и скудости – текла жизнь на Моховой, 36, и происходили многие вещие знамения. Когда заседали мужи Совета, внезапно погасали светильники как бы от ветра. Каждый пятый день недели неведомая, в черных вретищах, женщина неслышными шагами проходила сквозь закрытые двери – и за нею, так же неслышно, священ-

ное и зловещее животное египтян – кошка. И, подъятые невидимой рукой, на глазах у всех исчезали папирусы и книги[8].

Вслед за знамениями и видениями явилась болезнь, дотоле неведомая и получившая теперь название Дельфской, по имени оракула в Дельфах. Пораженные этой болезнью мужи Совета истекали словами, как истекает кровью воин, насквозь пронзенный звонко летящей стрелою[9]. А затем начался голод и мор, и опустели сокровищницы цезаря, несчастно рожденного под знаком Скорпия. Женщины из племени переводчиков толпами приходили к цезарю Тихону и протягивали к нему младенцев, рожденных в изобильные времена Августа Максима, и, раздирая на себе одежды, обнажали перед Тихоном иссохшие груди и требовали денег. Он же платил им по 25000 бумажных сиклей за лист, но даже и одного фунта хлеба нельзя было купить на них, ибо были там обозначены письмена кушитские, хамитские и иудейские, и, опасаясь наказания от подлинных Богов за нечестие, никто не хотел брать этих сиклей и менять их на хлеб[10].

И вот однажды ночью проходил Тихон между освещенных зеленым серпом Дианы и молчаливых стен, когда из зеленого сумрака вышли, подобно дочерям Горгоны, переводчицы и потребовали не языческих, но истинных денег. С привычной твердостью цезарь отвечал им: "Завтра", и тогда переводчицы кинулись на него и, ударяя его железными посохами нещадно, переломили ему ногу. И лишь наутро Тихон был поднят шедшими к источнику за водой и перенесен во дворец. Но о происшедшем цезарь строго запретил разглашать, и лишь немногие знали, как сломана была его нога. Народу же сказано было, что сломал ногу цезарь, упав с колесницы.

После этого происшествия началось запустение и уныние и еще больше скудость во всем. Охладел пепел перед алтарями богов, в портиках храмов пауки невозбранно плели паутину, и лишь в храме Весты, как прежде, пылал ярко огонь, рачительно блюдимый Евдокией, верной служительницей Богини.

Тем временем смятение и страх вошли даже в защищенные железной мудростью сердца мужей Совета. И вот один из них, именем Браун, что значит темный или коричневый, явился к цезарю Тихону и сказал ему так: "Скудость в нашей земле, проклятой от богов, и вся жизнь наша под знаком

Скорпия. Дай мне сиклей, и привезу тебе товаров из Готских стран". И, облобызав, отпустил его Тихон. И каждый вечер, когда Феб окрашивал кровью своей весь запад, восходил Тихон на стены, и с ним истомленные жены и мужи, и все, приложив ладони к глазам, смотрели с надеждой вдаль: не заклубится ли пыль под копытами коней, везущих Брауна из Готской страны, но по-прежнему дорога была желта и пустынна.

Тогда пришел к Тихону другой муж Совета, именем Левин-сон, что значит из великого колена Левия, и сказал Тихону: "Нет прощенья Брауну. Дай мне сиклей, и я поеду в Готские страны, чтобы привезти оттуда товаров и Брауна, заковав его в железа". И, облобызав, отпустил его Тихон. И каждый вечер, когда из желтых становились розовыми камни на стенах, все восходили и с надеждою смотрели вдаль, но никого не было видно.

Тогда пришел к Тихону третий муж Совета, о котором знали, что зачат он был под виноградною лозой, и сказал Тихону, что поедет в Готские земли и привезет товаров, и Брауна, и сына Левия, надев на них цепи. Облобызав, отпустил его Тихон. Но и этот, подобно двум прочим, не вернулся, прельщенный мерзкою красотою готских жен. Узнав о том, Август Максим, преодолев силу волхований Зиновия, сам пришел к Тихону и сказал ему так:

– Нехорошо. Я поеду в Готские земли и привезу в оковах Брауна, и сына Левия, и зачатого под виноградною лозою, и товаров.

И, уехав, также не вернулся, прельщенный готскими женами.

Тогда, скорбный и томный, как дерево с почерневшей от ледяного Борея листвой, пришел Тихон в храм Весты, где по-прежнему ярко пылал огонь, поддерживаемый верной Евдокией. И, низко поклонившись, сказал ей цезарь:

– Ты одна неизменна, – и щедро вознаградил ее.

И одному из немногих оставшихся мужей Совета сказал:

– И ты неизменен, да будет благословенно имя твое, Серебряный Лебедь, – ибо имя его было Сильверсван, что значит Серебряный Лебедь.

Серебряный Лебедь отвечал Тихону:

– Так, цезарь, неизменен я, как серебро, и чисты мои помыслы, как лебединые крылья. Мне верь. Дай мне сиклей, и я

привезу от готов Брауна, и сына Левия, и зачатого под лозой, и Августа Максима. И клянусь: завтра утром увидишь меня здесь – и их со мною.

И, облобызав, с спокойным сердцем отпустил его Тихон, и с спокойным сердцем пришел утром на Моховую, 36. Но входя, почувствовал: зимним холодом повеяло на него. И увидел: покрытый пеплом алтарь строгой Весты, и лежит на полу развязанный пояс, и узнал Тихон пояс Евдокии, и спросил:

– Что значит это? И где Евдокия?

Отвечали ему с рыданием и воплем:

– Ночью сегодня Сильверсван и с ним тридцать всадников ворвались в храм Весты, и Сильверсван, связав нас, похитил прекрасную Евдокию.

И затворился Тихон, и пробыл у себя весь день и всю ночь, и никто не видал его. Когда же вышел, то был он уже не юноша, но зрелый годами муж, и так сказал народу:

– Храните мудрость мужей и целомудрие жен. Мне же внушено богами самому пойти в Готские земли и, разрушив чары готских жен, привезти назад Брауна, сына Левия, и зачатого под лозой, и Августа Максима, и Серебряного Лебедя, и прелестную Евдокию.

Народ же и мужи Совета растерзали на себе одежды и восклицали: "Горе нам. Горе", – ибо знали, под Скорпием рожден Тихон, и суждено ему погибнуть от деяний женских, и не было случая, чтобы изрек ложь гороскоп Брюса. И каждый вечер восходили на стены и смотрели вдаль, но желта была даль и пустынна, и не вернулся Тихон, опутанный золотыми сетями, ибо как бы из золота волосы у готских жен[11].

Как младенец привычным ртом припадает к материнской груди, хотя бы и не было в ней молока, так и мужи Совета, лишившись цезарей, все же заседали привычно в опустелых чертогах на Моховой, 36, хотя не было здесь ни продажи, ни купли, и не оглашались стены пестрым, разноязычным говором переводчиков. И в эти последние дни восстал среди мужей Совета один, именем Василий, что значит Цезарь или Князь, ибо был он, как обнаружилось позже, князем многих китайских и иных племен. И, наущенный восточными демонами, стал этот муж проповедовать некий новый язык, соблазняя всех вместо Теккерей говорить Сакры, вместо Соути – Сазы, вместо Перси – Песы, вместо Бернэй – Бены. И в про-

стоте все многократно повторяли за ним эти страшные слова, не ведая, что это имена подчиненных ему китайских и иных племен, сильных чернокнижием и волхованием, и одним лишь словом обращающих дев в жен и производящих смертельный смех и великие неистовства[12].

И вот, призванные силой заклинания, в белый и тихий вечер 25-го декабря Моховую, 36 несметными полчищами осадили Сакры и Сазы, Шанзы и Песы, Бены, Серапионы[13], хвостатые и пестрые, иные о трех ногах, иные с четырьмя глазами, иные в звериных шкурах, иные же почти без одежд, и ворвались в священные стены, и разрушили установленный богами порядок шкафов и стульев, и началась варварская музыка, и скаканье, и бесовские игры, и мужи Совета, забыв о чадах и о всех постигших отечество бедах, искали забвения в вине и в объятиях чужеземных женщин.

Так кончился третий год в землях Всемирной Литературы. Четвертый же начинается сегодня, и чем он кончится – ведано лишь троим бледным Сестрам, управляющим судьбами людей, и царств, и самих Богов[14].

Евг. Замятин

25 декабря 1921 г.
СПб.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Те времена, о каких мне ныне должно повествовать вам, – времена изобилия, но равно и времена сатанинской волшбы, восстания лжепророков, великих бедствий и знамений небывалых. И как некогда великий Равви изгнал торгующих из храма, так теперь, в отмщение, торгующие изгнали его из храмов, разнося звон бумажных сиклей и неистовый шум торговли всюду – даже в тихую доселе обитель Всемирной Литературы[15].

Народами же Всемирной Литературы продолжал тогда править цезарь Тихон из рода финикийских купцов, отчего ум его был остр в торговых делах. А старейшим в Совете был мудрый Иоаким бен-Леви, деливший свою жизнь поровну между изучением священных книг и созерцанием танцев прекрасных дев из Бактры, Дакии, Вавилона и Шебы[16]. Ибо от круговращения – учил он – подобного круговращению семи

небесных сфер, и дух, вращаясь, дионисийски возносится к небу. И еще так говорил он: "Когда взираешь на плавные приседания танцующей девы, то ощущаешь ясно, как по хребту струится ток некоего драгоценного растительного масла"[17].

Изречение это запало в финикийскую душу цезаря Тихона, и он, никому не сказав, в непрестанных заботах о Всемирной Литературе умыслил некоторую хитрость.

Подкупив рабыню в Яслях Искусства, как прозывался дом Иоакима бен-Леви, цезарь Тихон проник в его спальню[18]. Здесь он совлек с себя одежду, прикрепил крылья к ногам и, как надлежало, фиговый лист – занял на пьедестале место Меркурия, ибо он был во многом сходен с предприимчивым Богом.

И вот в таинственный час, когда Диана возносит в небо холодный, как ее сердце, серебряный щит, – дверь заскрипела, и бледный, изнеможенный великим зрелищем танцев – вошел мудрый Иоаким, неся в руках некий сверток, обернутый темной тканью. Не дыша ждал цезарь Тихон, что произойдет дальше, и глазам его представилось зрелище поразительное. Иоаким бен-Леви осторожно развернул ткань и вынул оттуда прозрачную хрустальную амфору, полную драгоценным растительным маслом. Затем, перейдя с амфорой к ложу, он откинул исписанное письменами покрывало – и внизу, под ложем, цезарь Тихон узрел сокровищницу мудрого Иоакима: целые ряды сверкающих от огня амфор. Цезарь Тихон, забыв, что он Меркурий, с своего пьедестала воскликнул: "Иоаким, Иоаким! Отныне я знаю источник твоих богатств".

Устрашенный тем, что дотоле безмолвная заговорила статуя Бога, – Иоаким бен-Леви поспешно скрылся. А цезарь, поставив на место статую и захватив с собой сколько мог амфор драгоценного масла, вернулся к себе во дворец на Моховую.

С того именно дня началось изобилие во Всемирной Литературе. Продав часть масла Иоакима бен-Леви, цезарь Тихон купил хлеба, одежды, обуви, геркулеса – и в летние, напитанные болотистой пылью и тишиной вечера Моховая оглашалась звонким ржанием нагруженных онагров и веселыми разноязычными песнями народов Всемирной Литературы. Тем же драгоценным маслом цезарь Тихон умащал дотоле непреклонных властителей страны Госиздата, где, как известно, среди

людей и подобно людям разнообразные деревья ходят, живут и говорят, осеняя всех тенью. Так установлена была мирная торговля даже с этими, обитающими среди скал, воинственными племенами[19].

Но не от труда и благочестия, а от волшбы Иоакима бен-Леви и коварства цезаря Тихона произошло это богатство, и вскоре обнаружилось, кто невидимо управлял как описанным, так равно и всеми следующими происшествиями.

Был вечер. Солнце, умирая, закрыло лик свой пурпурной тогой, как некогда Гай Юлий – чтобы не видеть кинжал предателя Брута. В обагренном солнечной кровью покое заседали мужи Совета. И вот встал один из них, по воле Рока носивший имя, подобно звучащее имени Брута – Брауд он звался, – и сказал им:

– Благородные мужи. Благо отечества прежде всего. Я и мой друг Амадеус Гофман – предлагаем вместо драгоценного, но неизвестным путем добываемого масла – изготовить и продавать эликсир сатаны.

Как неразумная птица не может раскрыть ореховой скорлупы и вынуть ядро, так ослепленные богами мужи Совета не могли снять скорлупы с этих слов нового Брута и увидеть то ужасное, что было внутри, но лишь неразумно состязались в том, как назвать эликсир: эликсир сатаны, эликсир дьявола или же эликсир черта. И каждый из них всю свою долгими ночными бдениями приобретенную мудрость расточал лишь затем, чтобы, опорочив сатану и оклеветав черта, – превознесть дьявола. И когда старейший в Совете – Иоаким бен-Леви возгласил: "Кто за дьявола?.." – мужи Совета как один подняли руки[20].

В тот же момент нос у называвшего себя Брауд загнулся клювом, на глазах у всех этот муж Совета вытянулся под потолком, затем – как над рекою купающийся – склонился над чернильницей, простирая сложенные руки, и нырнул головой вниз – так что снаружи торчали лишь две тонкие – и все тоньше – ноги, превратившиеся в обыкновенные обгрызенные ручки для письма.

– Он отправился домой, – сказал ослепленный, как и все, Иоаким бен-Леви и спокойно первым – взял из чернильницы ручку и скрепил протокол, предающий Всемирную Литературу во власть дьявола. Едва лишь Иоаким бен-Леви поставил точку, как с легким, но все же явственно слышным стоном

опрокинулось навзничь солнце, забрызганное кровью и хлопьями снега, кружась, посыпались неслыханные события и соблазны.

Наутро цезарь, взяв с собой, по обычаю, драгоценного масла, отправился в каменистые горы Госиздата. Среди мужей Совета в то время был один, носивший греческое имя Эвгенес, что значит благорожденный, ибо родом он был из счастливых греческих провинций. По странной игре случая, сказанный Эвгенес и цезарь Тихон — лицом и всем телом даже до последнего — были совершенно подобны друг другу. Был же Эвгенес набожен, не знал ни вина, ни языческих ночных бдений, ни прельстительных женских уст, но лишь писал благочестивые и поучительные истории, служа примером для многих.

В то самое время как цезарь покинул страну, Эвгенес, идя в храм, услышал, как дьявол, принявший образ привратника Михаила, приветствовал его так: "Да живет цезарь!" — и тотчас же злое семя, запав в душу Эвгенеса, разрослось дремучей чащей, населенной сатирами и дриадами.

Вернувшись из храма, Эвгенес вошел во дворец цезаря через триумфальный устланный пурпуром вход, и стража — как перед цезарем — склонила перед ним знамена. Даже вернейшая из домоправительниц цезаря — Фидея, что значит Вера — по воле богов не увидела, что это не цезарь, но лишь коварно похитивший вид цезаря Эвгенес[21].

Войдя и дерзко воссев на трон цезаря, Эвгенес принимал послов, творил суд и щедрой рукой расточал казну — ибо не он собирал ее. Многие прекрасные женщины приходили в те дни во дворец и спрашивали: "Здесь ли цезарь?" Фидея отвечала им: "Здесь", — и проводила их в покои цезаря и ревностно охраняла двери, ибо знала, что приходили те женщины, чтобы дары свои и любовь принести цезарю, но не знала, что Эвгенес коварно похищает принесенное цезарю.

Как игрок, распаленный удачей, все смелее и смелее бросает кости, так Эвгенес, наущаемый дьяволом, простирал дерзость свою все дальше. И вечером однажды, омывшись благовонной водой, этот святотатец вошел в цезареву опочивальню, где, окруженная рабынями, перебирая струны греческой лиры, на одиноком ложе тосковала жена цезаря.

— О мой цезарь, — воскликнула она, простирая к нему руки и все свое тело. — Ты вернулся нежданный, но тем горячее бьется мое сердце. Вот, посмотри.

— Да будет благословенно твое сердце, — отвечал Эвгенес и преступною рукою похитил биение из сердца.

И неизвестно, что было бы дальше, ибо, по сказанному, Эвгенес во всем до последнего был подобен цезарю Тихону. Но в этот опасный миг в опочивальню вошел подлинный цезарь, только вернувшийся из суровых гор Госиздата.

Вскочив, во гневе, жена цезаря — голосом, медно звучавшим, как боевая букцина, — сказала:

— Кто ты, дерзкий, осмелившийся войти ко мне, когда здесь цезарь со мною?

Цезарь же Тихон отвечал:

— Безумная, или ты не узнаешь меня, супруга своего и цезаря? Вот сандалии мои, еще серые от праха пустынь, ибо только сейчас я из гор Госиздата и, даже не сменив одежды, стремился к тебе.

Эвгенес же сказал:

— Не внимай словам дерзкого, хитростью желающего похитить твою любовь. Вот руки мои — они еще в чернилах: клянусь, ими я только что подписывал там, наверху, имя цезаря.

С рассеченным надвое и истекающим кровью сердцем жена цезаря, рыдая, воскликнула:

— Горе мне. Которому же из двух мне отдать объятия, не совершая ужасной ошибки?

На что Эвгенес, по наущению дьявола, сказал:

— Наибольшей жестокостью будет, если ты откажешь супругу в том сладком отдыхе, ради которого он спешил по горам и пустыням. Поэтому я полагаю, ты лишь в том случае с уверенностью избавишься от ошибки, если отдашь свое сердце обоим.

Но цезарь, обнажив меч, возразил с гневом:

— Довольно. Эту ночь ты будешь одна. А завтра я созову мужей Совета, и ты увидишь, кто из нас цезарь. А ты, Эвгенес, завтра увидишь свое последнее солнце.

Это жестокое слово цезаря Тихона исполнилось, но поиному, ибо сами боги взяли меч в свои руки, чтобы поразить подписавших договор с дьяволом.

В ту темную ночь с грохотом сдвинулись хрустальные небесные сферы, не иссякая лил дождь и песок на землю; листья и камни, предупреждая, всю ночь непрестанно шептали одно и то же какое-то слово. Но никто его не услышал.

И никто не услышал, как в Капитолий Всемирной Литературы вторглись чужеземные воины. Первым же, к кому они вошли, был коварный Эвгенес. Войдя к нему, его, обнаженного, подняли с ложа и спросили:

– Кто ты и что делаешь?

Эвгенес отвечал:

– Если вы ищете цезаря – я не цезарь. Я лишь пишу благочестивые и поучительные истории.

– Мы хотим знать, чему ты поучаешь. Читай.

И обнаженный Эвгенес читал им, а воины слушали, вложив пальцы в нос, что было в их стране знаком презрения. А затем сказали:

– Где же твое благочестие? Ты не пишешь слова единого хвалы нашим истинным кумирицким богам и их статуям. Возьми с ложа подголовье твое и покрывало и иди в темницу: там будешь жить, пока не познаешь истинного благочестия.

И всадили его в темницу.

Затем вошли в дом к другому мужу Совета, именем Игнотус, что значит неведомый или на неведомых языках говорящий, ибо в обширных землях Всемирной Литературы правил он арабскими и халдейскими племенами. И, увидав у него всюду во множестве арабские письмена, так сказали ему:

– Как смеешь ты, нечестивый, молиться иным, нежели нашим кумирицким богам и их статуям?

На что Игнотус отвечал:

– Не молитвы это, но лишь амантные стихи шейха Абу-Темана.

Воины же, в знак презрения вложив пальцы в нос, сказали ему:

– Мы не знаем твоих мерзких арабских письмен. Возьми покрывало твое и подголовье и иди в темницу: там будешь, доколе не научишь нас мерзким арабским письменам, дабы могли мы увериться, что ныне не лжет твой коварный язык.

И всадили его в темницу[22].

И пришли к третьему мужу Совета, именем Корний.

Когда пришли воины к Корнию, он в страхе, невзирая на седину своих волос, внезапно размножился и – как боевыми колесницами и катапультами, окружив себя двенадцатью своими детьми – жалобно закричал:

– Ужели, о жестокие, хотите вы гибели этих нежных младенцев!

И сделал тайный знак одному из младенцев, который, повинуясь, начал петь воинам свои стихи, сочиненные им накануне. Засунув пальцы в рот, что в их стране служило знаком одобрения, воины долго слушали. Затем, убаюканные сладкой музыкой, задремали. Корний же, взяв жену и младенцев, скрылся в темной ночи и проводил с тех пор жизнь, скитаясь в отдаленных лесах[23].

Меж тем разверзшее ложесна небо все еще изливалось черным дождем, молнии перекрещивались, как бы зачеркивая славную историю Всемирной Литературы. Цезарь же Тихон пламенел неправедным гневом на невинную супругу — если правильно только назвать супругу невинной. И во гневе приказал он зажечь все светильники наверху во дворце, приказал принести зажигающих кровь асийских вин и призвать танцовщиц Иоакима бен-Леви. Не внимая мольбам казнохранителя Кателлана[24], он горстью брал золото по курсу Госбанка и кидал его женщинам, а те перед ним кружились, маня его глазами, губами, мерной музыкой своих бедер. От взвеенного вихря одежд их тухли светильники, черное лицо ночи прижималось к окнам, гром, сотрясая стены, предвещал небесный гнев, а неистовый цезарь Тихон, ища забвения, пил вино уже не из чаши, но из полных до краев уст.

И здесь свершился над ним суд богов. Некая женщина, приняв на время насекомый вид, ужалила его в губу. Опьяненный винами и грехом, Тихон ничего не заметил.

Но вот — бледное, как бы от ужаса, утро. Пробудившись среди поваленных на пол светильников, разбросанных по полу яств, опрокинутых чаш, цезарь крикнул раба. Раб вошел, но только лишь взглянул в лицо цезарю, как, не в силах сдержать себя, — засмеялся, зажимая рот рукой. Разгневанный цезарь приказал взять его и казнить. И позвав Фидею, что значит Вера, ибо до того часа была она вернейшей, — ей сказал:

— Или уже не цезарь я? Взгляни мне в лицо.

Фидея, взглянув, засмеялась громко и убежала вон.

Еще не зная, но уже предчувствуя нечто недоброе, цезарь спустился вниз к супруге и так сказал ей:

— Вот я, супруг твой. Теперь, при свете Феба, ты узнаешь ли меня?

Но супруга, взглянув в лицо ему и громко смеясь, отвечала:

— Мой цезарь был подобен Фебу. Ты же... взгляни на себя, жалкий лжец.

Цезарь схватил из рук ее серебряное зеркало – и увидел, что губа у него распухла, как чрево женщины, носящей в себе дитя. И не зная, что Эвгенес уже в темнице, цезарь вскричал:

— Ты победил, Эвгенес.

С того часа овладела им болезнь, поразившая некогда Ирода: каждая часть его тела – все вместе и всякая по отдельности – чесались неистово и от малейшего прикосновения росли, подобно тесту, заквашенному искусной хозяйкой. И вскоре обилием и размерам членов своего тела превзошел цезарь даже Лукуллова друга Павла, называемого также Елисеем. А снаружи, меж тем, все громче неистовый грохот и вой волн, и вопли народа. Как человек, выпивший чрезмерно вина, бежит, рыча, качаясь и сбрасывая с себя одежды, так упившиеся дождем воды Невы вырвались из гранитных одежд и, сокрушая все на пути, катились по улицам – и вот уже шипят и пенятся на Моховой. В страхе народ звал богов и звал цезаря. Цезарь вышел и, еле шевеля набухшей губой, с обычным величием произнес:

— Фя здесь. Фя с фами.

Но никто его не узнал – и он, в отчаянии, закрыв лицо плащом, замешался в толпу и вместе со всеми слушал, как выли в тысячи труб аквилоны, смотрел, как волны, подобно бешеным быкам, с разбегу бились лбами в стены дворца.

И вдруг увидел: вскипела белая борозда, как бы след от невидимой галеры, из самого чрева волн – грозный водяной фонтан вверх. Затем всенародное – ах! – и на Моховой вынырнул из воды кит, разинул ужасную пасть еще шире – и изрыгнул в воду некоего человека.

Человек этот, вида дикого и необычного, фыркая, выплыл, ухватился за блестящую, как мокрая сталь, спину кита, влез на чудовище и, бия себя в грудь, закричал:

— Я пророк Божий Иона. Горе тебе, блудница вавилонская. Горе тебе, нечестивая многоязычница. Горе тебе, не знающая истинного Бога. Я послан от Иеговы, чтобы возвестить тебе гибель. И вот, по воле Божьей, кит поглотит тебя.

Тогда, осеня себя крестным знамением, цезарь Тихон вышел и сказал киту:

— А ну попробуй.

Поощряемый сверху пророком, кит разинул огромную, дышащую смертельным холодом пасть, ляскнул зубами, схватил руку цезаря Тихона... В груди у каждого остановилось, как бы на краю пропасти, сердце. Вот уже заглотил обе руки, вот скрылась голова – и вдруг кит закашлялся, поперхнулся и извлек Тихона обратно. Ибо пораженный, по мудрости богов, спасительной болезнью, был цезарь Тихон размеров нечеловеческих, превосходящих даже размеры Павла, именуемого Елисеем.

Народ ликовал. Пророк во гневе ударил кита ногою, вновь спрыгнул в воду и стал входить обратно во чрево кита. Когда же видна была одна его голова, он, грозя рукою, прокричал:

– Горе тебе, горе. Мы еще вернемся[25].

Вернутся ли они или нет – о том знают лишь Парки, держащие нити человеческих судеб. Пока же восплещите и возрадуйтесь, ибо счастливой болезнью и мужеством цезаря Тихона спасена была от врагов земля Всемирной Литературы[26].

Евг. Замятин

25-XII-1922 – 7-II-1923
СПб.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Слопали!
По неграмотности ✝

Е. Замятин

16-XII-1924

ПРИМЕЧАНИЯ*

[1] Первое сообщение в печати о создании "В.л." появилось через несколько дней после объявления "красного террора" ("Известия ВЦИК" 10.9.1918. Статья *МАКСИМ ГОРЬКИЙ И КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ* помещена на 3-й полосе рядом со сводками с фронтов и рубрикой "красный террор", где приведены сотни фамилий расстрелянных по постановлениям ЧК. Ср. запись Блока 24.09.1918: "Расстреляли в Валдае Меньшикова (нововременца) /.../ Горький и Тихонов – договор с правительством на три года: издавать в типографии "Копейки" под фирмой "Всемирная литература". – А.Блок. *ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ*. 1901-1920. М., 1965, стр. 428.

[2] Говорится о наплыве в издательство желавших заработать переводами. Гонорары, которые платили во "В.л." тогда, – 250 рублей ("сиклей") за печатный лист перевода, были сравнительно высоки. Согласно постановлению от 8.10.1918, зарплата в Северной области, центром которой был Петроград, колебалась от 500 (тюремные сторожа) до 1200 (областные комиссары) рублей в месяц – см.: *ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОЮЗА КОММУН СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ*. П., 1918, стр. 197-198.

[3] Очевидно, имеются в виду А.А. Блок и Н.С. Гумилев. Под составлением азбук для диких племен может подразумеваться или их работа над издательскими планами "В.л.", или участие обоих поэтов в созданной при издательстве и отделе театров и зрелищ Петросовета Комиссии исторических картин, которая, по замыслу Горького, должна была инсценировать в популяризаторских целях всю историю человеческой культуры.

[4] Очевидно, имеются в виду А.Л. Волынский (см. о нем в предисловии) и выдающийся филолог-классик Ф.Ф. Зелинский (1859-1944), автор глубоких исследований об античном театре ("дионисовых плясок").

[5] Пародийное описание празднования дня рождения Горького 30.03.1919 (Горький тогда ошибочно считал, что родился в 1869). Ср. репортерский отчет: "Редкой в наши дни задушевностью отличалось /.../ чествование М.Горького" ("Жизнь искусства", 2.04.1919). Здесь же см. тексты приветственных выступлений Ф.А. Брауна, А.А. Блока, З.А. Венгеровой, А.Ф. Даманской, Ф.Д. Батюшкова – "фимиам". См. также воспоминания К.Чуковского: "Бокалы для шампанского были

---

* Как почти всякий комический текст (особенно кружковый), замятинская *ИСТОРИЯ* основана на иронических цитатах. Некоторые из них очевидны (вроде пушкинского *ПРОРОКА* в описании Чуковского), другие выявить более сложно, но мы в данных примечаниях этим вопросом не занимаемся, комментируя текст только с точки зрения исторической.

налиты чаем (без сахару), каждый участвующий получил по роскошной лепешке величиной с пятак" (*ЧУКОККАЛА*, стр. 198; на стр. 200 см. фото, сделанное на юбилее).

[6] Уже весной 1919 Горький почувствовал, что рамки "В.л.", ограниченные только переводной художественной литературой, для него недостаточно широки, и с головой ушел в издательское начинание Гржебина, еще более гигантское, чем "В.л." (см. *ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А.М. ГОРЬКОГО.* Т. 3, М., 1959, стр. 126). По мнению современного исследователя, "универсализм этого издательства не знает себе равных в мировой издательской практике /.../ Гржебин брал на себя обязательство издать чуть ли не все, что написано человечеством" ("Лит. наследство". Т. 80, М., 1971, стр. 675). Процесс размежевания "В.л." и "Издательства З.И. Гржебина" проходил летом 1919 и закончился в августе, когда "В.л." переехала на Моховую, 36, оставив помещение на Невском, 64 (бывшую редакцию " Новой жизни") в распоряжение Гржебина. Особняк на Моховой принадлежал раньше, по словам Чуковского, генеральше Хириной (*ИЗ ДНЕВНИКА*, 1919-1921. – "Вопросы литературы", 1980, №10, стр. 297; "Весь Петроград на 1917" называет владелицу – Надеждой Александровной Хариной), по другим сведениям, он был реквизирован у турецкого или греческого подданного Кришьянца (который еще долго пытался судиться с издательством за свою мебель). "Привратник Михаил" – швейцар издательства "седовласый Михаил Яковлевич" (см. цит. стр. *ДНЕВНИКА* Чуковского).

[7] Пародия на гороскопы известного *БРЮСОВА КАЛЕНДАРЯ.*

[8] "Гаснущие светильники" – видимо, имеется в виду частое отключение электричества в Петрограде зимой 1919-20. Женщина с кошкой – сюжет неясный.

[9] "Дельфская болезнь" – намек на частые (два раза в неделю), отнимавшие массу времени и сил заседания Коллегии экспертов "В.л.", где велись общетеоретические дискуссии, зачастую далекие от практической деятельности издательства.

[10] Чудовищная инфляция заставляла издательство постоянно повышать гонорары. Нам известны нормы оплаты на май 1920: за вступительные статьи, предисловия и примечания – 4000 руб. за печ. лист; за переводы стихов – от 7 р. 50 коп. до 18 р. 50 коп. за строку; за печатный лист переводов прозы – от 1750 до 1950 руб. Смета издательства на 1921 составляла уже 150 млн. руб. Отказ переводчиц принимать "сикли" с кушитскими и др. письменами означает следующее: несмотря на то, что с 1919 уже были распространены советские деньги, "В.л." еще в 1920 продолжала расплачиваться с сотрудниками думскими знаками ("керенками"), потерявшими к этому времени всякую покупательную способность.

[11] Предыдущие страницы рисуют картину эмиграции первоначального состава Коллегии экспертов "В.л.", начавшейся сразу после заключения мирных договоров Советской России с прибалтийскими государствами в 1920 и достигшей своего апогея во второй половине

1921. Большинство сотрудников уезжали в Европу по командировкам Наркомпроса. Последовательность отъездов (Браун, Левинсон, Г.Лозинский, Горький, Сильверсван со Струковой) отражена в *ИСТОРИИ* верно. Отъезд Тихонова в конце 1921, описанный Замятиным, был одной из его очередных командировок по делам издательства (Тихонов пытался наладить печатание книг за границей), и вскоре он вернулся в Петроград.

[12] Известно, что В.М. Алексеев выступил со специальным докладом на Коллегии экспертов, в котором предложил новую (фонетическую) транскрипцию английских слов (см. в сб. *ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА КИТАЯ*. М., 1972, стр. 154). Неузнаваемость получающихся в русской графике имен и мотивирует шутку Замятина. Обыгранные имена: Теккерея (Thackeray), Саути (Southey), Перси – первого имени Шелли (Percy), Берни (Burney).

[13] Шутка со словом Шанзы, возможно, имеет в основе название китайской *КНИГИ ПРИТЧЕЙ О ДАО* (Tshoung-tzeu), которая готовилась к печати издательством. Серапионы – "Серапионовы братья", литературное содружество молодых петроградских писателей, оформившееся в начале 1921. Ядро его составляли участники литературной студии при "В.л." Здесь речь идет об их участии в традиционном праздновании Рождества во "В.л."

[14] Конец 1921 – эпоха полной неопределенности в жизни "В.л." Эмиграция видных деятелей издательства, полное отсутствие продукции в 1921, истечение срока договора Горького с СНК, наконец, отсутствие самого Горького – все это ставило под сомнение возможность продолжения существования издательства.

[15] Говорится о резком изменении работы "В.л." в 1922, когда издательство перешло на самоокупаемость. В связи с этим "В.л." стала издавать современных писателей (Г.К. Честертона, Ж.Ромена и др.), возникла серия "Новости всемирной литературы", постепенно занявшая ведущее место в издательской продукции. В 1922 на нее приходилось 9 книг из общего числа изданных 50, в 1923 – 25 из 67, в 1924 в "НВЛ" вышло 23 книги (общее количество за этот год неизвестно).

[16] Называются древние страны: две известны из античных источников (Бактрия, Дакия) и две из библейских – Вавилон и Шеба (в славянской традиции – Сава).

[17] Стиль статей и выступлений Волынского, а также его балетная школа – тема постоянных пародий и шуток в кругу сотрудников "В.л." Ср. в *ЕЖЕГОДНИКЕ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*, где опубликован "доклад Волынского" *УЛЬТРАЭКЗБИЦИОНИЗМ У АЦТЕКОВ:* "Я люблю ацтэков. В них есть вообще что-то сверхкрасочное, адамантовое, эссенциальная эксцерпция. Когда вы смотрите на эти удивительные тела, когда вы ощущаете космические упругости их девушек, вы проникаетесь теплотою мистики, вы весь поднимаетесь навстречу предчувствуемому солнцу. Я люблю ацтэков. В них есть нечто элогиастическое. Когда я читаю никем не прочитанные их письмена и вижу баллон супрабога в элевации героической идеи – некоей динамоапперцепции,

я вдохновляюсь: меня нет, хотя по-прежнему сижу перед вами, я испаряюсь в огненной буре и лечу навстречу гордому и грозному элогизму" и т.п.

[18] Ясли Искусства – "Дом искусств", в общежитии которого Волынский был одной из самых заметных фигур. В том же доме находился и Хореографический техникум, директором которого был Волынский.

[19] Сюжет с растительным маслом, похищенным Тихоновым у Волынского, неясен.

[20] Спор о переводе названия романа Гофмана *DIE ELEXIERE DES TEUFELS*. В издании 1897 года он назывался *ЭЛИКСИР САТАНЫ*. Члены Коллегии экспертов "В.л." после дискуссии сочли, что точнее *ЭЛИКСИР ДЬЯВОЛА*. Однако во "В.л." успел выйти только 1-й том *ИЗБРАННЫХ СОЧИНЕНИЙ* Гофмана (1923, предисловие Браудо), и этот роман туда не попал.

[21] Основа сюжета – по-видимому, отъезд Тихонова в очередную командировку в Москву и временное замещение его Замятиным на посту заведующего редакцией.

[22] Осенью 1922 произошла высылка за границу большой группы интеллигентов, идеологически неприемлемых для режима. Среди подвергшихся аресту, но после этого не высланных, были Замятин (подробнее см.: Ю.Анненков. *ДНЕВНИК МОИХ ВСТРЕЧ*. Т.1, Нью-Йорк, 1966) и Крачковский. Упоминаемые в тексте "благочестивые и поучительные истории" – намек на заглавия замятинских рассказов (ср. изданный им в 1927 сборник *НЕЧЕСТИВЫЕ РАССКАЗЫ*). Непосредственным поводом для ареста и предполагаемой высылки Замятина могли послужить его "сказки" – *ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ* и *АРАПЫ*, представлявшие собой открытую политическую сатиру, опубликованные в начале 1922 в России и получившие широкий резонанс в эмигрантской прессе. Абу-Темам (ок. 805-846) – составитель антологии образцов лучших арабских поэтов.

[23] О визите к Чуковскому "чужеземных воинов" – сотрудников ГПУ – осенью 1922, кажется, сведений в печати не появлялось. Если считать, что изложенный Замятиным эпизод имеет под собой реальную основу, то авторами стихов, "понравившихся воинам", могли быть оба сына Ч.: как Николай, тогда начинающий 18-летний поэт, так и 12-летний Борис, обладавший блестящими версификаторскими способностями.

[24] Казнохранитель Кателлан – управляющий делами издательства Самуил Борисович Каштелян. В дальнейшем – работник Госиздата и ОГИЗа. В 1920–30-е жил на Моховой, 36.

[25] После отъезда Горького за границу "В.л." могла еще три года сохранять свою независимость только благодаря благожелательной позиции, занятой по отношению к ней заведующим ГИЗом в 1921-24 О.Ю. Шмидтом, по-видимому, не желавшим портить отношения с наркомом Луначарским, постоянным покровителем "В.л.", и академиками, членами Коллегии экспертов. И Н.Л. Мещеряков, председатель

коллегии ГИЗА, и заместитель Шмидта И. И. Скворцов-Степанов, оба старые большевики (в отличие от Шмидта, вступившего в партию только в 1919), постоянно резко нападали на "В.л.", упрекая ее в ненужности издаваемых книг и немарксистском характере предисловий. Однако главным противником "В.л." оставался все годы И.И. Ионов, заветной идеей которого было влить "В.л." в отдел иностранной художественной литературы руководимого им Петроградского отделения ГИЗа. Одна из попыток Ионова 1922 года "проглотить" "В.л." изображена в замятинской *ИСТОРИИ.* В этот раз Тихонову удалось отстоять издательство, видимо, заручившись сильной поддержкой в Москве.

[26] Как только в конце 1924 Ионов был назначен заведующим Госиздатом РСФСР, он осуществил свои планы. 13.12.1924 он подписывает приказ о расформировании Коллегии экспертов, а 15.12.1924 направляет во "В.л." требование о немедленной сдаче всего редакционного портфеля, делопроизводства и помещения издательства специальной комиссии (этот уникальный по тону документ см. в *ЧУКОККАЛЕ,* стр. 231). Попытки Горького и ультимативные требования Коллегии экспертов сохранить Тихонова в руководстве ГИЗом оказались безуспешными. Одновременно с "В.л." были закрыты редактируемые Тихоновым журналы "Современный Запад", "Восток", "Русский современник". Сам Тихонов в 1925 оказался (правда, ненадолго) в тюрьме – причины нам неизвестны. Однако в 1930-х Тихонову и Ионову вновь пришлось работать вместе – в издательстве "Academia". На этот раз их конфликт разрешился иначе. Находившийся на вершине фавора Горький, по-прежнему покровительствовавший Тихонову, отправил докладную записку в ЦК, где заявил, что "поведение Ионова граничит с вредительством" ("Архив А.М. Горького". Т.Х, ч.1, М., 1965, стр. 82. Ср. здесь же письмо, посланное одновременно Ионову: "Я вас считаю человеком ненормальным"). После этого издательская карьера Ионова закончилась, его перевели в "Межкнигу". Через несколько лет он был арестован и погиб в лагере. По иронии судьбы, из всех персонажей *ИСТОРИИ* таким образом кончил свою жизнь он один.

БУРИМЕ*

В засеянном телами Коктебеле,
На вспаханном любовью берегу
Мы о незнающих любви скорбели.
Но точка здесь. Я слух ваш берегу.
Под африканским синим небом Крыма
Без ватных серых петербургских клякс
Нагая светит телом Фрина-Фрима,
И шествует, пугая женщин, Макс.

2 мая 1924

Из комментариев К.Чуковского:

"...Летом 1923 года мы с Евгением Замятиным жили в Коктебеле в доме Максимилиана Волошина. /.../ Следующей весной Волошин приехал в Ленинград. Друзья, гостившие у него в Коктебеле, собрались 2 мая 1924 года в квартире поэтессы Марии Шкапской и, чествуя поэта, занялись сочинением буриме. Буриме – стихотворение с заранее заданными рифмами. Нам были предложены Волошиным такие рифмы: Коктебель, берегу (существительное), скорбели, берегу (глагол), Крыма, клякс (или загс), Фрима (жена Антона Шварца), Макс. /.../ Когда мы прочитали вслух написанные нами буриме, первый приз получил Евгений Замятин. Его буриме сохранилось в Чукоккале..."

(Сам Волошин тоже сочинил буриме, но первого приза не получил... – р е д.).

---

* Запись в "Чукоккале", М., 1979, стр. 312-313.

ЭПИТАФИИ 1929 года*

(Публикация и примечания Гари Керна)

К. ФЕДИН

О путник! Здесь злодейство совершилось.
Мутится ум, рука моя дрожит,
На камне еле пишет острый стилос:
"Здесь брат, убитый "Братьями"[1], лежит".

М. СЛОНИМСКИЙ

Гордись, серапионов народ!
От "среднего" до великого – только шаг:
Член Совета – еще выше – и вот –
В мавзолее погребен его прах.

М. ЗОЩЕНКО

Он мог Наполеоном стать,
Но все мы – злой судьбы игрушка:
Не полк, не армия, не рать –
Дана ему одна лишь "Пушка"[2].

Н. НИКИТИН

Прохожий, да побойся Бога,
Прочти надгробный сей запрет:
"Здесь останавливаться строго
Запрещено: здесь спит полпред"[3].

---

* Опубликованы в "Russian Literature Triquarterly", Ann Arbor, №7, Winter 1974, pp. 427-429.

И. ГРУЗДЕВ

За добродетель он от Бога награжден:
Всю жизнь постился он, всю жизнь терпел нужду,
Всю жизнь питался горьким[4] он –
Скончался от рожденья на восьмом пуду.

Н. ТИХОНОВ

Рискованно сказать: человек[5].
Молитесь за него, Флор и Лавр:
Средь братьев он один (имя рек)
Подкованный жил брат-кентавр.

Е. ПОЛОНСКАЯ

Плачьте все, стар и млад:
Здесь опочил от скорбей
Серапионов брат
Елизавет Воробей.

Из комментариев Гари Керна:

Эти эпитафии сочинены Замятиным к восьмой годовщине существования литературного объединения "Серапионовы братья".

[1] Роман Федина.

[2] Рассказ Зощенко. Зощенко был штабс-капитаном в Первую мировую войну.

[3] Относится к претенциозному комментарию Никитина о Западе, в его книге "Сейчас на Западе" (Петроград, 1924). В обзоре этой книги в "Русском современнике" (№2, 1924) Замятин насмешливо называет Никитина "полпредом".

[4] Возможно, относится к работе Ильи Груздева о Максиме Горьком (1922).

[5] Относится к рассказу Тихонова "Рискованный человек" (1927).

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МЕСТКОМА ПОКОЙНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

(Отрывок из коллективного текста Е.И. Замятина и М.М. Зощенко) *

Девятого декабря 1926 года в Москве в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда состоялась премьера незабываемой мейерхольдовской постановки "Ревизора" Гоголя, спектакль, который я увидел только в Париже, в театре Бати, в 1930 году. Гениальный режиссер перекроил "классическую" пьесу, ввел в нее новые элементы, а также – отрывки из гоголевских черновиков, изъятых Гоголем из окончательной редакции пьесы. Постановка Мейерхольда вызвала в советской прессе жестокую критику, обвинявшую Мейерхольда в реакционности и в "заторможении правильного освоения классического наследия".

Двадцать четвертого января 1927 года та же "фиговая ассоциация" устроила вечер чествования Мейерхольда, где ему было прочитано "Приветствие от месткома покойных писателей", из которого я даю здесь небольшую выдержку, и авторами которой были Евг. Замятин и Мих. Зощенко:

Потрясенные вторичной кончиной нашего дорогого покойного Н.В. Гоголя, МЫ, великие писатели земли русской, во избежание повторения прискорбных инцидентов, предлагаем дорогому Всеволоду Эмильевичу в порядке живой очереди приступить к разрушению легенды о нижеследующих классических наших произведениях, устаревшие заглавия которых нами переделаны соответственно текущему моменту:

1. *Д. Фонвизин:* "Дефективный переросток" (бывш. "Недоросль").

2. *А.С. Пушкин:* "Режим экономии" (бывш. "Скупой рыцарь").

---

* Из статьи Ю.Анненкова "Евгений Замятин", "Грани", № 51, 1962, стр. 81.

3. *Его же:* ”Гришка, лидер самозванного блока” (бывш. ”Борис Годунов”).

4. *М.Ю. Лермонтов:* ”Мелкобуржуазная вечеринка” (бывш. ”Маскарад”).

5. *Л.Н. Толстой:* ”Электризация деревни” (бывш. ”Власть тьмы”).

6. *Его же:* ”Тэ-же” или ”Же-тэ” (бывш. ”Живой труп”).

7. *И.С. Тургенев:* ”Четыре субботника в деревне” (бывш. ”Месяц в деревне”).

8. *А.П. Чехов:* ”Елки-палки” (бывш. ”Вишневый сад”).

9. *А.С. Грибоедов:* ”Рычи, Грибоедов”* (бывш. ”Горе от ума”).

10. Товарищ *Островский* настаивает на сохранении прежних своих названий: ”На всякого мудреца довольно простоты”, ”Таланты и поклонники”, ”Свои люди – сочтемся”, ”Не в свои сани не садись”...

---

* Намек на пьесу Сергея Третьякова ”Рычи, Китай”, поставленную Мейерхольдом в своем театре, в Москве. Через несколько лет Третьяков был расстрелян Сталиным.

"ХЕРУВИМЫ"

ХЕРУВИМЫ

(Первая доцензурная редакция сказки) *

Всякому известно, какие они, херувимы: головка да крылышки, вот и все существо ихнее. Так и во всех церквах написаны.

И приснился бабушке сон: херувимы у ней в комнате летают. Крыльями полощут по-ласточьи, под самым потолком трепыхаются. Прочитала им бабушка Херувимскую, и всякую молитву про херувимов вспомнила – прочитала, – а они все под потолком трепыхаются.

Так стало жалко бабушке херувимов. И говорит – какому поближе:

– Да ты бы, батюшка, присел бы, отдохнул. Уморился, поди, летать-то.

А херувим сверху ей, жа-алостно:

– И рад бы, бабушка, посидеть, да не на чем!

И верно: головка да крылышки – все существо ихнее. Такая уж их судьба херувимская: сесть нельзя.

В нелепом сне над старой бабкой Россией трепыхаются херувимы. Уж умотались крылышки, глянут вниз: посидеть бы. А внизу страшно: штыки – и взвиваются херувимы вверх со всего маху:

– Упразднить законы – вопче.

Уж под самым под потолком трепыхаются, уж некуда дальше, а надо: такая их должность херувимская – трепыхай дальше:

– Рубить головы гильотиной.

– Ой, батюшка-херувим, отдохнул бы, присел...

– Я рад бы, бабка, да никак нельзя...

---

* Опубликована в газете "Дело народа", 14 декабря 1917. Сокращенная редакция опубликована в 4-м томе "Собрания сочинений" Е. Замятина (М., 1929), а также в 1-м томе настоящего издания.

И не нынче-завтра встрепыхнет херувим дальше:

— Пытать на дыбе. Сечь кнутом. Рвать ноздри.

Жалко херувимов, такая их судьба несчастная: в нелепом сне трепыхаться без отдыху, потолок головой прошибать, покуда не отмотают себе крылышки, не загремят вниз торчмя головой.

А внизу — штыки.

1917

Владимир БОНДАРЕНКО

ВЕКА И ДЕСЯТИЛЕТИЯ

(Послесловие к роману "Мы")

ВЕКА И ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Свою статью о творчестве Герберта Уэллса ("Генеалогическое древо Уэллса") Замятин начинает так: "Для аристократии феодальной и для аристократии духа – гениев и талантов – основы "знатности" полярно противоположны. Слава аристократа феодального в том, чтобы быть звеном в цепи предков как можно более длинной; слава аристократа духа в том, чтобы не иметь предков – или иметь их как можно меньше. Если художник – сам себе предок, если он имеет только потомков, – входит в историю гением; если предков у него мало и родство с ними отдаленное – он входит в историю как талант".

Далее Замятин говорит, что в сущности есть два Уэллса: "один – обитатель нашего трехмерного мира, автор бытовых романов; другой – обитатель мира четырех измерений, путешественник во времени, автор научно-фантастических и социально-фантастических сказок. Первый Уэллс – новых земель не открыл: у этого Уэллса много знатной родни. Второй Уэллс – с предками связан очень отдаленными родственными узами, и он почти один создал новый литературный жанр".

Сам Замятин, как и Уэллс, отчетливо выступает в двух литературных ипостасях. Если первый Уэллс – "только одна из ветвей от мощного ствола Диккенса", наряду с такими – более пышными – ветвями, как Эллиот, Мэредит, Харди, Бэннэт, Голсуорси и отчасти Б.Шоу, то Замятин номер один вырос из корней, ответвившихся от творчества Лескова и Гоголя, находясь во вполне заметном родстве с такими писателями, как Ремизов, Белый, Пильняк, Пришвин и многие другие. Зато другой Замятин, автор рассказов о Фите и книги "Мы", подобно второму Уэллсу, связан со своими литературными предшественниками родством гораздо более сложным и тонким. Прямых предков у него тоже нет, хотя за его спи-

ной и стоит ”длинный ряд теней”, конец которого скрывается в расплывчатой глубине веков. Правда, для энергичного Фиты, в революционном рвении ”строжайше отменившего эпидемии голода и холеры”, не так уж трудно подобрать старшего двоюродного братца в лице глуповского градоначальника; но безымянные ”мы”, жители Единого Государства, прозябающие в условиях ”математически-безошибочного счастья”, так же новы, как и современные ”строители социализма”.

Вместе с тем социальная утопия, мечта об идеальном общественном устройстве, выраженная в литературной форме, и противопоставленная ей антиутопия – *аипоту*, как иногда называют этот литературный жанр, значительно древнее даже, чем знаменитое произведение Томаса Мора ”De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia”, появившееся, как известно, в 1516 году, т.е. без малого полтысячи лет назад. Нет надобности указывать и вспоминать, что античная литература знала немало произведений утопического характера, из которых самым известным является описание совершенного полиса в платоновском ”Государстве”, но ведь и противоположное направление *аипоту*, представлено в этой литературе достаточно богато. Типичную карикатуру на современные ему утопии можно усмотреть в комедии Аристофана ”Женщины в народном собрании” (392 г. до Р.Х.), где в комической форме описывается, как женщины, захватив власть в городе, устанавливают общность имущества и даже общность мужей. Элементы антиутопии есть и в других комедиях этого автора – ”Птицы”, ”Плутос” и т.д. Пародийный и антиутопический характер имеют некоторые произведения Лукиана, как например, ”Правдивая история”, где герой попадает на ”острова блаженных” и т.д. В дальнейшем обе эти линии в мировой литературе – утопия и антиутопия – продолжают развиваться и процветать, доходя практически до нашего времени. В качестве одного из недавних представителей и того и другого жанра одновременно можно назвать хотя бы уже упомянутого выше Уэллса.

Говоря об Уэллсе, Замятин утверждает, что ”единственная его утопия – это его последний роман – ”Люди как боги”. Только в нем ”увидим мы слащавые розовые краски утопий”. Это не совсем так. Кроме романа ”Люди как боги”, написанного в 1923 году, утопические элементы – в виде уто-

пических концов, например, – щедро разбросаны во многих других художественных произведениях Герберта Уэллса: "Во дни кометы" (1906 г.), "Освобожденный мир" (1914 г.), "Облик грядущего" (1935 г.), "Рожденные звездой" (1937 г.) и т.д. Некоторые из этих книг Замятин, разумеется, не мог знать, так как они появились на свет уже после того, как он написал свою статью. Тем не менее он совершенно прав, когда – со свойственным ему пристрастием к математическим формулировкам – заявляет: "Вообще же социально-фантастические романы Уэллса от утопий отличаются настолько же, насколько +А отличается от –А". И "Машина времени", и "Борьба миров", и "Первые люди на Луне", и "Война в воздухе" – все это, несомненно, утопии со знаком минус, то есть антиутопии, в которых изображается отнюдь не светлое и безмятежное будущее".

В чем же заключается принципиальное отличие "второго Замятина", автора романа "Мы", от всех предшествующих ему антиутопистов, столь разнообразных и непохожих друг на друга, растянувшихся на протяжении веков от Аристофана до Герберта Уэллса? Что нового внес он в этот жанр, *аипоту*, по древности своей родословной не уступающий и самой утопии? Прежде всего следует, разумеется, заметить, что, находясь лишь в косвенном родстве со своими литературными предками, Замятин неодинаково далек от них. В определенном отношении ближе всего стоит он именно к Уэллсу, прозревшему кое-что из того, что дано было увидеть Замятину. Недаром же в цитированной выше статье ("Генеалогическое древо Уэллса") Замятин сам указывает, что этот автор повлиял на него, говоря об этом, правда, лишь в связи с возникновением в России жанра "литературной фантастики" и ставя свой роман "Мы" в один ряд со столь далекими от него произведениями, как романы А.Толстого "Аэлита" и "Гиперболоид инженера Гарина"* или "Хулио Хуренито" и "Трест Д.Е." И.Эренбурга. Есть у Замятина заметные черты сходства и с другими, близкими к нему по времени писателями-антиутопистами, как например, чехом Карелом Чапеком, автором социально-фантастической пьесы "Р. У. Р." и романов "Фабрика абсолюта", "Кракатит" и "Война с саламандрами", послед-

---

* В статье Замятина этот роман А.Толстого назван просто – "Гиперболоид" – В. Б.

ние из которых были опубликованы уже после "Мы". Тем не менее разница между Замятиным и предшествующими или современными ему пророками печального будущего человечества, выражавшими свои мрачные прогнозы в художественной форме, приблизительно такова же, какова разница между "утопическим социализмом" Сен-Симона, Фурье, Роберта Оуэна или сектантских коммун – с одной стороны и, так называемым, "научным социализмом" Маркса, Ленина и их последователей – с другой.

Дело тут, понятно, не в терминологии: у Сен-Симона "научности", пожалуй, еще больше, чем у Маркса. Наука объективна и не претендует на непогрешимость. Современный торжествующий марксизм, по крайней мере в большевистской интерпретации, не допускающий никакой полемики, отрицающий всякое право открыто себя "ревизовать" или сомневаться в основных догмах, объявляющий всех своих критиков "врагами народа" и "прислужниками буржуазии" – уж никак не наука. Дело совершенно в другом. Утопический социализм *мечтал* о преобразовании мира на коллективных началах или делал слабые попытки достичь своей цели мирным и добровольным путем. Марксистско-ленинский социализм взялся за работу всерьез, в исполинских масштабах и на основах весьма далеких от всякой добровольности или миролюбия. Поэтому над утопическим социализмом можно было добродушно иронизировать, указывать на его несбыточность и химеричность или рисовать нелепые, смешные картины того, что бы произошло, если бы осуществились фантастические, сказочные мечты прекраснодушных утопистов. По отношению к современному тоталитарному социализму (или тому, что скрывается под его маской) легкая ирония и сослагательное наклонение так же неуместны, как по отношению к возможности смертельного исхода тяжкой, изнурительной болезни, уже охватившей организм. Грозное "если" сменяет тут скептическое "если бы".

Литературные антиутопии былых времен были столь же нереальны, как и сами утопии. Если Томас Мор назвал свой счастливый остров греческим словом, обозначающим "Нигде", то авторы многих *аипоту,* поскольку дело касалось грядущих бед и нелепостей жизни в социалистическом или коллективистическом обществе, могли бы назвать свои произведения – "Никогда". Они сами ни на минуту не сомневались,

что всего этого, конечно, не может быть на самом деле. Они боролись с идеями или проектами, которые казались им вредными или смешными, а отнюдь не предсказывали будущее. Грозные ноты звучали лишь у тех писателей этого жанра, которые обличали не социализм, а другие общественные системы или явления. Источники грядущей опасности видели в различных религиях или, напротив, их упадке, национализме, власти толпы, нашествии желтокожих или других иноплеменных, чрезмерном развитии техники – в чем угодно, только не в социализме. Больше всего, конечно, подвергался "разоблачению" капитализм, который, как в "Машине времени" Уэллса, должен был якобы в конце концов привести к гибели цивилизации и распаду общества на бездельников-элоев и звероподобных морлоков. Лишь на закате своей жизни разглядел Уэллс некоторые черты подлинной опасности, ожидающей свободный мир за ближайшим углом времени. Однако, заметив облик грядущего тоталитаризма в виде страшного чудовища, выползающего из "Каинова болота" (повесть "Игрок в крокет", 1937 г.), он, как и Карел Чапек в "Войне с саламандрами", полагал, что угроза идет только со стороны фашизма. Главной раковой опухоли на теле человечества Уэллс не заметил и, посетив Москву в 1920 году, написал маленькую книжку "Россия во мгле", где с традиционной снисходительностью отнесся к "утопическим планам" большевиков, а Ленина назвал "кремлевским мечтателем". Даже в 1934 году, когда в Советском Союзе уже была проведена коллективизация сельского хозяйства и окончательно сложился тоталитарный строй, Уэллс в беседе со Сталиным продолжал оспаривать лишь методы коммунистов, не возражая против их целей и не видя, куда эти цели ведут.

Первенство Замятина как писателя-антиутописта, его своеобразие заключается в том, что он коренным образом обновил и видоизменил весь многовековой жанр *аипоту*. Роман "Мы, написанный, по свидетельству самого Замятина, в 1920 году ("Письмо к Сталину", июнь, 1931 г.), направлен не против литературных проектов счастливого социалистического будущего, не против воображаемых грядущих бедствий; нет, он направлен *против* самого этого *социалистического будущего,* вполне возможного и уже сделавшего первый шаг к своему осуществлению. Вот почему, несмотря на импрессионистическую, почти сюрреалистическую манеру письма, роман

"Мы" производит впечатление жуткой реальности. Как Уэллс сумел предвидеть многие успехи техники, конкретно, образно представить себе то, чего еще не было даже на чертежных досках изобретателей, так и Замятин смог силой своего таланта уловить дух, самую атмосферу законченного тоталитарного общества, когда оно еще только зарождалось. Вот что пишет герой его романа, безымянный гражданин страны построенного коммунизма, об отношениях человека и государства:

"...Даже у древних – наиболее взрослые знали: источник права – сила, право – функция от силы. И вот – две чашки весов: на одной грамм, на другой – тонна, на одной "я", на другой "Мы", Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у "я" могут быть какие-то "права" по отношению к Государству и допускать, что грамм может уравновесить тонну – это совершенно одно и то же. Отсюда – распределение: тонне – права, грамму – обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны..."

Или в другом месте, в связи со случайной гибелью на работе "десяти зазевавшихся нумеров", т.е. безликих жителей будущей коммунистической страны, от которых "ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи":

"Десять нумеров – это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах – это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна".

Конечно, тенденция к полному порабощению человека государством и презрение к человеческим страданиям были характерны для советского режима уже в самый начальный его период. Однако многим казалось, что все это – явления временные, преходящие, вызванные гражданской войной и разрухой. Не надо забывать, что теория о постепенном отмирании государства в так называемом "бесклассовом обществе" является одной из главнейших марксистских догм. Замятин видел уже тогда, что тоталитарное государство со временем не только не отомрет, но, укрепившись, превратится в усовершенствованную коммунистическую казарму, где вся жизнь будет подчинена "Часовой Скрижали", т.е. правительственному плану, а население станет жить в состоянии "идеальной несвободы". Тех же граждан, у которых "откуда-то со дна, из мохнатых глубин" души поднимутся вольные мыс-

ли и желания, власть будет беспощадно уничтожать, как испорченные детали единой Машины:

"...для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт – у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей..."

В то время, когда Замятин писал эти строки (1920 г.), "хранители" были представлены "драконом с винтовкой" (см. рассказ Замятина "Дракон"), у которого "картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если бы не уши: на оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась по полу; рукава свисали; носки загибались кверху – пустые". Не так просто было понять, что эти драконы, отправляющие человека "штычком без пересадки в царствие небесное" лишь за то, что у него "морда интеллигентная", не исчезнут вместе со своими непомерными картузами и долгополыми шинелями, а превратятся в вышколенных и подтянутых палачей, вооруженных по последнему слову техники.

Фигура "Благодетеля" тоже тогда была еще далеко не ясна. Существовал Ленин с тоталитарными замашками, но он еще не успел превратиться в живое божество, и только некоторые, наиболее прыткие "нумера" из литературной братии, вроде Валерия Брюсова, начинали слагать в его честь оды. Настоящий, непререкаемый "Благодетель" с тяжкой рукой завелся в Советском государстве лишь десять лет спустя.

Приблизительно в то же время, когда Замятин работал над романом "Мы", он написал рассказ "Пещера", где изображен голодный, коченеющий от холода Петроград эпохи военного коммунизма. Рафинированные интеллигенты превратились в жалких пещерных дикарей, приносящих коленопреклоненные жертвы своему жадному божеству – печке. Чтобы спастись от мороза, они построили в своих комнатах-пещерах юрты из ковров и стульев, изредка вызывая "великое огненное чудо", когда можно сбросить с себя звериные шкуры и благоговейно насладиться теплом. Поразительно, что, сидя в одной из таких пещер, среди "темных, обледенелых скал, похожих на дома", Замятин сумел распознать не только общие очертания, но даже некоторые детали "завершенного коммунизма", организованного, как машина, тоталитарного общества. Он предвидел и "Единую Государственную Науку, которая не может ошибаться", и поэзию, которая перестает быть "беспардонным соловьиным свистом", а становится государ-

ственной службой, и жизнь без права передвижения – за Зеленой Стеной, и обязанность граждан "счастливого государства" при малейшем сомнении немедленно бежать в Бюро Хранителей с доносом на своих друзей.

До жути современно звучит начало романа "Мы". Первая страница открывается выдержкой из Государственной Газеты, где от имени Благодетеля сообщается "всем нумерам Единого Государства", что постройка "электрического, огнедышащего Интеграла", т.е. пространственной ракеты, подходит к концу. Назначение этого Интеграла:

"...благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически-безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия – мы испытываем слово".

Существа, живущие на других планетах, могут быть пока более или менее спокойны, но на людях, "пребывающих в диком состоянии свободы", уже испытывается слово, подкрепленное ракетами, которые предназначены загнать их в социалистический рай и освободить "от мучительных философских проблем и надрывов". Конечно, многое из того, что описывает Замятин – любовь в специальные "сексуальные дни" по книжке с розовыми талончиками; люди, живущие в стеклянных домах, обедающие по команде, поднося ложку ко рту в одну и ту же секунду, и гуляющие побатальонно с государственными номерами на груди – выглядит гротескно, но не надо забывать, что этого и хотел автор. В новых условиях на смену иронии и добродушному юмору старых антиутопистов приходит горький сарказм, которым Замятин пользуется с большим искусством. Его любимым литературным приемом является пародия на диалектическую "логику" коммунистических доктринеров:

"Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии "запах", что это хорошо или плохо. Есть запах ландыша – и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве – и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион – это белена, тут шпион – ландыш. Да, ландыш, да!"

Или:

"...как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова – тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал – о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограммометров – уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн – добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя – мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии".

Юмора языка, игры слов и игры словами, которые встречаются в других произведениях Замятина как лесковское наследство, в романе "Мы" почти нет совсем. Только однажды его безымянный и пронумерованный герой (Д-503), с которым случилась большая беда (у него "завелась душа"), невольно допускает остроту в своих записях. Упрекая себя в том, что он с недостойной сентиментальностью отметил гибель нескольких рабочих во время испытания ракетного двигателя, Д-503 пишет:

"И мне смешно, что я мог задумываться – и даже записывать на эти страницы – о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это – все то же самое "размягчение поверхности", которая должна быть алмазно-тверда – как наши стены (древняя поговорка: "как об стену горох") ".

Но и здесь горького сарказма, конечно, гораздо больше, чем простого юмора.

Если у Замятина как зачинателя новой струи в старом антиутопическом жанре нет прямых предков, то потомки у него уже появились. Может быть, нельзя с достаточным основанием считать таким потомком английского писателя Олдоса Хаксли (Aldous Huxley), написавшего в 1932 году более или менее типичную антиутопию под названием "Brave New World". Сам Хаксли в вышедшей несколько лет назад книжке "Brave New World Revisited" (1958 г.) подчеркнул свое первенство по сравнению с Джорджем Орвеллом (George Orwell), автором "1984", но ничего не сказал о Замятине. Что так называемые "русские проблемы" в какой-то мере повлияли на Хаксли, не подлежит сомнению. Эпиграфом для своего рома-

на он взял слова Бердяева, а главную героиню назвал именем "Ленина". Фигурирует у него и фантастический процесс массового искусственного разведения одинаковых людей "по системе доктора Бокановского", образ которого, по-видимому, навеян фигурой академика И.Павлова, широко известного в то время в Европе по газетным сообщениям. Как бы то ни было, Хаксли если и относится к литературным потомкам Замятина, то лишь к косвенным. "Brave New World" несравненно ближе к традиционной линии *аипоту,* чем "Мы". Главным объектом сатиры Хаксли является не будущий социалистический строй, а чрезмерное развитие техники и некоторые другие стороны западной культуры. В них видит Хаксли основную опасность, угрожающую человечеству во тьме грядущего, а не в тоталитарной диктатуре, основанной на принудительной идеологии и всепроникающем полицейском терроре.

Зато уж несомненным и прямым наследником Замятина можно считать Джорджа Орвелла. Это не значит, конечно, что Орвелл не самостоятелен. В блестящем и талантливом антиутопическом романе Орвелла "1984" заметно некоторое влияние Замятина, но прямых заимствований или подражания там нет. Гораздо важнее то, что Орвелл продолжает линию в развитии жанра *аипоту,* начатую Замятиным. Как и последний, он не сражается с литературными фикциями, не отгоняет остроумными словами призраки, созданные его собственным или чужим воображением; он видит подлинную, "всамделишную" бездну, в которую катится мир, и вопиет об этой бездне. Всю силу своего большого литературного дарования Орвелл недвусмысленно направляет против тоталитарного социализма, который у него назван по имени.

Уэллс и некоторые другие авторы научно-фантастических романов, правильно предсказавшие многие достижения техники, часто впадали в одну ошибку: они ставили слишком долгие сроки. На деле все осуществлялось гораздо быстрее; требовались не столетия, а короткие годы или десятки лет. Подобно движению свободно падающего тела, развитие науки идет с нарастающей скоростью. То же нередко происходит и с историческими явлениями. Математик Замятин, ставший писателем-пророком, не учел в своих прогнозах момента ускорения. Его Единое Государство, олицетворяющее собой завершенный тоталитарный строй на социалистической основе, удалено от нас почти на тысячу лет. Говоря о процессе по-

литических выборов в этом мрачном обществе будущего, Замятин пишет:

"Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую Чашу Согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра – день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья. Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда – смешно сказать – даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую – что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это".

Увы, веков для этого отнюдь не понадобилось, как не понадобились они и для претворения в жизнь ряда других типичных черт Единого Государства. Орвелл – в чем ему, несомненно, помогла сама история – ощутил ускорение гораздо живее Замятина. "1984" – это 1984 год не больше, не меньше – анаграмма 1948 года, когда писался роман. Свою антиутопию Эрик Блэр, писавший под псевдонимом Джордж Орвелл, видел не шагающей "через горы времени", а притаившейся за ближайшим поворотом исторической дороги. Передовые посты этого смрадного "нового мира" уже достигли наших дней. Некоторые из его строителей и многие из его жертв уже – а может быть еще – живут с нами на одной планете. В этом, а не только в разнице художественных стилей двух писателей, заключается причина того, что тоталитарное общество будущего обрисовано у Орвелла значительно конкретнее, чем у Замятина.

Джордж Орвелл не просто реалист. Без ущерба для занимательности и литературных достоинств он превратил свое произведение в нечто среднее между романом и научным трактатом. Если "Мы" читается как правдивое и достоверное предсказание, нечто вроде прогноза социальной погоды, то "1984" производит впечатление отчета о действительных событиях, сопровождаемого комментариями специалистов. В обрисовке Орвелла даже такое, казалось бы, невероятное явление, как переделка всего человеческого языка (показанная на примере английского), выглядит вполне убедительно, хотя она и должна будто бы произойти всего через несколько десятков лет. Дело в том, что семена или, лучше сказать, целые

ростки будущего Орвелл проницательно различает уже в настоящем и наглядно показывает их читателю. В Океании, как называется орвелловская антиутопия, партийная диктатура принудительно заменяет язык культурной части населения искусственным жаргоном, назначение которого – сделать невозможным не только говорить, но даже и мыслить вопреки официальной идеологии. Достигается эта сознательно поставленная цель рядом рассчитанных примеров.

Прежде всего, словарь английского языка резко сокращается: из него удаляются все "ненужные" понятия, имеющие абстрактный характер. Такие слова, как "справедливость", "мораль", "сострадание", "наука", "религия", просто уничтожаются. Зачем, например, нужно слово "наука" как представление о способе мышления, не связанном с определенной отраслью, когда уже в самом названии официальной партийной идеологии – "ангсоц" ("английский социализм"), как в слове "диамат" для современного коммуниста, уже содержится понятие единственно правильного научного метода. Грамматика упрощается до предела, чтобы избежать каких-либо разнотолкований или оттенков высказанной мысли. Слова, необходимые для работы и ежедневного обихода, конечно, сохраняются, но от них отсекаются всякие дополнительные значения. Этому же служат и многочисленные аббревиатуры, при помощи которых сложные словосочетания, богатые ассоциациями, суживаются до размеров ограниченного термина. Все идеи, чуждые "ангсоцу", лишаются своей словесной оболочки и объединяются в общее неопределенное понятие – "старомыслие", имеющее резко отрицательное значение. В результате у людей, говорящих на новом партийном жаргоне, хотя и остается теоретическая возможность высказать такую, например, еретическую мысль, как "наш диктатор нехорош", но подкрепить ее разумным рассуждением они все равно не смогли бы из-за отсутствия необходимых слов. Фраза же "все люди равны", не отступая от правил грамматики, содержала бы очевидную бессмыслицу, вроде – "все люди рыжеволосы", так как указывала бы, вследствие утраты словом "равенство" переносного значения, что все люди обладают одинаковым ростом, весом и физической силой.

Самая же главная особенность этого жаргона, получившего название "newspeak" ("новосказ"), состоит в том, что пользование им все больше и больше отрывается от мысли-

тельного процесса. Полного успеха к 1984 году еще достигнуть не удалось, так как наряду с "новосказом" продолжает существовать старый язык, который партия временно терпит в качестве пережитка прошлого, но в идеале предполагается, что со временем ораторы смогут произносить целые идеологически выдержанные речи просто при помощи глотки, не привлекая к участию в работе высшие мозговые центры. Для такого рода ораторского искусства в "новосказе" существует даже специальное слово – "уткоречь", что значит: говорить легко и без раздумья, как крякает утка. Подобно многим другим словам "новосказа" оно означает похвалу, если применяется по отношению к своим, и осуждение, если относится к противнику, так как в этом жаргоне слова могут менять значение на диаметрально противоположное в зависимости от того, говорится ли о явлениях угодных или неугодных партии.

Во всем этом нетрудно заметить весьма современные черты. Пристрастие к аббревиатурам типа "гестапо", "коминтерн", "агитпроп" и т.п., мимоходом указывает Орвелл, было заметно у тоталитарных режимов уже в первые десятилетия XX века. Такие сокращения служили не только целям экономии. Одновременно они помогали разорвать связи, существующие между словами. "Коммунистический Интернационал", например, заставлял хотя бы на мгновение вспомнить о других "Интернационалах" и вообще об истории рабочего движения, тогда как "Коминтерн" просто указывал на тесно спаянную группу и определенную доктрину. В официальном советском языке нашего времени можно найти и другие характерные особенности "новосказа". По признанию самой советской печати (см., например, статью К.Чуковского "Сыпь" в газете "Известия" от 26 ноября 1960 г.), большевистские агитаторы часто говорят безличным, казенным языком, не давая себе труда осмыслить значение тех слов и выражений, которые они употребляют. "Необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры" – чем этот пример, взятый из статьи Чуковского, отличается от типичной "уткоречи". Правда, такой жаргон, "за которым, как за всяким шаблоном, скрывается полная импотенция мысли", по мнению Чуковского, "лишь сыпь на могучем русском языке", но ведь сыпь никогда не появляется сама по себе, она свидетельствует о какой-то скрытой болезни. Болезнь эта –

постепенное омертвение языка и живой человеческой мысли в когтях тоталитарной диктатуры, о чем предупреждает Орвелл.

Я умышленно столь подробно остановился на орвелловских экскурсах в область языка, хотя в его романе они занимают значительное, но все же второстепенное место, чтобы показать, насколько тесно и органически переплетаются с настоящим его даже самые смелые, доведенные почти до гротеска предвидения будущего. Еще нагляднее эта связь видна в других типичных чертах антиутопии Орвелла. Замятинскому Благодетелю как владыке Единого Государства у него соответствует Big Brother (Старший Брат), диктатор, олицетворяющий правящую партийную олигархию. Образ этого "черноусого" диктатора, несомненно списанного со Сталина, несмотря на свои полумифические и просто мифические свойства, гораздо реальнее и ближе к знакомой нам действительности, чем расплывчатая фигура Благодетеля. Если последний совершает машинные казни на глазах у завороженных ужасом и восторгом народных толп, то Старший Брат, постоянно наблюдающий за всеми, известен народу по изображениям на экранах телевизоров, по бесчисленным портретам и статуям, разбросанным по всей стране. Ему офицально приписываются "...все успехи, все достижения, все победы и все научные открытия; все знание, мудрость, счастье и все человеческие добродетели исходят только от него и вдохновляются его руководством" (стр. 171)*.

Как это похоже на другого, вполне реального диктатора, известного под титулом Отца народов, о котором современный советский поэт А.Твардовский писал в своей поэме "За далью даль":

"И было попросту привычно,
Что он сквозь трубочный дымок
Все в мире видел самолично
И всем заведовал, как Бог;
Что простирались эти руки
До всех на свете главных дел –
Всех производств, любой науки,

---

* Цитируется по изданию: George Orwell, 1984. A Signet Book. Published by The New American Library, 1959. Перевод мой. – В. Б.

Морских глубин и звездных тел;
Им всех свершений счет несметный
Был предуказан – что к чему;
И даже славою посмертной
Герой обязан был ему...

Казнями же, как и Сталину, Старшему Брату нет нужды заниматься непосредственно. Для этой цели у него существует Министерство Любви. В названии этого учреждения, как и Министерства Правды, где служит герой "1984" Уинстон Смит, отражена еще одна характерная черта страшной антиутопии Орвелла: стремление тоталитарной диктатуры прикрыть свои злые дела лживыми и наглыми эвфемизмами. Если главными занятиями Министерства Любви являются пытки, казни, всепроникающий шпионаж и террор, то Министерству Правды предназначено снабжать население, лишенное всех иных источников информации, выгодной для партии ложью. В этом министерстве не удовлетворяются искажением текущих событий и сочинением всяких небылиц о победах на военных фронтах; там постоянно переписывают историю в соответствии с партийными заданиями, так как партия хочет господствовать и над прошлым. Есть еще Министерство Мира, занимающееся ведением бесконечной войны, и Министерство Изобилия, которое выдает продовольственные и иные карточки полуголодным и вечно страдающим от всевозможных недостатков жителям Океании, а также публикует фантастические цифры, свидетельствующие о неизменном перевыполнении экономических планов и "неуклонном подъеме материального благосостояния" в стране.

Вряд ли нужно подчеркивать, насколько такая картина будущего мира стоит ближе к печальным реальностям настоящего, чем Единое Государство Замятина. Если обитатели Единого Государства летают по своим делам на аэро и все в один час бреются электрическими бритвами, то граждане Океании не всегда могут подняться даже на лифте, так как лифты редко работают со времен Великой Революции, а за лезвиями для безопасных бритв они должны противозаконно отправляться на "вольный рынок". Тех и других беспощадно уничтожают за малейшее свободомыслие, но первые подвергаются казни в торжественной обстановке, под музыку труб Музыкального Завода, а вторые бесследно исчезают, "превращают-

ся в пар" в подвалах Министерства Любви или погибают в Лагерях радости, т.е. исправительно-трудовых лагерях, употребляя другой, современный эвфемизм. У Замятина государственная идеология, обязательная для всех, запрещает чувство сострадания; у Орвелла партийные власти под страхом сурового наказания требуют от людей бешеной ненависти к "врагам".

Даже само Единое Государство превращается у Орвелла в три исполинских мировых державы, которые беспрерывно воюют между собой, хотя и похожи, как близнецы, друг на друга по своей социальной структуре. В этом также больше исторической реальности, чем у Замятина, так как нет никакого основания предполагать, что коммунизм, восторжествовав в мировом масштабе, не распался бы на отдельные враждующие блоки. Взаимоотношения между Советским Союзом и Китаем, путь Югославии и положение в других коммунистических странах служат наглядным свидетельством этого.

Несомненно утопичным остается в антиутопии Замятина и бесклассовое общество будущего, представляющее собой равенство всех в бесправии и потере индивидуальности. Значительно правдоподобнее выглядит трехчленная социальная структура, как ее представляет Орвелл, с верхушкой в виде "внутренней партии", т.е. ее рядовых членов, и малокультурными беспартийными "пролетариями" в качестве подножья всей пирамиды. Со свойственной его авторской манере "документальностью" Орвелл объясняет смысл и происхождение такой общественной структуры, ссылаясь на трактат некоего Эммануэля Гольдштейна, бывшего основателя партии, а теперь ее главного, но по существу мифического врага. Этот Гольдштейн, в котором нетрудно узнать образ Троцкого, пишет:

"...Партия давно поняла, что коллективизм является единственной надежной основой для сохранения ее положения как властвующей олигархии. Богатства и привилегии легче всего защищать, когда ими владеют сообща. Так называемая "отмена частной собственности", происшедшая после революции, в действительности означала концентрацию собственности в руках несравненно меньшего количества людей, чем прежде. Разница заключалась только в том, что новые собственники представляли собой единую группу вместо множества отдельных лиц. Сам по себе каждый член Партии не владеет

ничем, кроме необходимых личных вещей; коллективно же Партия владеет всем в Океании, так как всем распоряжается и распределяет продукты производства по своему усмотрению. В годы, последовавшие за революцией, Партии удалось достигнуть такого положения легко и без особого сопротивления, потому что весь процесс был представлен народу как акт обобществления собственности" ("1984", стр. 170).

В этом блестящем анализе Орвелл предвосхитил книгу Милована Джиласа "Новый класс", описавшего общественную структуру в коммунистических странах, опираясь на свой личный богатый опыт в "строительстве социализма". В такой научности, взятой на этот раз без всяких кавычек, и заключается главное отличие антиутопии Орвелла от антиутопического произведения Замятина, которое, несомненно, послужило Орвеллу образцом. Во внешней канве обоих романов — "Мы и "1984" — есть много сходства. И там и там главным героем повествования является человек, принимающий активное и нужное участие в работе государственной машины тоталитарного строя будущего, хотя и с разной степенью энтузиазма. Оба они ведут записи, в которых, по существу, стараются найти самих себя в условиях этого строя. В обоих случаях на активное сопротивление режиму толкают их мятежные женщины и любовь к этим женщинам, запретная по законам нового общества, которое не терпит искренних человеческих чувств. Оба романа заканчиваются торжеством бездушной машины тоталитарного государства и ее победой над живым человеком: герои принуждены поклониться государственному Молоху, растлить себя и предать самое дорогое, что у них есть в жизни — своих возлюбленных. Однако различие тут существеннее, чем сходство.

Как Замятин, так и Орвелл борются художественными средствами против реального зла, угрожающего человечеству, — грядущего тоталитарного социализма. Но Замятин направляет острие своей гневной сатиры против идеала этого зла; широкими, импрессионистическими мазками рисует он картину того, что произойдет, если этот отвратительный "идеал" осуществится. На его картину надо смотреть с некоторого расстояния, не всматриваясь в детали: при всей своей правдивости она не имеет отчетливых контуров, как не может их иметь и сам идеал. Орвелл, напротив, изображает отнюдь не идеал, а реальную жизнь людей в том случае, если тоталитар-

ный социализм, т.е. нынешний коммунизм, одержит верх во всем мире. Не переставая быть художником, Орвелл подходит к своему будущему обществу с пунктуальной добросовестностью натуралиста. Чтобы не упустить мелких штрихов, его рисунок полезно рассматривать в лупу.

Новую струю в старом жанре *аипоту* можно обвинить в тенденциозности. Сам Орвелл в статье "Почему я пишу" (1947 г.) признается, что не может обойтись без "политической цели", понимая ее как "стремление подтолкнуть мир в определенном направлении и изменить представление людей о том общественном порядке, к которому следует стремиться". Однако тенденциозность вредит литературным достоинствам произведения только тогда, когда она не идет от сердца писателя, когда она фальшива, куплена деньгами или силой навязана извне. Иначе пришлось бы забраковать большую часть мировой литературы и, пожалуй, почти всю русскую литературу, начиная со "Слова о полку Игореве", где красной нитью проходит горячий призыв к действию. Таким же огненным призывом к немедленной борьбе со злом звучат и прекрасные книги новых антиутопистов Замятина и Орвелла.

1963

СОДЕРЖАНИЕ